

ВИКТОР ГЮГО И ЕГО РУССКИЕ ЗНАКОМСТВА

ВСТРЕЧИ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ.

Статья М. П. Алексеева

История международного влияния Гюго далеко еще не разработана: многолетние и многообразные связи и взаимоотношения великого французского писателя-демократа с представителями различных стран, политическими и общественными деятелями, писателями, артистами, художниками и музыкантами, история его творческого воздействия на отдельные литературы Запада—едва начаты изучением (ср. «V. Hugo et le degré d'universalité de son œuvre» в «Revue de littérature comparée», 1926, 3, 519).

Литература о Гюго и России не составляет исключения: она крайне немногочисленна и далеко не охватывает вопроса во всей его сложности. Несколько случайных сопоставлений, главным образом, для раннего периода знакомства с Гюго в России (Пушкин, Лермонтов, Полежаев, Бестужев-Марлинский), о которых еще Дюшень в своей книге о Лермонтове справедливо замечал, что они «скупы на точные указания» (Duchesne, E., M. J. Lermontov, P., 305), отрывочные публикации нескольких цензурных дел о Гюго, освещенных притом с их анекдотической стороны, литературные параллели, произвольно выхваченные из цепи однородных фактов,—таков, незначительный пока по своим результатам, итог первых исследовательских работ о Гюго и русской литературе. А между тем, давно уже было подчеркнуто, что именно в России влияние Гюго сказалось многостороннее, шире и глубже, чем в какой-либо другой стране. На этом настаивал, например, немецкий исследователь Ганс Гейс (Hans Heiss, Neuere Literatur über V. Hugo в «Germanisch-Romanische Monatschrift», Bd. 1, 1909, 446—447 по поводу статьи André Le Breton, La pitié sociale dans le roman. L'auteur des «Misérables» et l'auteur de «Résurrection»,—«Revue des Deux Mondes», 15 février 1902, p. 889 ss.). Так ли оно было на самом деле? Действительно ли в России творчество Гюго отозвалось ярче и многообразнее, чем в других литературах Запада? На этот вопрос мы еще не имеем удовлетворительного ответа: его предопределяют лишь долгие годы собирания и систематизации материала, изучения и сравнительной оценки. Здесь открывается поистине необозримое поле для работы исследователя. Более чем полувековая литературная и общественно-политическая деятельность Гюго должна быть сопоставлена с различными фактами русской истории за те же пятьдесят лет. Эти сопоставления должны вестись разнообразными путями: предстоит выяснить историю бесчисленных русских переводов из Гюго, еще никем не собранных и не изученных, проследить его влияние

на русскую литературу—поэтическую, прозаическую и драматическую, а также на публицистику, изучить отзывы о Гюго в русской критике, литературной историографии, исследовать влияние его художественных образов на русскую музыку, изобразительное искусство, театр и т. д. Лишь по завершении всех этих предварительных работ, вопрос о взаимоотношении Гюго и русской культуры сможет быть поставлен с большей наглядностью, и можно будет привести его к предполагаемому решению.

Предлагаемые ниже этюды к этой большой исследовательской теме ни в каком случае, естественно, не претендуют ни на полноту ее охвата, ни на исчерпывающую документацию отдельных ее сторон: этому препятствуют и объем данной статьи и недостаточность предварительных частных разработок, на которые можно было бы опереться в сводном и обобщающем труде. Настоящая работа стремится лишь к тому, чтобы облегчить его будущее написание, обозначить подступы к тем путям, по которым она должна будет вестись. Нижеследующие страницы освещают лишь несколько эпизодов указанной темы, в том или ином отношении показавшихся автору любопытными и достойными внимания; биографические эпизоды, документы, обнаруженные в каком-либо из советских собраний, идут здесь рядом с литературными параллелями и библиографическими розысканиями. Вместе с тем, однако, автор хотел подчинить весь собранный материал единому принципу изложения и расположил его хронологически, по этапам жизни Виктора Гюго, имея в виду, главным образом: 1) содействовать изучению биографии Гюго привлечением русских печатных и рукописных источников, в подавляющем большинстве случаев совершенно неизвестных французским исследователям, 2) наметить основные вехи изучения взаимоотношений Гюго и русского общества между 20-ми и 80-ми годами XIX века. В отдельных случаях как планировка некоторых частей настоящей работы, так и, в особенности, введение в них специальных экскурсов, несколько отвлекающих от основной цели исследования, предопределены были находением разнообразных неизданных материалов о Гюго, от публикации и комментирования которых автор не мог отказаться. Важнейшую группу этих материалов составляют автографы самого В. Гюго, найденные в книжных и рукописных собраниях СССР, еще не описанные и не введенные в научный оборот. Ряд этих автографов (альбомных записей, писем и т. д.) обращены к русским корреспондентам и представляют большой интерес для истории русских знакомств и встреч Гюго, для характеристики его русских читателей. В настоящей статье сделана попытка достичь известной полноты в описании личных связей Гюго с представителями русского общества, и с этой стороны публикация в с е х неизданных автографов Гюго, касающихся его русских отношений, представлялась необходимой.

Среди хранящихся в СССР автографов Гюго значительное место занимают письма и другие документы, не связанные непосредственно с русскими знакомствами писателя. Эта группа документов выделена в приложение. Публикация этих материалов принадлежит M-me Cécile Daubray (Париж),—одному из редакторов выходящего сейчас во Франции нового научного издания сочинений Гюго (édition de l'Imprimerie nationale).

Автор считает своим долгом отметить, что осуществление работы, даже в тех скромных рамках, которые он поставил себе, встретились с рядом трудностей, победить которые удалось лишь благодаря содействию редакции «Литературного Наследства».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ ГЮГО В РУССКОЙ ПЕЧАТИ.—ПУШКИН И ГЮГО.—ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ ГЮГО С РУССКИМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ В ПАРИЖЕ: А. И. ТУРГЕНЕВ И С. А. СОБОЛЕВСКИЙ.—РУССКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ „ЭРННИ“.—НАЧАЛО ПОПУЛЯРНОСТИ ГЮГО В РОССИИ.—ГЮГО И РУССКАЯ ЦЕНЗУРА 30-х гг.—„СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ“—ЕГО РУССКИЕ ЧИТАТЕЛИ, КРИТИКИ И ПОДРАЖАТЕЛИ.

Одно из наиболее ранних упоминаний о Гюго в русской печати—заметка о нем «Вестника Европы» за 1824 г., озаглавленная: «О новых одах Виктора Гюгона и поэзии романтической»¹. Эта заметка переведена из «Journal des Débats», но в русском журнале она напечатана с характерным примечанием переводчика: «Виктор Гюгон (Victor Hugo), поэт не без дарования, уже был замечен французскими критиками в некоторых шалостях романтических и в уклонении от подчиненности правилам здравого вкуса. У него: слава обитает в ничтожествах; кони солнца ржут под звонкою водою; дыхание Сильфа исторгает из сердца рыцаря не более как ослабление насмешки; у него певец влечет минувшее в будущее. Вышедшее из печати новое собрание од г-на Гюгона снова дало повод французским критикам говорить об его сочинениях. Статью одного из них переводим, желая по возможности вразумить наших Гюгонов, а читателям доставить удовольствие». Полемиическая цель перевода этой статьи подчеркнута самим переводчиком, однако, выражение «наших Гюгонов» нужно понимать распространительно, в смысле приверженности к «романтическим шалостям», к вольностям поэтического языка вообще. Подражателей Гюго или поклонников его музыки русская поэзия 20-х годов не имела и не могла еще иметь; имя молодого французского поэта мало что говорило его русским собратьям того времени.

Ранний период творчества Гюго, ярко окрашенный в дворянско-монархические и католические тона, прошел у нас незамеченным. Первый поэтический сборник Гюго, его «Odes et Poésies diverses» (1822), в которых автор воспевал Вандею, смерть герцога Беррийского и рождение герцога Бордосского, едва ли представлял какой-либо интерес для русского читателя. Трудно было бы также утверждать с уверенностью, что в России сколько-нибудь внимательно следили за журналом «Conservateur Littéraire» (1819—1821), издававшимся Виктором Гюго вместе с его братьями Абелем и Эженом². Едва ли, поэтому, кем-либо было у нас замечено, что в одну из своих больших стихотворных «Discours» на заданную Французской академией тему, помещенную в третьем выпуске «Conservateur Littéraire», юноша Гюго вложил панегирическую характеристику Петра I—свой, вероятно, первый литературный отклик на русскую тему:

Voyez ce Czar, fameux par sa mâle énergie,
Pierre, pour éclairer ses peuples ignorants,
Descendre à leur niveau, se mêler dans leurs rangs,
Dabord, peu soucieux de sa grandeur suprême
Dans les arts qu'il leur montre il s'est instruit lui-même.
On l'a vu, tour à tour despote et charpentier
En sortant d'un palais, entrer dans un chantier,
Boire avec un marin, serrer la main des princes
Et des arts de l'Europe enrichir ses provinces...³ и т. д.

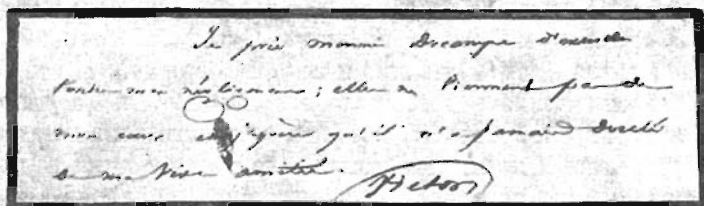
Литературный источник этих стихов—«Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand» Вольтера. Менее чем десятилетие спустя тот же Вольтер дал Гюго и другой сюжет—поэмы о Мазепе...⁴

Незначительное внимание русского читателя привлек к себе и второй сборник, «Nouvelles Odes» (1824), тот самый, о котором идет речь в «Вестнике Европы», хотя в нем уже намечался отход от прежних позиций Гюго и в идейно-политическом плане и, особенно, в смысле противопоставления новых поэтических форм старым. Эта книга могла уже больше заинтересовать молодых русских романтиков, вступавших в спор с приверженцами классицизма; тем не менее, у нас ее знали мало. Пушкин, например, зорче других приглядывавшийся к явлениям литературного Запада, притом именно французского, едва ли читал ранние оды Гюго. По крайней мере, в черновиках «Родословной моего героя» есть строки, которые косвенно это подтверждают: «Ламартин, я слышал, тоже дворянин, Гюго—не знаю». Эти слова вряд ли могли быть сказаны, если бы Пушкин держал в руках книги, в которых Гюго деятелей революции 1789 г. называл «кровожадным сенатом» и «позорной ордой убийц» и заявлял, что «человеческая история поэтична лишь тогда, когда на нее смотрят с высоты монархических идей и религиозных верований» (предисловие к «Одам» 1822 г.). С Гюго ближе познакомились в России только с конца 20-х годов, когда он, во многом уже порвав с роялистско-католическими воззрениями своей юности, сделал первые решительные шаги для перехода в лагерь демократии и, вместе с тем, стал одним из вождей либерально-романтического движения. Лишь около этого времени имя Гюго все чаще начинает мелькать в русской переписке, мемуарах, на страницах литературных журналов. Сборники романтической лирики Гюго, начиная с «Les Orientales» (1829), были у нас уже замечены, вызвали споры, нашли своих читателей и переводчиков. Многие вскоре готовы уже были предпочитать Гюго Ламартину, поэту «сладкозвучному и однообразному» (Пушкин), меланхолические элегии которого и стихотворения «малой формы», альбомного типа, пользовались у нас большой популярностью и одно время считались даже типичнейшими созданиями французской романтической школы⁵. Если Гюго своими «Orientales» и лирическими порывами своих «Feuilles d'automne» (1831) увлек русских переводчиков сильнее, чем гармонические «медитации» элегика Ламартина, то с еще большим интересом, чем к лирике Гюго, отнеслись в России к его романтическим романам, начиная с «Гана Исландца» (1823), и к его романтическим драмам, начиная с «Кромвеля» (1827). Особенно сильное впечатление на русского читателя произвел роман «Последний день осужденного», появившийся в 1829 г., когда в русском обществе еще слишком свежи были воспоминания о казни декабристов. «Собор парижской богоматери» (1831) стал у нас известен тотчас же по своему появлению в Париже и составил целую эпоху в русской литературе. К началу 30-х годов слава Гюго в России находилась в своем зените.

Первые вести о новом светиле французской поэзии получены были в России от тех соотечественников, которые частенько наезжали во французскую столицу и подолгу жилали там, вращаясь в светских и литературных кругах. Уже в конце 20-х годов имя Гюго изредка называлось в письмах, посылавшихся из Парижа в Россию. В парижских литературных салонах этой поры русских толпилось множество; лишь Июльская революция 1830 г. поставила некоторые преграды для слишком частых



Victor HUGO.



ВИКТОР ГЮГО

Литография Дюкарма с портрета Леграна, 1828 г.
Внизу приклеен автограф записки Гюго к художнику А. Декану
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

наездов подданных Николая I в Париж и значительно уменьшила их число⁶. В этих салонах русские были желанными посетителями; их любили за светский лоск, общительность и блестящую французскую речь, а иные, как, например, м-те Ансло, вместе с мужем побывавшая в России и отдававшая русского гостеприимства, готова была даже оказывать предпочтение русским перед другими иностранцами, называя их «французами XVIII века», и охотно приглашала к себе. В ее гостиной побывали А. И. Тургенев, кн. П. А. Вяземский, Андрей Карамзин, кн. Элим Мещерский, С. А. Соболевский и многие другие гости из Москвы и Петербурга. Их можно было встретить также у Жюльена, Гизо, м-те Рекамье. В салоне м-те Ансло Гюго появился в середине 20-х годов, «уже знаменитый, уже женатый, несмотря на то, что едва достиг двадцати двух лет»⁷. Несколькими годами ранее перед Гюго открылись двери салона Софи Гэ, матери Дельфины Гэ, впоследствии м-те Жиарден. Здесь можно было встретить всех тогдашних парижских и приезжих знаменитостей в области литературы, искусства и театра; позднее Софи Гэ ввела Гюго к м-те Рекамье⁸. Встречи Гюго с русскими были неизбежны⁹.

Первые отзывы о нем русских путешественников сдержанны и осторожны: деятели либерального крыла французского романтизма были достаточно чужды представителям русской аристократии. В парижском салоне Софьи Петровны Свечиной, яркой католички и идейной последовательницы Жозефа де Местра, за успехами «*enfant sublime*», как, по преданию, назвал Шатобриан юношу Гюго, вероятно, следили только до тех пор, пока не почувствовали его заметного отклонения в сторону либеральной партии. По крайней мере, именно у Свечиной А. И. Тургенев, столь живо и остро реагировавший на всякую европейскую литературную новость, впервые услышал не особенно лестный отзыв о драме Гюго «Кромвель» и о знаменитом предисловии к ней — манифесте романтической школы. У Свечиных, между прочим, были шокированы тем местом этого предисловия, где Гюго «называет Кромвеля *Tibère Dandin*». «Над этим словом смеются,—сообщает А. И. Тургенев в одном из писем к брату,—и оно есть только подражание, без смысла, Прáдтова о Наполеоне—*Jupiter-Scapin*»¹⁰. Вскоре тому же А. И. Тургеневу пришлось видеть драмы Гюго на парижском театре и решать для себя вопрос, мыслимо ли осуществление романтических теорий на сцене.

В конце 20-х годов в Париже появился С. А. Соболевский, подобно А. И. Тургеневу, тоже друг Пушкина и вскоре добрый приятель Проспера Мериме. Парижская жизнь захватила его всецело, и он увлечен был атмосферой литературной борьбы, которая господствовала там и становилась все напряженнее и ярче. Знакомства его росли с каждым днем; ежедневно его можно было встретить в каком-нибудь из салонов, на лекции какой-нибудь парижской знаменитости, на прогулке в обществе кого-либо из ученых, литераторов, художников, артистов. В декабре 1829 г. он пишет И. В. Киреевскому: «Из женщин я здесь часто бываю у известной *Récamière*... Там я вижу Шатобриана и вообще все общество, собиравшееся прежде у *M-me Staël* и страшившее Наполеона. У *Ancelot* и *Julien* я встречаю все *médiocrité* политического и ученого мира, как-то *Alfred de Vigny*, *Soumeth*, *Merimée*, *V. Hugo* у первого, *Balbi*—и чорт уж знает кого—у второго. У *Saint-Aulaire* я очень хорошо познакомился с *Villemain*, *Barante* и *Guizot*. Часто бываю у милого и умного *Cousin*, у слывающего здесь большим шарлатаном Кювье»¹¹.

В пестроте и разнообразии этих знакомств С. А. Соболевский едва ли выделил Виктора Гюго. Он встречался с ним и его женой на гостеприимных «вторниках» у супругов Ансло, был знаком также с писателем Полем-Анри Фуше, на сестре которого был женат Гюго, но, как мы можем предположить, не был с ними особенно близок. Слухи о готовящейся постановке «Эрнани» и о том, какое значение придают ее успеху молодые люди в «красных жилетах», восторженные почитатели Гюго и адепты с трудом воздвигаемого романтизма, дошли, однако, до Соболевского очень скоро. «Ожидаем первого представления „Hernani“, сочинение Victor Hugo, — пишет Соболевский С. П. Шевыреву из Парижа 6 февраля 1830 г. — Это будет решительная битва между классицизмом и романтизмом. Обе стороны так ожесточены, что ждут и кулачной стычки. Что касается до меня, я заготовил дубину для сохранения вооруженного нейтралитета». В другом письме к тому же корреспонденту, от 9 марта 1830 г., Соболевский сообщает о тех впечатлениях, какие он получил на этом знаменитом спектакле: «На-днях отправлю тебе „Hernani, drame de Victor Hugo en vers“, которую он думал погубить Расина и Шекспира тем же ударом. Почитай, мой милый, и подивись: то-то вздор, а стихи так и ершатся. В партере шесть представлений сряду все сидели клеветы; если кто заикнется, — хором: *à la porte le cabaleur!*¹² Подняли до небес! Зато в седьмое, как не подсадили приятелей, так до того осvistали, что автор пьесу на другой день вспять воротил в свой листо-склад (*porte-feuille*)»¹³.

А. И. Тургенев, в свою очередь, послал экземпляр «Эрнани» П. А. Вяземскому (24 мая 1830 г.), а при нем две пародии на пьесу: «При „Гернани“ посылаю тебе и две пародии. Другие, кажется, не напечатаны, да и не стоят печатного бессмертия, но в них много смешного, и надобно видеть или прочесть прежде „Гернани“, чтобы вкусить всю соль пародий. Я видел их и сквозь слезы смеялся»¹⁴.

Как видим, первые впечатления от романтической драмы у русских «парижан» были далеко не восторженные. С. А. Соболевский, быть может, под влиянием Мериме, после постановки «Эрнани» сменил свой «вооруженный нейтралитет» на слишком явное сочувствие хулителям пьесы. А. И. Тургенев от души смеялся забавным пародиям на драму Гюго, но умолчал о том, какое впечатление на него произвела самая драма. Во всяком случае, он не был ею восхищен и, быть может, подобно Соболевскому, не вполне разобрался в причинах ожесточенных боев в зрительном зале между пламенными приверженцами Гюго и столь же рьяными его противниками. В 1833 г. А. И. Тургенев писал тому же Вяземскому про О. Барбье, что тот «корячится, как Гюго», а в 1835 г. все еще предпочитал веселые пародии на Гюго его собственным созданиям: «Желал бы поговорить с вами о „малых“ театрах, которые смешат меня, — писал А. И. Тургенев в Россию. — Я иногда захоживаю в них перед вечеринками Сен-Жерменского предместья... В серьезном роде видел только „Анжело“ Гюго, где играла Mlle Mars и Дорваль. Я не воображал себе возможным — романтизм на французском театре. Талант гибкий и всепостигающий Mlle Mars скрадывал недостатки Гюгова стихотворения. „Angelo ou le tyran de Padou“ заслужил превеселую пародию: „Cornaro, tyran pas doux, du tout“: в этой пьеске смеются без умолку, но я еще не успел собраться туда»¹⁵.

В самой России к драмам Гюго отнеслись иначе, с гораздо большей эмоциональностью, заинтересованностью, сочувствием. И «Кромвель» и, в

особенности, «Эрнани» стали известны здесь очень быстро. Журнал «Атенеи» уже в 1828 г. поместил разбор драмы «Кромвель»¹⁶. В дневнике А. Н. Вульфа за 1831 г. находим такую запись: «Читал В. Гюго драму „Кромвель“, которая очень занимательна»¹⁷. В начале 30-х годов «предисловие» к «Кромвелю» дебатировалось уже на страницах русских журналов—«Телескопа» и «Московского Телеграфа», главного органа русских романтиков, ориентировавшихся на Францию. «Московский Телеграф» напечатал несколько отрывков из этого предисловия¹⁸. Недаром московская публика, презрев хронологию и здравое критическое чутье, объявила и «Бориса Годунова» не более чем подражанием «Кромвелю» Гюго, о чем сам Пушкин писал П. А. Плетневу 7 января 1831 г. Можно согласиться с утверждением Г. О. Винокура, что, несмотря на то, что трагедия Гюго была написана в 1827 г., т. е. на два года позже «Бориса Годунова», вопреки даже тому, что «по существу это трагедии совершенно разных стилей», московские театралы были по-своему правы: «В их глазах они обе, прежде всего, были произведениями, ниспровергающими все привычные традиции классического театра, и это давало возможность оценивать „Бориса Годунова“ с точки зрения тех романтических позиций, которые так широковещательно изложены Гюго в его знаменитом предисловии»¹⁹. Известен резкий отзыв самого Пушкина о трагедии (в статье о Мильтоне): «Драма Кромвель была первым опытом романтизма на сцене парижского театра. Виктор Юго почел нужным сразу уничтожить все законы, все предания французской драмы, царствовавшие из-за классических кулис;—единство места и времени, величавое однообразие слога, стихосложение Расина и Буало— всё было им ниспровергнуто; однако, справедливость требует заметить, что В. Юго не коснулся единства действия и единства занимательности (*intérêt*): в его трагедии нет никакого действия, и того менее занимательности»²⁰. Впрочем, отрицательный отзыв этот и сопровождающий его разбор (и частично перевод) отдельных сцен пьесы, которая в беловом тексте цитированной статьи Пушкина названа еще резче—«одним из самых нелепых произведений человека, впрочем одаренного талантом»,—относится к более позднему времени, к 1836 г. Совсем иначе отозвался Пушкин о Гюго в мае 1830 г., по поводу «Эрнани». Благодаря Е. М. Хитрово за присылку пьесы, Пушкин писал ей: «*permettez moi, Madame, de vous remercier pour Hernani.—C'est un des ouvrages du temps que j'ai lu avec le plus de plaisir. Hugo et Sainte Beuve sont sans contredit les seuls poètes français de l'époque...*»²¹.

В русских журналах 1830 г. появились статьи об «Эрнани»; так, «Московский Телеграф» и «Литературная Газета» напечатали переводы критических этюдов из «*Revue Française*»; разбор пьесы появился также в «Сыне Отечества», а «Телескоп» напечатал из нее отдельные сцены²². В том же 1830 г. появился русский перевод трагедии А. Г. Ротчева, и были сделаны попытки поставить пьесу в этом переводе на русской сцене, но постановка не была разрешена²³. В бумагах Ф. И. Тютчева сохранился напечатанный целиком лишь недавно, а до тех пор известный лишь в отрывке, прекрасный перевод монолога Дона Карлоса («*Hernani*», *acte IV, sc. 2*)—одно из наиболее сильных мест во всей драме²⁴. П. А. Вяземский, как мы уже видели, получил экземпляр пьесы прямо из Парижа от А. И. Тургенева; он серьезнее и вдумчивее отнесся к ней, чем его парижский приятель. Его свидетельство представляет интерес: «В начале тридцатых годов,—писал впоследствии Вяземский,—драма Гюго „Эрнани“ наделала много шуму в



ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „СОБОРУ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ“ ВИКТОРА ГЮГО

Акварель Тони Жоанно, 1835 г.

Эрмитаж, Ленинград

Париже. Этот шум откликнулся и в Петербурге. В самом деле, в ней много свежей поэзии, движения и драматических нововведений, в которых, быть может, нуждалась старая французская трагедия, не расиновская, не вольтеровская, имевшие достоинство свое, а трагедия времен Наполеона. Стихи из нового произведения поэта переходили из уст в уста и делались поговорками». Одна из приятельниц Вяземского А. О. Россет, впоследствии Смирнова, немедленно же получила в пушкинском кругу прозвание «*Donna Sob*», по имени героини «испанской драмы Гюго»²⁵.

Исследователи творчества Пушкина находят сценическую аналогию между первым актом «Эрнани» и второй сценой «Каменного гостя», а также совпадение сюжетных положений в «Эрнани» и «Выстреле»²⁶. Не подлежит сомнению влияние этой же драмы Гюго на первую драму Лермонтова «Испанцы» и на некоторые другие его произведения: отзвуки «Эрнани» в творчестве Лермонтова можно наблюдать вплоть до поздней поэмы «Боярин Орша»²⁷.

С начала 30-х годов начинается в России увлечение и романтической лирикой Гюго. «*Les Orientales*» «важного» Гюго Пушкин считал «блестящими, хотя и натянутыми» (1830); чтение этой книги оставило некоторые следы в его собственном творчестве²⁸. В 1832 г. Пушкин задумал было целую критическую статью о «*Feuilles d'automne*», но она осталась, к сожалению, недописанной; до разбора самого сборника Пушкин не дошел, но и сохранившиеся фразы достаточно любопытны своим сопоставлением Сент-Бёва и Гюго—не в пользу последнего. «Ныне Victor Hugo, поэт и человек с истинным дарованием... издал под загл[авием] L[es] f[euilles d'automne] том стихотворений, очевидно, написанных в подражание книжке Сент-Бёва: *Les Consolations...*»²⁹. Как дальше пошла бы мысль Пушкина, мы можем догадаться из сопоставления приведенного текста с цитированным выше отрывком из письма его к Е. М. Хитрово (1830), в котором сделана оценка Гюго как лирического поэта: «Гюго и Сент-Бёв бесспорно единственные поэты нашего времени, особенно Сент-Бёв». Похвала не слишком велика, если вспомнить, что Пушкин считал французов своего времени «народом самым анти-поэтическим» и был вообще далеко не в восторге от «новейшей вольной школы» французских поэтов; его не удовлетворяли их стихотворные романтические новшества: «Hugo с товарищи» только «растрепали» александрийский стих и «его гулять пустили без цезуры» («Домик в Коломне», 1830). Строгому, взыскательному, зрелому художнику, каким был Пушкин, претила и «восточная роскошь воображения», которую он задолго до того осудил уже в поэмах Томаса Мура, ему не нравился и слишком изысканный, метафорический стиль французского поэта. Недаром Проспер Мериме много раз противопоставлял Пушкина и Гюго, как два враждебных друг другу типа творческого художественного сознания. Сам Пушкин писал в письме к М. П. Погодину в сентябре 1832 г., что «V. Hugo не имеет жизни, т. е. истины»³⁰.

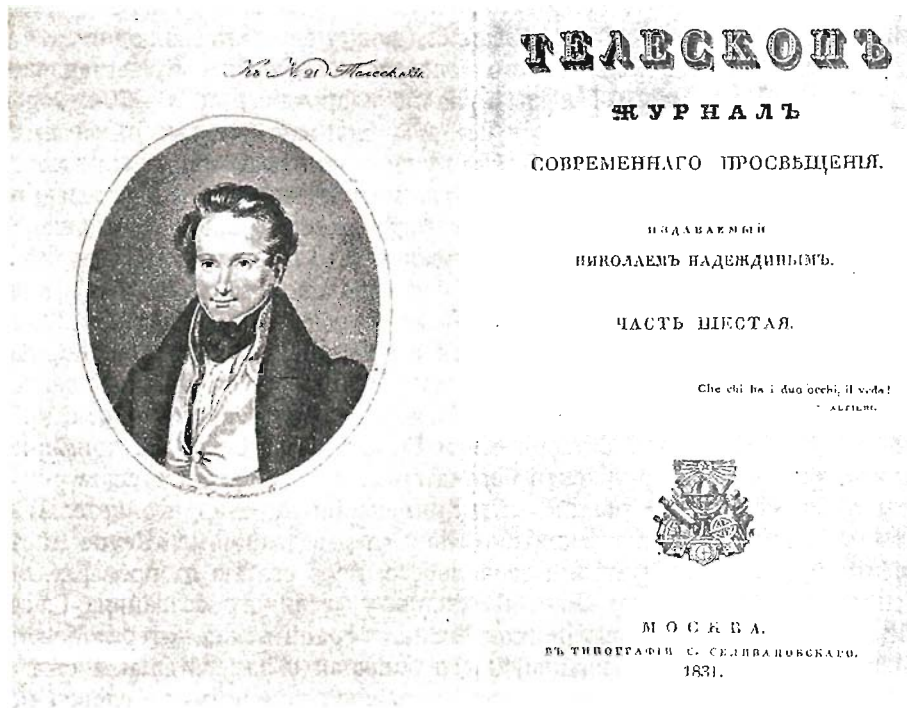
Нужно признать, однако, что отрицательное отношение к поэзии Гюго вовсе не было типичным для русских поэтов того времени; взгляды Пушкина разделяли немногие. Напомним здесь отношение к Гюго молодого Лермонтова, в творчестве которого можно отметить несколько явных случаев подражания «*Les Orientales*» и другим сборникам французского поэта. Так, например, раннее стихотворение Лермонтова «Прощание» («Не уезжай лезгинец молодой»), несомненно, навеяно «Прощанием аравитянки» из «*Orientales*»³¹. Напомним пристальное внимание к творчеству

Гюго А. И. Полежаева. К сожалению, из девяти переведенных им стихотворений Гюго увидели свет лишь два: одно—из тех же «Orientales» («Лунный свет»), второе—из «Odes et Ballades» («Людовик XVII»). Характерно, что последним переводом Полежаев хотел привить русской поэзии новый для нее в эту эпоху жанр политической оды³².

Массовая русская поэзия 30-х годов—поэзия журналов и многочисленных альманахов—всячески пробовала свои силы на переводах, перепевах и подражаниях Гюго. К середине 30-х годов эти русские переводы достигают значительного числа³³, пока нелепое цензурное дело, стоившее карьеры молодому русскому «гюгофилу», не послужило предостережением для других переводчиков и не заставило их осторожнее пользоваться самыми невинными из его текстов. Имею в виду хорошо известное по многим источникам дело о напечатании М. Д. Деларю в «Библиотеке для Чтения» за 1834 г.³⁴ стихотворения «Красавице»—перевода из Гюго («A une femme»—«Les feuilles d'automne», № XXII). О происшествии с Деларю и о пострадавшем за пропуск его перевода цензоре А. В. Никитенко Пушкин сделал подробную запись в своем «Дневнике» (под 22 дек. 1834 г.): «Цензор Никитенко на обахте под арестом и вот по какому случаю: Деларю напечатал в Библ[иотеке] Смирдина перевод оды В. Юго [пропуск в автографе Пушкина], в которой находится следующая глубокая мысль: Если де я был бы богом, то я бы отдал свой рай и своих ангелов за поцелуй Милены или Хлои. Митрополит (которому досуг читать наши бредни) жаловался государю, прося защитить православие от нападений Деларю и Смирдина. Отселе буря»³⁵. Просидев по приказу самого Николая I восемь дней на гауптвахте, цензор весьма меланхолично размышлял: «Самая тяжкая вина, за которую меня можно было корить, это недосмотр. Следовало, быть может, вымарать слова „бог“ и „селеньями святыми“, тогда не за что было бы и придраться. Но, с другой стороны, судя по тому, как у нас вообще обращаются с идеями, вряд ли и это спасло бы меня от гауптвахты». Всех хуже пришлось, однако, самому переводчику: он лишился службы и остался без всяких средств к существованию. Он обращался всюду, умолял о месте, но везде встречал холодный, категорический отказ. Вся эта история, по словам А. В. Никитенко, долго занимала петербургскую публику, которая клеймила доносчика (молва утверждала, что это был Андрей Муравьев)³⁶.

В истории с Деларю, несмотря на обилие воспоминаний о судьбе злочастливого стихотворения, есть одна, как будто не вполне разъясненная, сторона: из рассказов современников не получается впечатления, будто репрессии, обрушившиеся на журнал, переводчика и цензора, были усилены тем обстоятельством, что автором стихотворения оказался Виктор Гюго, а, между тем, дело обстояло именно так. Либерально-демократические позиции французских романтиков определились к этому времени настолько явственно, что отношение к ним царской цензуры было предопределено. Вспомним закрытие «Литературной Газеты» из-за помещенного в ней стихотворения Казимира Делавиня, запрещение «Московского Телеграфа», который считался главным русским журналом, пропагандировавшим творчество писателей левого, либерального крыла французского романтизма, в частности, Гюго. Быть может, невинное по существу стихотворение «A une femme» и не вызвало бы столь суровой кары, если бы автором его не был писатель, к которому уже несколько лет подозрительно и тревожно приглядывались русские официальные круги.

Как-никак, это был писатель, который уже зарекомендовал себя ярким полонофилом в момент польского восстания 1830—1831 гг. Были за ним и более тяжкие провинности: ненависть к царскому самодержавию, которая то сказывалась в стихах, посвященных наполеоновской легенде, то вдруг неожиданно проявляла себя в том же сборнике «Les feuilles d'autopse», в стихотворении, окруженном лирическими раздумьями самого отвлеченного смысла. Имею в виду стихотворение «*Sous un ciel inclément, sous un roi meurtrier*» (№ XL), в котором иные видели замаскированное нападение на Николая I и намеки на декабристов³⁷. Недаром и П. А. Вяземский, в пору своей резкой оппозиционности аракечевскому само-



ПОРТРЕТ ГЮГО, ПОМЕЩЕННЫЙ В № 21 „ТЕЛЕСКОПА“ ЗА 1831 г.

Гравюра А. Афанасьева

державию, прочтя «Гана Исландца» (1823), отметил в своей «Записной книжке»: «Есть в нем и политический интерес: бунт рудокопов, их военный поход, встреча с королевским войском: все это живо и верно»³⁸. В официальных русских кругах, среди аристократии, вхожей во дворец, имя Гюго связывалось с «неистойвой» школой французской словесности, порожденной Июльской революцией 1830 г. Та самая А. О. Россет-Смирнова, которая получила прозвание «*Donna Sol*», в своих поздних записках хорошо выразила мнение о Гюго, господствовавшее в придворных сферах. Революция 1830 г. не вызвала в ней ни пристального внимания, ни серьезного к себе отношения, а лишь испуг и тревогу: «Грозовым ударом разнеслась весть о Июльской революции... Это накинulo тучи на наш мирный горизонт. Отложили петергофский праздник и вообще балы. Июльская революция была прелюдией страшного 1848 г. Зимой пушки рассеяли тучи

революции, оставив по себе много жертв... Тогда явила сь новая литература в лице Виктора Гюго; она была отпечатком страшных, кровавых сцен и господствовала долго; в России читали „Les deux pendus“, „Notre-Dame de Paris“ и прочую дрянь; но наши авторы воздержались от подражания»³⁹. Мы еще увидим, как ошибалась А. О. Смирнова в своем последнем утверждении. Не подлежит никакому сомнению, что влияние Гюго в России стало заметно возрастать именно после 1830 г., что это влияние все сильнее захватывало русскую «разночинную» интеллигенцию и что соразмерно росту популярности Гюго усиливались цензурные репрессии против распространения его произведений. Только на таком фоне становятся вполне понятными и дело о переводе Деларю и цензурные мытарства «Собора парижской богоматери» (1831).

Интересным подтверждением сказанного может служить эволюция взглядов на Гюго издателя «Московского Телеграфа» Полевого. Существующее мнение, что «Московский Телеграф» на всем протяжении 20—30-х годов с увлечением пропагандировал «неистовую словесность» так называемой «юной Франции», в частности Гюго, нужно принимать более или менее ограниченно. Об этом можно говорить, имея в виду только последние годы издания «Телеграфа», 1831—1834 гг.⁴⁰ До этого времени отношение журнала к Гюго было довольно сдержанным. В статьях «Телеграфа» конца 20-х годов, написанных Вяземским, радикальные тенденции французских романтиков подвергались прямому осуждению⁴¹. И даже в 1830 г. Гюго был для Полевого писателем хотя и с большим дарованием, но, тем не менее, не признающим «никаких законов в искусстве» и рисующим «картину страшную и неприятную» (рецензия Полевого на «Последний день приговоренного») ⁴². С творчеством Гюго Полевого вполне примирил только роман «Собор парижской богоматери». Он помещает в своем журнале отрывок из этого романа, а в примечании к резко отрицательной статье о Гюго французского критика Шове (переведенной из «Revue Encyclopédique») обещает читателям свою собственную статью в опровержение «несправедливого» мнения Шове и в защиту «великого создания» Гюго, выводящего автора «в первый ряд современных французских литераторов»⁴³. Полевой сдержал свое обещание, и его большая и замечательная статья «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах», по словам исследователя, открывает собой на страницах «Московского Телеграфа» «подлинную пропаганду творчества Гюго», которое названо «полным и совершенным изображением современного французского романтизма»⁴⁴.

Роман «Notre-Dame de Paris» вышел в свет в марте 1831 г. Весть о нем тотчас же дошла до России. «После появления „Notre-Dame de Paris“, — пишет И. И. Панаев, — я почти готов был итти на плаху за романтизм. Я узнал о „Notre-Dame de Paris“ из „Московского Телеграфа“. Вскоре после этого весь читающий по-французски Петербург начал кричать о новом гениальном произведении Гюго. Все экземпляры, полученные в Петербурге, были тотчас расхvatаны. Я едва достал для себя экземпляр и с нервическим раздражением приступил к чтению. Я прочел его не отрываясь. Никогда еще я не испытывал такого наслаждения от чтения. Клод Фролло, Эсмеральда, Квазимодо не выходили из моего воображения; сцену, когда Клод Фролло приводит ночью Эсмеральду к виселице и говорит: „выбирай между мной и этой виселицей“, я выучил наизусть. Я больше двух месяцев бредил этим романом и перечитывал отрывки из него Кречетову и некоторым из моих товарищей»⁴⁵. Во второй половине мая у Е. М. Хитрово,

снабжавшей Пушкина новинками французской литературы, последний пытался получить нашумевший роман и спрашивал ее в письме: «Notre-Dame est-elle déjà lisible?»⁴⁶. Вскоре он прочел этот роман и остался при прежнем своем убеждении об его авторе, но сдержался его высказать, так как его корреспондентка была от романа в восторге. «Voici, Madame, les livres que vous avez eu la bonté de me prêter,—писал Пушкин Хитрово в конце мая или начале июня 1831 г.—On conçoit fort bien votre admiration pour la Notre-Dame. Il y a bien de la grâce dans toute cette imagination. Mais, mais—je n'ose dire tout ce que j'en pense»⁴⁷. Е. М. Хитрово, действительно, была столь полна впечатлений от чтения Гюго, что не могла даже дать спокойной оценки новой поэмы Баратынского («Наложница»). «Нет,—писала она П. А. Вяземскому,—я не могу восхищаться „Наложницей“, и я в том покаялась Пушкину. Впрочем, я прочла ее в два часа утра и с головой, наполненной Эсмеральдой—милейшей, прелестнейшей и очаровательнейшей из всех цыганок—этим созданием Виктора Гюго и украшением „Notre-Dame de Paris“»⁴⁸. В 1831 г. Пушкину несколько раз писали о Гюго, и он мог усмотреть в этом признак возрастающей в России популярности французского поэта. В августе 1831 г. Гоголь, хотя и иронически, писал Пушкину о «необъятном великобъемностию своею Викторе Гюго»⁴⁹. В декабре того же года Долли Фикельмон извещала его, что она разыскала стихи, которые, как будто, снимают с Гюго обвинения в безбожии; это «оправдание», в котором, видимо, нуждался поэт в аристократических, придворных кругах, очень характерно: «Знаете ли вы, что В. Гюго написал премилые стихи, гармонические, прочувствованные, ре-

NOTRE-DAME

DE PARIS,

Par Victor Hugo.

TOME I.

DIXIÈME ÉDITION.

A N. baki, toujours de son nom.

Alexandre Herzen

Winter 1836.



ЭКЗЕМПЛЯР РОМАНА „СОБОР
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ“
ПРИСЛАННЫЙ А. И. ГЕРЦЕНОМ
ИЗ ВЯТКИ В ПОДАРОК
Н. А. ЗАХАРЬИНОЙ, 1836 г.

Литературный музей, Москва

Bruxelles,

AD. WAHLEN, IMPR.-LIBR. DE LA COUR.
GRANDE RUE DE L'ÉCUEUR, N° 49.

1835

лигиозные? Это молитва, обращенная к его ребенку; в нем глубокая набожность, как у Ламартина, но с оттенком горести земной и светской, почему они еще трогательнее. Я бы переслала их вам, если бы не надеялась скоро увидеться с вами. Удивительно, что автор, излюбленный юною Францией, говорит о боге, как следует говорить о нем»⁵⁰.

Молодежь, впрочем, не нуждалась ни в каких оправданиях Гюго и, действительно, готова была итти за него «на плаху», как выразился И. И. Панаев. Приведем любопытное свидетельство Аполлона Григорьева, так вспоминавшего время 30-х годов: «Вот она, эпоха сереньких тоненьких книжек „Телеграфа“ и „Телескопа“, с жадностью читаемых, дотла дочитываемых молодежью... эпоха бессознательных и безразличных восторгов...». Несмотря на «какое-то беззаветное упоение поэзией, на какую-то дюжинную веру в литературу, в воздухе осталось что-то мрачное и тревожное. Души настроены этим мрачным, тревожным и зловещим, и стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки дают отзыв этому настрою... А тут является колоссальный роман Гюго и кружит молодые головы, а тут Надеждин в своем „Телескопе“ то и дело поддает романтического жара переводами молодых, лихорадочных повестей—Дюма, Сю, Жанена»⁵¹. Вероятно, тому же Аполлону Григорьеву принадлежит и еще одно более раннее и свежее воспоминание о том возбуждающем действии, которое оказывал на его сверстников роман Гюго: «Эсмеральда, Эсмеральда!.. Мне помнится то время,—давно прошедшее, глупое, но милое время,—когда этим именем, с множеством восклицательных знаков, испещрены были поля старого пергаментного Юлия Цезаря «De bello Gallico», когда страшная драма отяготела до того над молодым воображением, что создала для него целый мир призраков, прекрасных и отвратительных, фантастических и колоссальных!.. Да, я был на народном празднике с его студентами и фламандцами, с его мистерией и королем масленицы, я шел за Пьером Гренгуаром по темным улицам старого Парижа, и передо мной мелькала легкая, воздушная, странная цыганка с ее белой козочкой, как радужная бабочка, по сравнению самого поэта, и она спрашивала, слышалось мне, что значит имя Фебюс?—у многоученного Гренгуара, и определяла своей цветистой и мечтательной речью любовь и дружбу... *L'amour—un homme et une femme qui se fondent dans un ange—c'est le ciel*...»⁵²

Те же впечатления, те же цитаты—в письмах молодого А. И. Герцена к невесте. Он пишет Н. А. Захарьиной из своей вятской ссылки 7 августа 1835 г.: «Что такое дружба?»—спросил он. «Два пальца на одной руке, соединенные, но не одно»,—отвечала Эсмеральда.—«Что такое любовь?»—«Два существа, соединяющиеся для составления одного ангела». «А propos, прочти этот роман „Notre-Dame de Paris“. Егор Иванович [Герцен] пусть достанет». Когда же достать этот роман в Москве не удалось, Герцен сам посылает из Вятки свой экземпляр: «Ты получишь от Егора Иванов[ича] посланные мною книги „Notre-Dame de Paris“. Это тебе мой подарок» (письмо от 19 августа 1836 г.). И обмен впечатлениями продолжается: «Очень вспомнил я то место в „Notre-Dame“, о котором ты пишешь. Таковы наши симпатии. Мы решительно останавливаемся на одних мыслях и чувствах. Впрочем, в Эсмеральде любовь земная. Ежели бы ты могла читать Шиллера, там ты нашла бы нашу любовь»⁵³. Раздобыв книгу мюнхенского архитектора Вибикинга и задумавшись о памятниках искусства, «отвердивших жизнь народов», Герцен пишет: «Много мыслей родилось... Покамест перечитай с величайшим вниманием в „Notre-Dame de Paris“ две главы

(кажется в третьем томе)— „Abbas beati Martini“ и „Ceci tuera cela“. Непременно прочти, хоть 5 раз, покуда вполне понятна будет эта мысль... Там ты узнаешь, что эти каменные массы живы, говорят, передают тайны». На другой же день Герцен вновь напоминает: «Еще о том месте в „Notre-Dame“; я знаю, что из 1 000 женщин, читавших, 999 пропустили именно эти главы или не обратили никакого внимания,—для того-то ты и должна их прочесть, ибо ты более, выше этих женщин»...⁵⁴ Речь здесь идет о тех главах, которые, между прочим, вдохновили и Гоголя на несколько лири-



В. Н. АСЕНКОВА В РОЛИ ЭСМЕРАЛДЫ
Литография А. Греведона с портрета В. Гау, 1838 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

ческих страниц о готической архитектуре («Арабески», 1835), за что над ним издевался еще Сенковский: «Это обращение, чтобы мы не ломали готическую архитектуру, которой у нас никогда не было,—писал он,—очень трогательно и доказывает, что автор читал с большой пользой роман Виктора Гюго»⁵⁵.

А. О. Смирнова в приведенном выше отзыве о романах Гюго полагала, что «наши авторы воздержались от подражания» французскому писателю. Это, конечно, ошибочно. Уже Аполлон Григорьев распознал в романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом» влияние «юной французской словесности», которая помогла ему перейти от написанных в карамзинском духе «Воспоминаний офицера» и преисполненного рабского «вальтерскоттизма»

его первого исторического романа («Последний Новик») ко второму, с его шутами, карликами, чудовищными потехами, вроде постройки ледяного дома, празднованием родин козы, на многих страницах которого, действительно, чувствуется подражание «Собору парижской богородицы»⁵⁶. Тот же роман Гюго,—наряду с увлечением «Последним днем осужденного», «Бюг Жаргалем» или даже ранними романами, вроде «Гана Исландца»,—отозвался и у Лермонтова и у А. А. Бестужева-Марлинского⁵⁷. Не забудем здесь также о том, что атмосферу всеобщего успеха «Собора парижской богородицы» усиливали в России впечатления искусства, в первую очередь театрального. В конце 30-х годов у нас увлекались Эсмеральдой-Тальони в балете, составленном по роману Гюго; в то же время в посредственной драме «Эсмеральда, или четыре рода любви», переделанной В. А. Каратыгиным из немецкой инсценировки романа, блистала русская актриса В. Н. Асенкова⁵⁸. Тогда же и А. С. Даргомыжский задумал русскую оперу «Эсмеральда», которая окончена была уже в 1839 г.⁵⁹ Впрочем, постановка ее в России относится к более позднему времени, когда отношение к Гюго вступило у нас в новую фазу.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Вестник Европы», 1824, № 13, 45—56.

² Д. П. Якубович, отмечая близость воззрений Гюго и Пушкина на В. Скотта, предполагает, что взгляды Гюго должны были быть известны Пушкину еще по «Conservateur Littéraire», но такое утверждение кажется мне рискованным.—«Язык и Литература», Л., 1930, V, 152—153; ср. «Путеводитель по Пушкину», изд. «Красной Нивы», М.—Л., 1931, 109.

³ «Смотрите на царя, славного своей мужественной энергией. Петр для того, чтобы просветить свои невежественные народы, спустился до их уровня, смешался с их рядами. Невзирая на свое величие, он учился сначала сам тем искусствам, которым он собирался их научить. Его видели поочередно то деспотом, то плотником, оставляющим дворец для работы на верфи, пьющим с моряками, пожимающим руки государей и обогащающим свои владения искусствами Европы».—«Conservateur Littéraire», III, 7: «Discours sur les avantages de l'enseignement mutuel». См. об этом стихотворении у R o e d e l (Philippe), V. Hugo und der «Conservateur Littéraire» (Diss.), Heidelberg, 1902, 101—102.

⁴ Об источниках «Мазепы» («Les Orientales», XXXIV) см. у M o e l l (Otto), Beiträge z. Gesch. d. Entstehung der «Orientales» von V. Hugo, (Erlang. Diss.), Mannheim, 1901, 92—102.

⁵ Сурина Н., Русский Ламартин.—Сборник «Русская поэзия XIX в.», Л., 1929, 299—305.

⁶ P i n g a u d (L.), Les Russes à Paris de 1800 à 1830.—«Correspondant», 1904; M o n g a u l t (H.), Mérimée, Beyle et quelques russes.—«Mercure de France», 1928, 1 mars, 341—365.

⁷ A n c e l o t (M-me), Un salon de Paris. 1824 à 1864, P., 1866, 12—14, 95—97.

⁸ S é c h é (Léon), Delphine Gay, M-me de Girardin, dans ses rapports avec Lamartine, V. Hugo, Balzac etc., P., 1910, 149.

⁹ В русских архивных собраниях сохранился ряд автографов В. Гюго половины 20-х годов, полученных их владельцами либо непосредственно от автора, либо от его ближайших друзей. Таково, например, «Шестистишие, собственноручно вписанное В. Гюго» в альбом Анны Евграфовны Шиповой, рожденной графини Комаровской (1806—1872); оно опубликовано Б. Л. Модзалевским в описании этого альбома («Пушкин и его современники», вып. XI, СПб. 1909, 81):

La vie à chaque instant fuit vers l'éternité,
Et le corps, sur la terre où l'âme l'a quitté,
Reste, comme un fardeau frivole.
Ainsi, quand meurt la rose aux pudiques couleurs
Sa feuille, que l'Aurore en vain baigne de pleurs
Tombe, et son doux parfum s'envole.

Стихи эти входят в «Odes et Ballades» (заключительная строфа стихотворения «Promenade») и датированы там 12 октября 1825 г. Четвертая строка содержит вариант: «Ainsi, quand meurt la rose aux royales couleurs». Альбом Шиповой начат, повидимому, в 1826 г. и, наряду с автографом Гюго, здесь находятся собственноручные записи и других французских писателей—A. de Vigny, Casimir Delavigne, Baour Lormian, Charles Nodier («Le Bengali, conte») и т. д. Никакими сведениями о знакомстве графини А. Е. Комаровской-Шиповой с Гюго во второй половине 20-х годов мы, однако, не располагаем. См. о ней «Остафьевский Архив», II, 506; «Русский Архив», 1908, I, 136—137; 1911, I, 174, 195—196, III, 65; «Русская Старина», 1888, № 11, 399; 1890, № 5, 305; 1904, № 6, 595.

¹⁰ Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу, Лейпциг, 1872, 299 (письмо от 11 декабря 1827 г.).

¹¹ Письмо от 13/25 декабря 1829 г.—«Русский Архив», 1906, III, 565.

¹² «За дверь интригана!».

¹³ «Русский Архив», 1909, VII, 478. О Соболевском и Гюго см. еще: Виноградов А. К., Мериме в письмах к С. А. Соболевскому, М., 1928, 29—30.

¹⁴ «Остафьевский Архив», III, 200; *Bersacourt* (Albert), *Les pamphlets contre Victor Hugo, P., s. a. [1912], 299—300.* Автор дает полный список театральных пародий и памфлетов на «Эрнани»; он указывает, что из шести этих пародий четыре были напечатаны в 1830 г.

¹⁵ «Отрывки из заграничной переписки».—«Моск. Наблюдатель», 1835, IV, 629. Драма «Анжело» в первый раз представлена была в Théâtre Français 28 апреля 1835 г. Пародия, о которой говорит А. И. Тургенев, шла в театре Veauville и называлась: «Cornaro, tyran pas doux, traduction en quatre actes et en vers d'Angelo, par Dupeuty et Duvert»—см. *Bersacourt*, *op. cit.*, 302. Отметим еще в письме А. Н. Карамзина (сына историографа) из Парижа от 1 марта (17 февр.) 1837 г. Запись впечатления от спектакля в театре de la Porte St.-Martin, где играли «трагедия Гюго Marie Tudor». «Я не знаю,—пишет А. Карамзин,—куда Гюго спрятал свой гений, когда написал эту глупость—сцепление невероятностей даже без сурожного эффекта. Знаю только то, que ce n'était pas seulement Marie Tudor, mais encore André tu dors, потому что я не на шутку заснул и чуть не покатился со стула, когда на сцене кого-то зарезали». См. «Старина и Новизна», 1914, XVII, 296.

¹⁶ «Атеней», 1828, V, 358.

¹⁷ «Пушкин и его современники», XXI—XXII, П., 1915, 157.

¹⁸ Отрывки из предисловия к «Кромвелю», напечатанные в «Московском Телеграфе» (1832, № 19, 310—311, 314), об «уродливо-комическом» (le grotesque), как особенности нового искусства, казались Н. А. Полевому «смелыми, блестящими», но все же не вполне верными. Гораздо резче был отзыв неизвестного критика «Телескопа» (быть может, самого Надеждина): «Пылкий Гюго, по его словам, в предисловии к „Кромвелю“ замечтался до того, что постановил первообразом для новой, проповедуемой им реформации в поэзии—не изящество, а... чудовищность, нелепость, безобразие».—«Телескоп», 1831, ч. I, № 3, 402.

¹⁹ См. комментарий Г. О. Винокура к «Борису Годунову».—Пушкин, Сочинения (акад. изд.), VII, Л., 1936, 504.

²⁰ Пушкин, Сочинения (акад. изд.), IX, I (Л., 1928), 381 и IX, 2 (Л., 1929), 850.

²¹ «Позвольте мне поблагодарить вас за „Эрнани“. Это одно из произведений современности, которое прочел я с наибольшим удовольствием. Гюго и Сент-Бёв бесспорно единственные поэты нашего времени».—Пушкин, Письма, ред. Б. Л. Модзалевского, II, Л., 1928, 91.

²² «Московский Телеграф», 1830, №№ 17 и 18; «Литературная Газета», 1830, №№ 37 и 38; «Сын Отечества», 1830, XIV, 423, XV, 36 и 69; «Телескоп», 1831, ч. IV, 19.

²³ «Гернани или Кастильская честь». Перевод А. Г. Ротчева, СПб. 1830. О запрещении постановки «Эрнани» на русской сцене сохранилось свидетельство Р. М. Зотова: «Ротчев перевел знаменитую пьесу Гюго „Гернани“, но ее запретила цензура».—«Исторический Вестник», 1896, III, 309.

²⁴ Пигарев К., Перевод Ф. Тютчева из В. Гюго.—«Мурановский сборник», вып. I, 1928, 36—42.

²⁵ Вяземский П. А., Полное собрание сочинений, СПб. 1883, VIII, 233.

²⁶ См. наблюдения Б. В. Томашевского.—Пушкин, Сочинения (акад. изд.), VII, (Л., 1936), 574.

²⁷ *Duchêne* (E.), M. J. Lermontov, P., 1913, 305—308; русский перевод—Дюшен Э., Поэзия Лермонтова в ее отношении к русской и западно-европейским литературам, Казань, 1914, 136—137.

²⁸ См. об этом: Л е р н е р Н. О., Пушкин и В. Гюго.—«Звенья», V, 1936, 134—136. В библиотеке Пушкина сохранился экземпляр «Les Orientales» в шестом издании 1829 г.; что Пушкин не раз его перелистывал, о том свидетельствует ряд отметок, сделанных им на этой книге. Для истории знакомства Пушкина с Гюго см. еще статьи: К о з м и н Н. К., Пушкин и В. Гюго об А. Шенье.—«Язык и Литература», I, вып. 1—2, Л., 1936, 351—360, и особенно Т о м а ш е в с к и й Б. В., Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово.—«Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Л., 1927, 206 и сл.

²⁹ Имеем в виду черновую заметку Пушкина без заглавия, начинающуюся словами: «Все известно, что французы народ самый anti-поэтический».—Пушк и н, Сочинения (акад. изд.), IX, Л., 1928, 63.

³⁰ Пушк и н, Письма, ред. Л. Б. Модзалевского, III, М.—Л., 1935, 78.

³¹ D u c h e s n e, op. cit., 305—308; русск. перев., 130—140; Ш у в а л о в С. В., Влияние на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии.—«Венок М. Ю. Лермонтову», М., 1914, 329—332.—Из «Записок» Е. Сушковой (Л., 1928, 164) явствует, что отдельные стихотворения Гюго в 30-х годах ходили у нас по рукам в рукописных копиях; так, А. А. Лопухин, родственник и приятель Лермонтова, прислал Е. Сушковой собственноручно им списанную «любимую его пьесу Виктора Гюго La prière pour tous». Любопытно, что в Архиве ИЛИ АН СССР сохранился автограф этого стихотворения Гюго (из сборника «Les feuilles d'automne», XXXVII, VIII) без заглавия, но с датой «12 mars 1837» и с рисунком С. Roqueplan, парижского художника, известного у нас по одному из парижских фельетонов И. С. Тургенева, где Камиль Рокплан назван «знаменитым остряком и живописцем» (см. «Фельетоны сороковых годов», М.—Л., 1930, 236—237).

³² Интересные замечания об этом см. в статье Н. К о в а р с к о г о, Полежаев и французская поэзия.—Сб. «Русская поэзия XIX в.», Л., 1929, 169—171; см. также Б о б р о в Е. А., Мелочи из истории русской литературы, вып. II, Варшава, 1907, 4—5. Приводим перечень всех дошедших до нас переводов Полежаева из Гюго, сохранившихся в его рукописных сборниках «Часы выздоровления» и «Последние стихотворения».

«Les Orientales» — первый сборник Гюго, из которого поэт стал переводить. Е. И. Бибикова свидетельствует («Русский Архив», 1882, VI, 233—243), что летом 1834 г. в с. Ильинском поэт перевел из этого сборника несколько стихотворений. Между тем, до нас из этого сборника дошел только один его перевод, уже упомянутый «Лунный свет» («Кальян», М., 1833, 83 — напечатано без имени Гюго и без эпиграфа).

Значительно большее внимание Полежаева привлек сборник Гюго «Odes et Ballades», из которого дошли до нас следующие переводы: из первой книги: «Людовик XVII» (V. «Louis XVII») — перевод напечатан без имени Гюго, без эпиграфа и с цензурной купюрой); «Видение» (X. «Vision»), (XI. «Вонаpart»); из третьей книги: «Два острова» (VI. «Les deux îles»); из четвертой книги: «Антихрист» (XII. «L'Antechrist»); — «Последняя песня Нерона» (XV. «Un chant de fête de Néron»); из книги «Баллады»: Баллада XIV — «Пир духов» (XIV. «La ronde du Sabbat»).

Из сборника «Les feuilles d'automne» Полежаев перевел лишь одно стихотворение «Воспоминания детства» («Souvenir d'enfance»).—См. публикацию Н. Бельчиков в «Запрещенные цензурой стихотворения Полежаева». — «Литературное Наследство», XV, 57—82; ср. также В. Б а р а н о в, Судьба литературного наследства А. И. Полежаева, — там же, 221—257.

³³ Переводы стихотворений Гюго в 30-х годах были очень многочисленны. Назовем для примера: «Призраки», перев. И. Покровского («Литер. Прибавл. к Русскому Инвалиду», 1832, 53); «К путешествнику», перев. С. Сельского («Сын Отечества», 1832, XXV, 432); «Песнь», перев. С. Сельского («Сын Отеч.», 1831, XXIII, 370); «Преставление Людовика XVII», перев. И. Покровского («Литер. Прибавл. к Русск. Инв.», 1831, 590); «Суд над XVIII веком», перев. С. Гедеонова («Библиотека для Чтения», 1834, V, отд. I, 215); «Ночь», перев. М. Демидова («Лит. Прибавл. к Русск. Инв.», 1834, 223); «Восторг», перев. Ф. М[енцова] («Библ. для Чт.», 1835, XIII, отд. I, 11); «Призраки», перев. М. Сорокина («Библ. для Чт.», 1835, X, отд. I, 173); «О крылья, крылья!», перев. И. Гогниева («Сын Отеч.», 1835, XLVIII, 610); С. Г. [С. Л. Геевский], Стихотворения, Харьков, 1835; «Джиннь», перев. П. П. («Телескоп», 1835, XXV, 34); «Лунный свет», перев. П. С. («Московский Наблюдатель», 1835, ч. V, 172); «Extase», перев. Ив. Ив. («Моск. Наблюд.», 1835, ч. III, 345); «Минувшая юность», перев. И. Панаева («Библ. для Чт.», 1836, XVI, отд. I, 160); «Молитва за всех», перев. С. Гранкина («Моск. Наблюд.», ч. XV, 380); «Дервиш», перев. С. Гранкина (там же, ч. XV, 226); «Надежда на бога», перев. С. Гранкина

(там же, ч. XV, 253); «Красавице», перев. Бухарина («Библи. для Чт.», 1839, XXXV, отд. I, 55); «Взгляд», перев. О. З. («Галатей», 1839, ч. IV, стр. 355); «Покров» («Галатей», 1839, ч. V, 73) и мн. др.

³⁴ «Библиотека для Чтения», 1834, VII, отд. I, 130.

³⁵ Пушкин, Дневник, ред. Б. Л. Модзалевского, П., 1923, 24; свод ряда вариантов этого рассказа и биографические сведения о М. Д. Деларю (1811—1868) см. Б о б р о в Е. А., Мелочи из истории русской литературы, V, Деларю и его перевод из Гюго. Отдельный оттиск из «Русского Филолог. Вестника», 1905, № 2, 10—15. Тот же рассказ о Деларю со слов И. А. Крылова находим в «Очерках и воспоминаниях» Н. М. Колмакова («Русск. Стар.», 1891, LXX, 666—667) и в статье А. А. Малышева, Из воспоминаний о прошлом.—«Исторический Вестник», 1885, XX, июль, 650—651; см. еще П у ш к и н, Письма, III, 1935, 247—249; M o r g u l i s (Grégoire), Vicissitudes de Victor Hugo en Russie. Autour de quelques vers des «Feuilles d'automne».—«Revue de Littérature Comparée», 1931, № 2, avril-juin, 237—249.

³⁶ Никитенко А. В., Записки и дневник, СПб. 1905, I, 256—260.

³⁷ Flutre (Fernand), Eclaircissements sur les «Feuilles d'automne».—«Revue d'Histoire Littéraire de la France», 1927, 562. Автор предлагает на выбор или приведенное толкование стихотворения или другое, по которому Гюго говорит в нем о прусском короле Фридрихе-Вильгельме III.

³⁸ Вяземский П. А., Старая записная книжка.—Сборник «Деятнадцатый Век», М., 1872, II, 237—238. Вяземский прибавляет дальше: «Тут упоминается и о русском палаче», имея, вероятно, в виду то место романа, где говорится, что «lazarine Pétrowna se lavait le visage, chaque fois qu'elle revenait d'une exécution» (chap. XIV).

³⁹ Смирнова А. О., Записки, дневник, воспоминания, письма, М., 1929, 231—232.

⁴⁰ Орлов Вл., Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов, Л., 1934, 51—53; здесь же мы находим полезную сводку материалов о Гюго, напечатанных в «Московском Телеграфе».

⁴¹ «Московский Телеграф», 1827, ч. XIV, 43.

⁴² I b i d., 1830, ч. XXXII, 513.

⁴³ I b i d., 1831, ч. XLII, 218.

⁴⁴ Орлов Вл., *op. cit.*, 53; статья Н. Полевого «О романах В. Гюго» помещена в «Московском Телеграфе», 1832, ч. XLIII, №№ 1—3. Изложение ее см. в книге: К о з м и н Н. К., Очерки из истории русского романтизма, СПб. 1903, 401—402.

⁴⁵ Панаев И. И., Литературные воспоминания, СПб. 1876, 41. Оповестивший русских читателей о новом романе Гюго отрывок из «Notre-Dame de Paris», в котором изображен Людовик XI, появился в №№ 14 и 15 «Московского Телеграфа» за 1831 г. (ср. еще «Северный Архив», 1831, ч. 50—52); при этом Полевой заявил, что «характер Людовика XI, изображенный уже мастерскою кистью В. Скотта», в очерках Гюго получил «более силы, более истины». Совершенно такого же мнения держался впоследствии Аполлон Григорьев. Сопоставляя В. Скотта и В. Гюго, он отдавал предпочтение последнему. В «Квентине Дорварде» В. Скотта захваленный Людовик XI, не сходящий почти со сцены в романе, какая-то вялая тень перед Людовиком XI величайшего поэта нашего века [Гюго], хоть в свой «Notre-Dame» он и пустил его только в две сцены... Да зато какие эти сцены-то, какой мощи и поэзии полны они» (Г р и г о р ь е в А. п., Полн. собр. соч. и писем, ред. В. С. Спиридонова, П., 1918, 90). Совершенно обратного мнения придерживалась англофильская «Библиотека для Чтения». Здесь писали: «Изю всех доселе вышедших подражаний Вальтер Скотту, вероятно, одно сочинение Виктора Гюго, „Церковь парижской богородицы“, останется для потомства; никто, однако же, хоть несколько свободный от предубеждений школы, не скажет того, чтобы в целом оно могло выдержать сравнение с лучшими романами шотландского мастера» («Библи. для Чт.», 1834, II, отд. V, 18—19).

⁴⁶ «Свободна ли уже Notre-Dame?».

⁴⁷ «Вот книги, которые вы были добры мне одолжить. Ваше восхищение Notre-Dame вполне понятно. Во всем этом вымысле много изящества. Но, но... я не смею сказать всего, что об этом думаю».—П у ш к и н, Письма, III, 1935, 21, 22.

⁴⁸ Вяземский П. П. кн., Сочинения, СПб. 1893, 531.—«Русский Архив», 1884, II, 418.

⁴⁹ Гоголь, Письма, ред. В. Шенрока, I, 186.

⁵⁰ «Русский Архив», 1884, II, 419.

⁵¹ Григорьев А. А., Мои литературные и нравственные скитальчества, 1862.—«Полн. собр. соч. и писем», I, П., 1918, 1—2.

⁵² «Репертуар и Пантеон», 1846, XIV, кн. 6 (июнь), театральная летопись, 79—80; о принадлежности этой анонимной статьи А. Григорьеву см. К н я ж н и н В. Н., А. А. Григорьев. Материалы для биографии, П., 1917, 372.

⁵³ Герцен, Сочинения, ред. М. К. Лемке, I, П., 1919, 216, 314, 316. Дневники и письма Герцена 1833—1837 гг. полны отзвуков чтения «Notre-Dame» и других произведений Гюго. В 1833 г. он сопоставляет себя с Клодом Фролло и еще в 1837 г. пишет Н. А. Захарьиной: «Я себя напр. никогда не сравнивал с Phœbus de Châteaupers» (I, 112, 405). Из Вятки Герцен спрашивал Н. Х. Кетчера: «Каковы новые драмы Hugo, его книга „Chants du crépuscule“?» (I, 216). В своей «Легенде» он цитирует одно из стихотворений Гюго и эту же цитату помещает в письме к Н. А. Захарьиной (I, 241, 405); однажды он вспоминает и «Мазепу» из «Orientales» (I, 377, ср. еще 81, 85). 5 декабря 1836 г. Герцен пишет: «При этом письме приложил я прелестные стихи Гюго, чрезвычайно хорошие—надеюсь, по моей рекомендации,—и вам, милостивая государыня, понравятся». — Напомним здесь также сочувственное отношение к Гюго Н. В. Станкевича. В письме к Я. М. Неверову (19 сентября 1834 г.) Станкевич пишет, что он «благословил честного Гюго, за нравственность которого я всегда горячо спорил и который утешил меня мыслью, давно мне приходившею в голову, что все бедствия современной Европы зависят от невежества большей части граждан» («Переписка Н. В. Станкевича», М., 1914, 290). В тех же письмах Станкевич упоминает «Le roi s'amuse» («давно читал—эффектно, изысканно!») и однажды цитирует стихи из «Lucrèce Borgia», которые «вертелись на языке у меня и, по одному, невольно делались девизами» (Ibid., 278, 307).

⁵⁴ Герцен, Сочинения, I, 363, 364. Отмеченные Герценом главы «Notre-Dame» находятся в 5-й книге I тома романа.

⁵⁵ «Библиотека для Чтения», 1835, ч. IX, отд. VI, 8—14. Сопоставления статьи Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени» (в «Арабесках») с «Notre-Dame» см. у А. А. Назаревского, Гоголь и искусство, Киев, 1910, 27—29 (отд. оттиск из сборника Киевского университета «Памяти Н. В. Гоголя», Киев, 1911).

⁵⁶ Григорьев Аполлон, Сочинения, СПб. 1876, I, 293—294; ср. Гроссман Леонид, Три современника, М., 1922, 46, 58—59.

⁵⁷ Юношеский роман Лермонтова «Вадим» (1831—1832) не без основания сопоставляют с «Бюг Жаргале», но в его центральном действующем лице, горбуне Вадиме, не трудно увидеть отзвуки других героев Гюго—Гана Исландца, Квазимодо и Клода Фролло. См. Duchesne (E.), op. cit., русск. перев., 134—135; Родзевич С. И., Лермонтов, как романист, Киев, 1914, 8—14, 19—20, 29—34. Что касается «Последнего дня осужденного», занимающего своеобразное место в цикле художественной прозы Гюго, то история усвоения его в русской литературе интересно очерчена в книге: Виноградов В. В., Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский, Л., 1929, 128—133. В дополнение к приведенным там материалам укажем еще на то, что «Le dernier jour d'un condamné» отозвался в отрывках романа А. А. Бестужева-Марлинского, писанного им на Кавказе, в котором описаны ощущения человека, погибающего от чумы. Характерно, что и П. А. Вяземский берет эпиграф из того же произведения Гюго для своего стихотворения «Осень 1830 года», написанного во время сильной холерной эпидемии («Северные Цветы на 1831 г.», 68).

⁵⁸ «Эсмеральда, или четыре рода любви», драма в 5 д. с прологом (перевод драмы Birch-Pfeiffer по роману Гюго «Der Glöckner von Paris»), получила цензурное разрешение в 1836 г. и в первый раз шла в Александринском театре 31 мая 1837 г. (см. Каратыгин П. А., Записки. Новое изд. по рукописи, ред. Б. В. Казанского, Л., 1930, II, 187—188, 415). Несмотря на свои недостатки, пьеса долго держалась на русской сцене, дав ряд прекрасных исполнительниц главной роли. В «Репертуаре и Пантеоне» (1846, XIV, театральная летопись, май, 79—81; ср. выше, прим. 52-е) писали: «Театралы Александринского театра еще до сих пор не могут забыть Эсмеральды-Асенковой; автор этой статьи хранит среди своих театральных воспоминаний одно прекрасное воспоминание о Н. В. Репниной; Эсмеральду же, истинную Эсмеральду, говорившую только не языком, а ногами, видел Петербург в Тальони». «Но, боже мой, боже мой! Что такое сделала немецкая драма из дивной поэмы Гюго! Зачем она испортила свою приторную сентиментальностью ветренную, беззаботную Эсмеральду, девочку Эсмеральду, маленькую Эсмеральду? Зачем она, эта немецкая драма, не показала хоть раз Клавдия Фролло царем и властителем громадного старого здания?» и т. д. Портрет В. Н. Асенковой в роли Эсмеральды см. в приложении к статье М. Ч[ехова] В. Н. Асенкова.—«Ежегодник имп. театров», сез. 1895—1896, прилож. 2, 1—14. Отметим, кстати, что среди пьес В. А. Каратыгина находится также пьеса «Предок и потомок, трилогия в стихах и прозе»—перевод драмы Гюго «Les Burgraves» (1843); в Александринском театре она шла в 1844 г. Впоследствии Каратыгин перевел в стихах один акт (пятый) из «Hernani»—«Кастильская честь» (Александринский театр, 12 ноября 1851 г.). См. Каратыгин П. А., Записки, ред. Б. В. Казанского, Л., 1930, II, 416.

⁵⁹ Даргомыжский А. С., Автобиография. Письма, П., 1921, 5.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В ТРИДЦАТЫХ И СОРОКОВЫХ ГОДАХ

ВИЗИТ В. П. БОТКИНА К ГЮГО.—ГЮГО В ВОСПОМИНАНИЯХ В. М. СТРОЕВА.—ГЮГО И Н. И. ГРЕЧ.—ПОСЛАНИЕ В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА К ГЮГО.—СТИХОТВОРЕНИЕ Е. П. РОСТОПЧИНОЙ, ДОСТАВЛЕННОЕ ГЮГО ЭЛИМОМ МЕЩЕРСКИМ.—ОТЗЫВЫ И ВОСПОМИНАНИЯ О ГЮГО РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В ПАРИЖЕ: А. И. ТУРГЕНЕВА, П. В. АННЕНКОВА, МАТВЕЯ ВОЛКОВА, В. П. БАЛАВИНА, А. Н. КАРАМЗИНА.—«ЭСМЕРАЛЬДА» А. С. ДАРГОМЫЖСКОГО.

Коснувшись однажды огромного успеха и той шумной популярности, какие выпали в России на долю «Собора парижской богородицы», Аполлон Григорьев писал (в 1859 г.): «... веяние то было сильное. Ведь „Notre-Dame“ Виктора Гюго расшевелила даже старика Гёте—и понятно почему: на что он слегка намекнул в своей Миньоне, то гениальный урод—пусть и болезненно и чудовищно, но развил в своей Эсмеральде! Ведь и теперь еще надобно большие, напряженные усилия делать над собою, чтобы, начавши читать „Notre-Dame“, не забрести, искренно не забрести вместе с голодным поэтом Пьером Гренгуаром за цыганочкой и ее козочкой в Cour des Miracles, не увлечься потом до страстного сочувствия судьбой бедной мушки, над которою вьет сеть злой паук-судьба, не проклинать этого злого паука с другой его жертвою, Клавдием Фролло, удержаться от головокружения, читая описание его падения с башни Notre-Dame и проч. и проч. Все это дико, чудовищно, но—увы! гениально, и понятен лирический восторг, с которым один из наших тогдашних путешественников, ныне едва ли помнящий или постаравшийся забыть эти впечатления—описывал в „Телескопе“ свое восхождение на башни Notre-Dame и свое свидание с В. Гюго»¹.

Такое свидание, действительно, состоялось в 1835 г. Путешественник, о котором говорит А. Григорьев, не называя его по имени,—Василий Петрович Боткин (1810—1869). Приехав в Париж восторженным поклонником В. Гюго и его романа, он взбирается на башню Notre-Dame с этим романом в руках: «Признаюсь, мне хотелось отыскать какой-нибудь затерявшийся след великой драмы, и я еще раз, но с каким новым, живым наслаждением, читал дивный роман». Затем он решил сделать визит самому автору. Это было первое русское паломничество к Виктору Гюго. Мы приводили до сих пор сдержанные или холодные отзывы русских, живших в Париже, о встречах с Гюго; эти отзывы относились к концу 20-х или началу 30-х годов. Как изменилось все за какое-нибудь пятилетие! С юношеской восторженностью Боткин считает Гюго «первым поэтом современной Франции» (таково было мнение его поколения, социально и идейно уже чуждого русской либеральной дворянской интеллигенции 20-х годов). Когда В. П. Боткин, этот внук крепостного крестьянина и сын богатого московского чаеоторговца, получивший воспитание в пансионе и закончивший его самостоятельным чтением, ехал за границу, то он, этот будущий друг Белинского, затем Огарева, Бакунина, Грановского, И. С. Тургенева, был горячим приверженцем того самого французского романтизма, который проповедывал Н. Полевой в своем «Московском Телеграфе», иначе говоря, того романтизма, который был радикальным течением и сыграл весьма крупную роль в выработке буржуазной идеологии. Гюго, как мы видели, был в центре внимания «Московского Телеграфа»; его высокая оценка всецело была усвоена и Боткиным. Однако, по приезде в Париж Боткин был разочарован тем отношением к Гюго, какое он нашел у живших там своих соотечественников. Он попал, очевидно, главным образом,

в те русские салоны Парижа, которые жили еще традициями эпохи Реставрации. «Общее мнение всего литературного круга, собравшегося у***,— писал Боткин в своем письме из Парижа, напечатанном в «Телескопе»²,— было то, что Гюго—писатель с некоторым дарованием, но уклонившийся в дурную сторону и теперь уже потерявший всякое влияние на современную литературу... На меня, начавшего с глубоким уважением говорить о Гюго, смотрели, как на северного варвара, спрашивающего о предмете давно решенном и несколько прошлом... У*** собиралось аристократическое общество известнейших светских литераторов: тут читались разные сонеты, послания к тому, к тому... Я был знаком с несколькими молодыми людьми мнений противоположных обществу, собиравшемуся у ***. Это были пламенные последователи новых идей, пылкие энтузиасты, самоотверженные преобразователи настоящей цивилизации; тут обвиняли Гюго в недостатке положительных политических мнений, называли его поэтом, но поэтом слишком материальным; тут сказывали мне, что, ...ожесточенный критиками и ядовитыми статьями журналов, он отказался от своего поэтического призвания, впал в совершенную материальность, забыл даже о семействе своем, живет с одною актрисой театра St.-Martin³ и никого к себе не принимает. Что мне было делать? Несмотря на все это, желание видеть Гюго превозмогло, и я, отыскав в парижском всеобщем адрес-календаре квартиру его, решился, по русской пословице „спрос не беда“, написать к нему письмо, в котором просил у него позволения быть у него и назначить мне время». Первая попытка Боткина увидеть Гюго была неудачна, но в конце концов встреча состоялась, и Боткин получил возможность подробно поделиться с читателями «Телескопа» своими личными впечатлениями от знаменитого писателя. Вот что сообщает он о своем посещении «первого поэта современной Франции»: «На другой день после обеда, в восьмом часу, порядочно приодевшись, взял я кабриолет и с трепещущим сердцем проговорил кучеру: Place Royale, № 6. Приезжаю... Безобразная служанка, отворившая мне дверь, говорит, что Гюго обедает. Опять неудача. Спрашивает, как сказать обо мне?—Русский путешественник. Жду. Не прошло минуты, входит в переднюю человек невысокого роста, с полным, здоровым лицом, волосами, почти белокурыми, лежащими просто. Он стал извиняться, просить меня войти в гостиную и подождать, пока кончится обед. „Monsieur Hugo?“—пробормотал я и уставился на него... Еще полный впечатлений „Notre-Dame de Paris“, увидел я перед собою Гюго, и вы поймете причину, отчего я уставился на него с глупым любопытством, рассматривая это полное свежее лицо, это чело, озаменованное печатью гения... Долго б простоял я молча, если б Гюго, улыбнувшись, не вошел первый в комнату, пригласивши меня движением головы следовать за ним... Первым вопросом его было, дозволены ли его сочинения в России? Потом интересовался он знать, с какой точки смотрят у нас на „Notre-Dame de Paris“, спрашивал о народной нашей поэзии. Я говорил ему о народных песнях наших, старался объяснить характер их, о бродячих семьях наших цыган, их странном быте. Последнее, казалось, очень занимало его. Вообще он дает России высокую поэтическую будущность. Не более получаса длился наш разговор...». На прощанье Боткин просил Гюго написать ему на память свое имя. «„Eh, avec un grand plaisir, M-r“,—отвечал он, вошел в кабинет и через минуту вынес бумажку, на которой было написано: „Qui sperat vivit—Victor Hugo“. „Через месяц я возвращусь и с удовольствием увижу вас у себя; мне очень интересно

послушать о России“, —сказал он мне, когда я стал откланиваться, и проводил меня до дверей крыльца». Но это была их первая и последняя встреча. Боткин был несколько разочарован, и главным разочарованием явились, конечно, кратковременность и официальность встречи. Боткин готовился к посещению знаменитого салона на Place Royale, как к большому событию своей жизни. Это было не простое любопытство иностранца, а, несомненно, паломничество к любимому автору. Но с какой стороны мог быть интересен этот молодой русский путешественник для Гюго? Сви-



В. П. БОТКИН

Акварель К. А. Горбунова, 1843 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

дание вышло несколько натянутое. Боткин сам сообщает об этом, и потому его искренний рассказ внушает к себе редкое в подобных случаях доверие⁴.

Встреча Гюго с Владимиром Михайловичем Строевым, состоявшаяся через несколько лет, внешне напоминала только что описанную, но этот русский путешественник мало в чем похож был на московского западника, энтузиаста Боткина. Автор малозанимательных «Сцен из петербургской жизни» (СПб. 1835—1837), сотрудник полуофициальной «Северной Пчелы» — «Греча левый глаз с бельмом», как его определил А. Ф. Воейков в своем «Доме сумасшедших», — Строев был фигурой малоуважаемой в литературном мире Петербурга⁵. Он уехал во Францию в 1838 г. и гордо заявляет в своей книге «Париж в 1838 и 1839 годах», которая была плодом

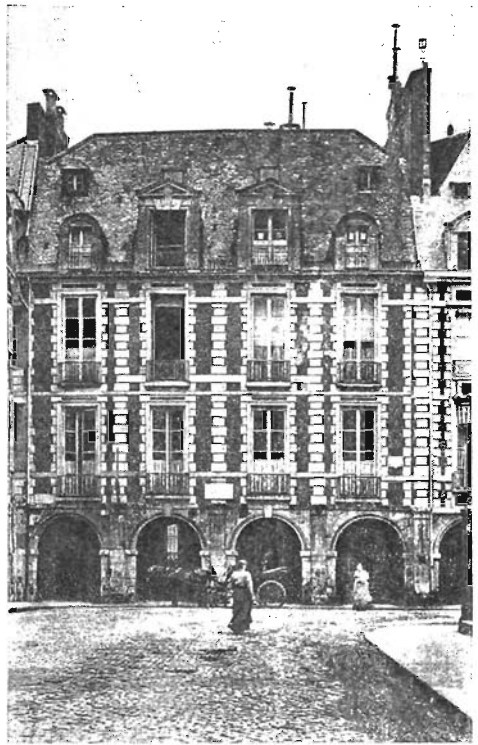
его двухлетних наблюдений над жизнью французской столицы, что цель этой поездки была «чисто литературная». Что это заявление не вполне соответствует истине, нетрудно догадаться из его же последующих слов. «Один из русских вельмож... А. Н. Д-в, живя в Париже и видя, что Франция мало знает Россию, задумал распространить в чужих краях верные и современные сведения о своем отечестве. Его обширные связи с литераторами, сильное влияние на журналистов давали ему средства исполнить эту счастливую и полезную мысль. Надобно было выбрать человека, который мог бы доставлять материалы, собирать сведения и передавать их французам. Выбор пал на меня»⁶. Иными словами, при этом «вельможе», в котором нетрудно угадать известного миллионера-горнозаводчика А. Н. Демидова (1812—1870), купившего себе в Италии опереточный титул «князя Сан-Донато» и тешившего свое тщеславие «покровительством наукам и искусствам», Строев играл роль человека подчиненного, выполняющего определенное поручение своего патрона.

Впрочем, в книге Строева, которая, по отзыву С. П. Шевырева, представляет собою «весьма приятный, легкий и довольно полный эскиз парижской жизни почти во всех видах, политическом, литературном, промышленном, художественном, общественном»⁷, действительно, много занимательного. В главе VI сосредоточены рассказы о парижских писателях, поэтах, ученых, литераторах. Нередко отправной точкой для своего отзыва о том или другом писателе Строев берет личное впечатление, полученное от встречи с ними. Здесь мелькают имена Ламартина, А. де Мюссе, А. Дюма, Ф. Сулье, Вьенне, Низара, Ж. Жанена, Т. Готье, А. Пишо, Сент-Бёва, Нодье, Шатобриана, Бальзака и др. Здесь же находятся и рассказы о беседах с В. Гюго. В. Строев интересовался им еще в России. В 1837 г. он поместил в «Сыне Отечества» статейку: «В. Гюго, оцененный Ж. Жаненом»⁸, а теперь, очутившись в Париже, собирал о нем сведения непосредственно из уст французских литераторов⁹. Он подробно говорит в своей книге о поведении и привычках Гюго, о его семейной жизни, с большими деталями описывает средневековую обстановку жилища поэта и т. п. Сообщая все это, Строев был мало оригинален и не открывал чего-либо нового даже для русских читателей. В русских журналах той эпохи печаталось много известий о внешнем облике Гюго и об образе его жизни; в «Галатее», например, сам Строев, обрабатывая свою книгу в Петербурге, мог прочесть статью А. Вейля «Пять часов, проведенных у В. Гюго»¹⁰, в которой указан его парижский адрес, описаны обстановка его квартиры, образ его жизни, его дети, к которым он чувствует большую нежность. Но вслед за тем, что известно всем и каждому, хоть сколько-нибудь интересующемуся парижской литературной жизнью, Строев сообщает и ряд таких сведений, которыми как бы оправдывалось его пребывание в Париже в полуслужебном положении при русском «вельможе». Он пишет: «Виктор Гюго очень любит Россию и чрезвычайно желает видеть Кремль; долгое путешествие его пугает; жаль оставить жену и детей. В душе он роялист, приверженец Бурбонов, но оставил легитимистов, когда увидел, что они употребляют все средства, даже бунт, в пользу своих мнений. Он хочет жить без упрека, с чистою совестью, и в политике, и в литературе... В самом деле, в нынешнее время неурядиц, борьбы, всеобщего неудовольствия, всеобщих исканий в Париже трудно найти человека, который бы жил для искусства, вне интриг и споров, без замыслов и происков, как Виктор Гюго»¹¹.

ДОМ НА PLACE ROYALE (НЫНЕ PLACE DES VOSGES) В ПАРИЖЕ, В КОТОРОМ ЖИЛ В. ГЮГО В 1832—1848 гг.

В настоящее время дом обращен в музей В. Гюго

С фотографии 1900-ых гг.



Многое в этом рассказе возбуждает сомнения. Утверждение Строева, что Гюго «любит Россию», — не более чем уловка, необходимая для последующей его идеализации в нужном для автора направлении. Каково было действительное отношение Гюго к официальной николаевской России, мы знаем из его полонифильских гимнов времен польского восстания или из цикла стихов, посвященных Наполеону. Конечно, у него мог быть интерес к незнакомой стране, а на людей, прибывших оттуда, он смотрел с любопытством, слушая их рассказы о том, какой шум производят его романы в далеких северных столицах. Ведь и у Боткина Гюго спрашивал о русских народных песнях, о бродячих семьях наших цыган. Все это, конечно, была «экзотика», столь близкая всякому романтическому сердцу; поэтому-то «русская тема», по замечанию Б. В. Томашевского, «как экзотическая тема путешествия», была почти обязательна во французском романе эпохи¹². Но не забудем при этом, что восприятие официальной России французскими беллетристами эпохи буржуазной монархии Луи-Филиппа было чаще всего отрицательным. Для Гюго этих лет, как и для Беранже, Россия все еще была страной «казака» (см. его «Chant du Cosaque»), этого «потомка Атиллы» времен Отечественной войны и парижского похода¹³, и он, подобно многим своим соотечественникам, вероятно, часто отождествлял режим и нацию. Беседы с путешественниками типа В. М. Строева должны были сильно этому способствовать. В рассказе Строева о Гюго так и чувствуется стремление подчеркнуть, что его пропаганда не осталась бесплодной; простую вежливость по отношению к иностранцу Строев принял за результат своего красноречия. Ему оставалось лишь продолжить свое «оправдание» Гюго в глазах русского официального читателя, то оправдание, в котором автор «Le Roi s'amuse» (1832) и «Angelo»

(1835), по мнению Строева, сильно нуждался. Отсюда и свидетельство его, что Гюго «в душе роялист, приверженец Бурбонов», несколько запоздавшее уже к тому времени, когда книга его путевых очерков увидела свет¹⁴.

Около того же времени, когда В. Строев виделся с Гюго, Париж посетил Н. И. Греч, уже в прямом смысле слова представитель официальной России. В 30-х годах Греч нисколько не скрывал своего политического лица и, действуя вместе с Ф. Булгариным, вел литературно-охранительную работу, оказывая свои услуги III отделению на добровольных началах, не находясь официально на службе у Бенкендорфа. В своих «Путевых письмах из Англии, Германии и Франции» (1839) Греч рассказывает, что, по письму французского посланника в Петербурге Баранта, он попал на один из «понедельников» к Сальванди, тогдашнему французскому министру народного просвещения. «У него видел я Вильмена, Виктора Гюго, Сент-Бёва, Лебрена, Карра, Гранье де Кассаньяка и других писателей и литераторов Франции; слышал, как В. Гюго читал новое свое стихотворение „На сооружение Триумфальных ворот“». Петербургское знакомство с литератором Лёве-Веймаром, посетившим Россию в 1836 г. в качестве негласного агента Тьера, и рекомендации посланников открыли Гречу двери других салонов. Он побывал у Гизо и познакомился с Сент-Бёвом. Греч подробно описывает свою беседу с знаменитым критиком на одном из литературных вечеров. Сент-Бёв, по словам Греча, спрашивал его «об успехах русского языка и литературы и заметил, между прочим, что цензура, вероятно, стесняет движения и порывы молодых умов». В ответ на это «неуместное» замечание, Греч принялся развивать перед собеседником свои излюбленные мысли о «благодетельном действии» николаевской цензуры. «Мы разговорились,—продолжает Греч,—о цели словесности, о благородном призвании писателей и литераторов. Я сказал, притом, напрямки, что литература, которая не распространяет здравых понятий и благородных правил, не старается искоренить порока и не уважает чести и добродетели, не есть еще литература, и что только тот писатель достоин уважения, который возвышает собою и своими творениями достоинство человека и гражданина. „Я совершенно с вами согласен“,—сказал на это человек, прислушавшийся к нашему разговору. Я поклонился ему за доброе его мнение. Г-н Сент-Бёв сказал мне: „Это одобрение должно быть вам тем приятнее, что вы слышите его из уст г. Виктора Гюго“.—Признаться, я немножко смешался, что дерзнул возгласить такие правила в присутствии автора „Луcreции Борджиа“, „Le roi s’amuse“, но простодушие и истина, с какими отозвался Виктор Гюго, меня успокоили. Мы с ним разговорились, познакомились и, могу сказать, подружились»¹⁵.

Таковы развязные признания Греча, которые впоследствии так зло высмеял А. И. Герцен. Чтобы читатель не усомнился в его дружбе с Гюго, Греч не остановился на этом; в его воспоминаниях Гюго посвящено еще несколько страниц, столь же развязных, наглых и елейных одновременно¹⁶. В заключение Греч указывает, что «на прощанье» поэт подарил ему «экземпляр своих новых сочинений», лирический сборник «*Voix intérieures*» с припискою: «*A Mr. Gr[etch]. Souvenir cordial de V. Hugo*». Это последнее указание, по крайней мере, не выдуманно: титульный лист этого издания, с автографом Гюго, сохранился донныне и находится в Москве¹⁷.

Воспоминания Греча не нуждаются ни в каких комментариях: они говорят сами за себя. Печальная известность, которую стяжал их автор среди своих современников, может служить порукой тому, что уже при

своим выходе в свет они получили справедливую оценку, что они уже тогда должны были восприниматься с комической своей стороны. Во всяком случае, рассказ этот был прочно забыт. На беду свою, Греч вспомнил о нем двадцать лет спустя. В одном из своих фельетонов в «Северной Пчеле» за 1858 г.¹⁸, посвященном рассуждениям о «ничтожности современной литературы» и «отрицательном направлении» ее, Греч не упустил случая поделиться своими любимыми мыслями о «благодетельной пользе цензуры». По этому поводу он и вспоминал, что «выдержал, слишком за двадцать лет перед сим, спор о нашей цензуре—на неприятельской батарее». «Это—припоминает Греч—случилось в 1837 г. в Париже, в салоне французского министра просвещения, покойного графа Сальванди». Вслед за этим он почти слово в слово перепечатал свой рассказ о Гюго из книги 1839 г. Фельетон Греча обратил на себя внимание Герцена, который откликнулся на него убийственной для Греча статьей, напечатанной в «Колоколе»: «Генералы от цензуры и Виктор Гюго на батарее Сальванди». Герцен тонко и зло посмеялся здесь над «генералом от цензуры» Гречем, над неприятельской батареей, на которой этот добровольный агент III отделения двадцать лет назад дал бой хулителям николаевской России, и над развязностью, с которой Греч писал о Гюго («мы с ним познакомились и, смею сказать, подружился») ¹⁹. Герцен изложил Гюго воспоминания Греча и получил следующий негодующий ответ, который и приводит:

Перевод:

Hauteville-House, Остров Гернси.
17 января 1859 г.

...Кто прочел хоть одну страницу моих сочинений, тот не осмелится сказать, чтобы я когда-нибудь становился за цензуру. Всегда, даже во время моей роялистской юности, я был безграничным противником цензуры, в какой бы форме она ни являлась. А потому наш друг Герцен имеет полное право сказать, что все это—неправда. Помнится, я этого Греча раза два видел у себя и, если не ошибаюсь, его привозил маркиз де Кюстин.

В. Гюго

Вся соль этого разъяснения заключается в его последних словах; они требуют комментария, хотя были вполне понятны для современников. Знаменитая книга маркиза де Кюстина «La Russie en 1839» («Россия в 1839 г.») появилась в Париже в 1843 г. «Без сомнения это—самая интересная и умная книга, написанная о России иностранцем»,—писал о ней Герцен. Кюстин ехал в Россию искать доводов против представительного правления, а вернулся оттуда убежденным и острым ненавистником николаевского самодержавия. Впечатление, произведенное книгою Кюстина в Европе, было поистине огромно. Петербургское правительство было вынуждено заняться, через своих агентов, опровержением «клеветы». Одним из людей, предложивших свои услуги для этой цели, был Греч. Сохранилось его прошение помощнику Бенкендорфа Дубельту: «Ваше превосходительство, заставьте за себя вечно бога молить! Испросите мне позволение разобрать эту книгу». Кроме того, Греч просил «дозволения» перевести свой разбор на немецкий и французский языки и издать их за границей²⁰. Предложение было одобрено, и Греч отправился опять в Париж, где и издал в конце 1843 г., вскоре же после выхода в свет книги

Кюстина, свой ответ ему: «Исследование по поводу сочинения г. маркиза де Кюстина». Эта полемическая брошюра, как и следовало ожидать, не имела за границей никакого успеха. А. И. Тургенев в январе 1844 г. писал из Парижа, что никто не покупает книги Греча, а в другом, более раннем письме (декабрь 1843 г.) он сообщал П. А. Вяземскому, что «русские и полу-русские дамы получили печатные карточки: „Mr. Gretch premier espion de sa majesté l'empereur de Russie“»²¹. Любопытно, что такое же известие мы находим в письме самого маркиза де Кюстина к Фарнгагену фон Энзе: «Только что появилась брошюра г. Греча, во французском переводе. О пребывании этого субъекта в Париже было возведено своеобразно. У дверей всех сколько-нибудь известных лиц оставили визитные карточки с его именем и добавлением: „Grand espion de Russie“. Он жаловался на эту клевету; но попробуйте, разыщите виновника!!—над этим смеялись, а в этой стране смех всегда является оружием»²².

Стоит ли говорить о том, каково было содержание брошюры Греча? Он писал здесь о том, что ничто не может быть выше правительства российского императора, что личность каждого живущего в империи Николая I вполне обеспечена, что высшее управление полицией поручено людям, пользующимся доверием царя и уважением всей страны, что свобода выражения мнений предоставлена каждому и что, если цензура существует, то она учреждена исключительно в интересах подданных императора, между прочим, и потому, что иностранцы пишут о России слишком много вздора... Знал ли обо всем этом Виктор Гюго? Слышал ли он о проделке с визитными карточками? Об этом, думается, нетрудно догадаться по заключительной фразе письма его к Герцену, и такое предположение тем более правдоподобно, что Греч вновь виделся с Гюго как раз около этого времени.

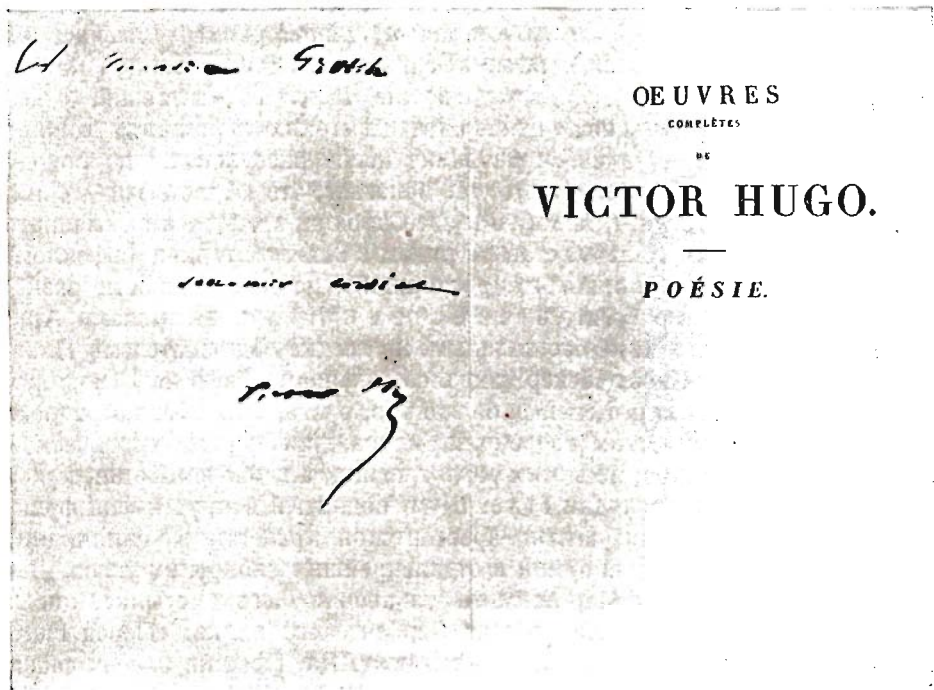
Об этом свидании Греч рассказал в своих «Парижских письмах» (1847 г.). «Вы знаете, какое несчастье постигло Виктора Гюго!—пишет он.—Девятнадцатилетняя дочь его, вышедшая замуж за 3 месяца перед сим, потонула, катаясь в Гавре по Сене, с мужем и свекром своим. Сам В. Гюго в это время был в Испании. Прибыв во Францию, он узнал о несчастье из газет»²³. Это свидетельство занесено в книгу «Писем» Греча под сентябрём 1843 г.; в письме от 29 января (10 февраля) 1844 г. мы находим и описание второго визита Греча к Гюго.

«Долго не решался я ехать к Виктору Гюго; мне грустно было подумать, что появлением в его доме возбужу я в нем воспоминания о былом времени, о жестокой утрате, его сразившей. И как начну я говорить с несчастною матерью? Между тем, я не мог не посетить его...». «Он принял меня дружелюбно и ласково... После первых горестных приветствий, Гюго приуныл было, но потом разговорился и, как будто, забыл свою грусть. Смерть Карла Нодье была предметом нашей беседы. Гюго любил его искренне»...

В то время, как Греч возражал Кюстину в своей брошюре, доказывая, что русское правительство всегда действует безупречно, что его едва ли даже можно обвинить в жестокости по отношению к Лермонтову, высланному на Кавказ, ибо—рассуждал Греч—эта ссылка послужила лишь на пользу поэту, дарование которого лишь на Кавказе развернулось во всей широте,—в то самое время в отдаленной сибирской глуши другой ссыльный русский поэт писал стихотворное послание Виктору Гюго. Это был декабрист В. К. Кюхельбекер, лицейский друг Пушкина и романтик, ставший жертвой того самого николаевского режима, елейные гимны кото-

рому пел в Париже Греч, сам некогда бывший одним из друзей Кюхельбекера. Послание это никогда не дошло до Гюго. Он никогда не узнал печального жребия своего русского собрата, который посвятил ему свои вдохновенные строки, несомненно, лучшие из всех, какие адресованы ему были русскими поэтами.

С творчеством В. Гюго Кюхельбекер смог познакомиться лишь в тюрьме и ссылке. В юности он, правда, побывал в Париже, в качестве секретаря А. Л. Нарышкина, но эта поездка была кратковременна («Я миг гостил в земле твоей...») и относилась к эпохе, когда юноша Гюго еще не выступил с первой книжкой своих стихотворений. Кюхельбекер приехал в Париж



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ВИКТОРА ГЮГО НА ЕГО СБОРНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ „VOIX INTÉRIEURES“, ПОДАРЕННОЙ Н. И. ГРЕЧУ В 1837 г.

Литературный музей, Москва

в марте 1821 г. и уехал оттуда осенью того же года, высланный на родину русским посольством после нескольких слишком вольнолюбивых лекций о русской литературе и славянских языках, с которыми он неосторожно выступил в парижском Athénée. Мог ли представлять для него какой-либо интерес молодой поэт-роялист, каким был в это время Гюго, готовивший свою первую книгу од на монархические и клерикальные темы? «Германическое направление» Кюхельбекера, за которое он подвергался насмешкам еще своих лицейских товарищей, сближение с лагерем «шишковистов» отвлекало его в первой половине 20-х годов от пристального внимания к современной французской литературе; арест по делу 14 декабря 1825 г., осуждение на каторжные работы, затем (с 1835 г.) поселение в Сибирь окончательно оторвали его от литературной жизни. Правда, друзья Кюхельбекера, в числе их и Пушкин, с риском для себя, по мере

возможности снабжали его литературными новинками, текущими книжками журналов. По этим скудным источникам, чаще всего из вторых рук, Кюхельбекер познакомился с лирикой Гюго, с его критическими статьями. В дневнике Кюхельбекера, который он вел в Свеаборге, узником арестантских рот, занося свои мысли и впечатления в прошнурованную комендантом тетрадь из грубой бумаги, мы находим первые записи впечатлений от чтения Гюго. Так, например, 27 августа 1834 г. он делает такую запись: «В „Телеграфе“ прочел я вчера примечательное рассуждение Виктора Гюго о поэзии. Не согласен я, будто бы стихия смешного так мало проявляется в поэзии древних, как то утверждает Гюго. Напрасно говорит он: „После гомеровских (я уверен, что в подлиннике „homériques“; это—скажу мимоходом—не значит гомеровские, а гомерические) великанов Эсхила, Софокла, Эврипида что значит Аристофан и Плавт? Гомер увлекает их с собою, как Геркулес уносил пигмеев, спрятанных в его львиной коже“. Знарок античной литературы, некогда во след Шлегелю мечтавший о возрождении античной трагедии, и приверженец высоких лирических жанров Кюхельбекер помещает в своем дневнике целое рассуждение по поводу этого мнения Гюго. Вопреки Гюго, он полагает, что «Аристофан—гений, который ничуть не уступит Эсхилу и выше Софокла; а можно ли жеманного Эврипида, греческого Коцебу, ставить рядом с Эсхилом и даже Софоклом? Можно ли сближать гениального, роскошного, до невероятности разнообразного, неистощимо богатого с о б с т в е н н ы м и вымыслами Аристофана с подражателем, не бесталанным, но все же подражателем—Плавтом?». Не согласен Кюхельбекер также со взглядами Гюго на Шекспира, его смущают мысли Гюго о смешении жанров, о том, что «смешное вправе являться и в патетических творениях, в трагедии, эпопее героической etc.»²⁴ Но суть, конечно, не в этих разногласиях, а в том внимании, какое уделил Кюхельбекер взглядам Гюго. Шум, поднятый вокруг имени французского поэта в России, достиг арестантской крепости в Финляндии, рядовых полков кавказской армии и отдаленнейших сибирских углов. Декабрист А. А. Бестужев-Марлинский, узнавший Гюго в ссылке, писал о нем в письме к Н. А. Полевому из Дербентского полка: «Перед Гюго я ниц... Это уже не дар, а гений во весь рост. Да, Гюго на плечах своих выносит в гору всю французскую словесность и топчет в грязь все остальное и всех нас, писаю»²⁵. Кюхельбекер в письме из Баргузина, Иркутской губ. (3 августа 1836 г.) пишет Пушкину: «Нико, кажется, талант мощный, но стулья, шкапы, корзины etc. его слишком занимают»²⁶. Еще в 1843 г. (8 августа) Кюхельбекер отмечает, что «в последние дни» он прочел «много для себя совершенно нового»: на первом месте стоит «Мария Тюдор», Гюго, вышедшая в Париже за десять лет перед тем (1833). Правда, отзыв Кюхельбекера об этой романтической драме отрицателен: «Мария—ужаснейшая чепуха, написанная талантливым человеком. Характер героя-простолюдина один только истинно хорош: все прочее вздор такой, что мочи нет», но Кюхельбекер все же должен сознаться, что чтение захватывает непреодолимо: «а читать все-таки читаешь и не можешь оторваться»²⁷. Когда 20 января 1844 г. Кюхельбекер (он жил тогда в крепости Акша, Нерчинского округа) узнал о смерти дочери Гюго, он написал стихотворное послание «К Виктору Гюго», полное искреннего горя и сочувствия (за два года перед тем у Кюхельбекера умер сын). В этом стихотворении он сопоставляет две поэтических судьбы, два жребия, которые выпали на долю французскому поэту и его русскому собрату.

К ВИКТОРУ ГЮГО

Прочитав известие,
что у него потонула дочь.

Не суждено мне было в мире
С тобою встретиться, поэт,
И уж на западе моих унылых лет
Я вял твоей волшебной лире.
Я миг гостил в земле твоей;
Я—сын иной судьбы, иного поколенья;
Я не видал твоих очей,
В них не приветствовал перунов вдохновенья,—
Но дорог ты душе моей.

Успехов и похвал питомец, нег и блеска

Ты к буре бешеного плеска

С рассвета своего привык.

И не одной толпы ничтожный, шумный крик
Превозносил тебя: младенческие руки
Исторгли первые из струн дрожащих звуки—
И встрепенулся вдруг божественный старик;
С живою жаждою к потоку их приник
Не льстец победы, не удач служитель,
Но он, поэзии и веры воскреситель,
Он, рыцарь и певец, и честный человек,
И жертв судьбы бесстрашный защититель
В продажный и распутный век.
«Гигант-дитя!» он о тебе изрек²⁸,
Когда завидел, как, покинув мрак и долы,
Ты, полный юных, свежих сил,
Отважно к солнцу воспарил,
Когда послушал те чудесные глаголы,
Какие из-за туч ты, вдохновенный, лил!
Под властью я рожден враждебных мне светил,

И рано крылья черной бури

Затмили блеск моей лазури;

Я тяжких десять лет в темнице изнывал—

Умру в глухих степях изгнанья...

Однако же, как ты, такой же я кристалл,

В котором радужно дробится свет созданья;

Один из вещей гулов я

Рыданий плача мирового;

Душа знакома и моя

С найтjem духа неземного!

Гюго!—не вечно и тебе

Смеялось ветренное счастье.

Ты также заплатил свой долг судьбе.

Увы, мой брат! и ты вкушал же сладострастье,

Неизреченную утеху горьких слез...

И вот же рок тебе нанес

Удар убийственно-жестокий!

Воображаю я, как стонешь одинокий,

Как вопрошаешь ты немую эту ночь:

«Итак, моя любимица и дочь

Ужели в самом деле зев пучины?..»

Не договаривай: плачь, труженик-певец!

Тебе сочувствую: ах, ведь и я отец!

Нож и в моей груди негаснувшей кручины:

С могилы сына моего

Над дочерью твоей, Гюго, рыдаю ныне...

В столице мира ты; я в ссылке, я в пустыне:

Но родственная скорбь не то же ли родство?²⁹

Это замечательное стихотворение навсегда останется одним из самых ярких эпизодов в истории отношений к Гюго в России. И приходится пожалеть, что тот, к кому оно было обращено, не мог получить его, а вместо того должен был выслушивать соболезнования по поводу утраты своей дочери от «казенного литератора» Греча. Для Гюго «послание» Кюхельбекера могло бы явиться оправдательным документом против всех показаний Греча, притом аргументом первоклассного значения, исходящим от человека, которого погубил тот самый николаевский режим, апологетом которого являлся Греч. Впрочем, в это время Гюго уже едва ли нуждался в каких-либо новых данных для выработки своего мнения о самодержавной России и, в особенности, об ее императоре. П. А. Вяземский вспоминает, что при встрече с Гюго в Париже еще в 1841 г. «я хотел направить его на поэзию, а Гюго все сворачивал на политику. Наконец, он сказал мне: „J'aime votre empereur Nicolas, mais si j'étais à sa place, voici ce que je ferais“ ... Тут я взял шляпу и раскланялся с ним...»³⁰. Вяземский не досказывает слов Гюго. «К сожалению,—пишет по этому поводу Naumant,—Вяземский не решается окончить эту фразу; побьемся об заклад, что В. Гюго переделал бы монолог Карла Пятого в „Эрнани“ и объявил милосердие полякам»³¹.

Нужно думать, что о стихотворении Кюхельбекера Гюго не узнал никогда. Однако, другое стихотворное послание, отправленное ему из России, он получил. Это было еще в 1840 г. Оно прислано было ему совсем из другого мира. Автором его была великосветская поэтесса графиня Е. П. Ростопчина; посредником в передаче послания Гюго—«русско-французский поэт» кн. Элим Мещерский. В августе 1840 г. Гюго получил из Ниццы письмо от Мещерского, в котором тот писал ему о «плодотворном влиянии», оказываемом Гюго на русскую литературу, говорил о популярности его в России и о высокой оценке его произведений критикой его страны. „Я получил недавно,—писал Мещерский,—стихотворение, написанное по-русски и озаглавленное: В и к т о р у Г ю г о , о т в е р ж е н н о м у Ф р а н ц у з с к о ю а к а д е м и е ю“. Автор этих стихов — графиня Ростопчина, кое-какие стихотворения которой вы можете прочитать в переводе в моих «Roses poïres». Она поручила мне перевести стихотворение на французский язык и доставить его вам»³². Стихотворение Е. П. Ростопчиной вызвано было тем, что в начале 1840 г. Гюго не был избран во Французскую академию, несмотря на два вакантных кресла, освободившиеся за смертью академиков Мишо и де Келена (избрание Гюго состоялось, как известно, 7 января 1841 г.). Вместе со своим [переводом этого послания Э. П. Мещерский послал Гюго и его русский подлинник; последний в собраниях сочинений Е. П. Ростопчиной не печатался и вообще не был известен в печати. Но автографическая копия его

Виктору Юго,
авторскому Французскому Академику.

Письмо, из Парижа к автору
(Виктору Юго)

О, Виктор! ты, автор! ты, и автор!
Ваша слава, слава слава тебе,
В твою славу, слава слава тебе!
И как слава слава, слава слава тебе!
Слава слава слава, слава слава тебе!
И слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!

Виктор! ты, автор! ты, и автор!
Ваша слава, слава слава тебе,
В твою славу, слава слава тебе!
И как слава слава, слава слава тебе!
Слава слава слава, слава слава тебе!
И слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!

Виктор! ты, автор! ты, и автор!
Ваша слава, слава слава тебе,
В твою славу, слава слава тебе!
И как слава слава, слава слава тебе!
Слава слава слава, слава слава тебе!
И слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!

Виктор! ты, автор! ты, и автор!
Ваша слава, слава слава тебе,
В твою славу, слава слава тебе!
И как слава слава, слава слава тебе!
Слава слава слава, слава слава тебе!
И слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!

Виктор! ты, автор! ты, и автор!
Ваша слава, слава слава тебе,
В твою славу, слава слава тебе!
И как слава слава, слава слава тебе!
Слава слава слава, слава слава тебе!
И слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!
Виктор, слава слава, слава слава тебе!

(Виктор Юго, 1840.)

сохранилась среди бумаг поэтессы в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве³³. Приводим это стихотворение полностью.

ВИКТОРУ ГЮГО,
ОТВЕРЖЕННОМУ ФРАНЦУЗСКОЮ АКАДЕМИЕЮ

Поэт, не дорожи любовью народной!
Александр Пушкин

Не избран ты, отвержен ты, но слава
Своими лаврами осыпала тебя,
В тебе гонимого радушной полюбя!
У ног твоих лежит с бессильною отравой
Ничтожной зависти презренная змея.
И вместо голосов той партии враждебной,
Взамен ш е с т н а д ц а т и строптивых стариков,
Весь просвещенный мир принесть тебе готов
Рукоплесканий дань, восторга глас хвалебный.

Но кто ж они, ценители искусства,
Творений гения верховный суд?—Меж них
Кто в свете знаменит? Где, где заслуги их?
В чем отразилися их ум, их вкус, их чувство?
Что выкажут они в защиту прав своих?
Две-три трагедии снотворные, сухие,
И консульских времен тяжелые стихи,
И водевильный прах!.. вот все!! Вот их грехи
Перед поэзией, трофеи их былые!

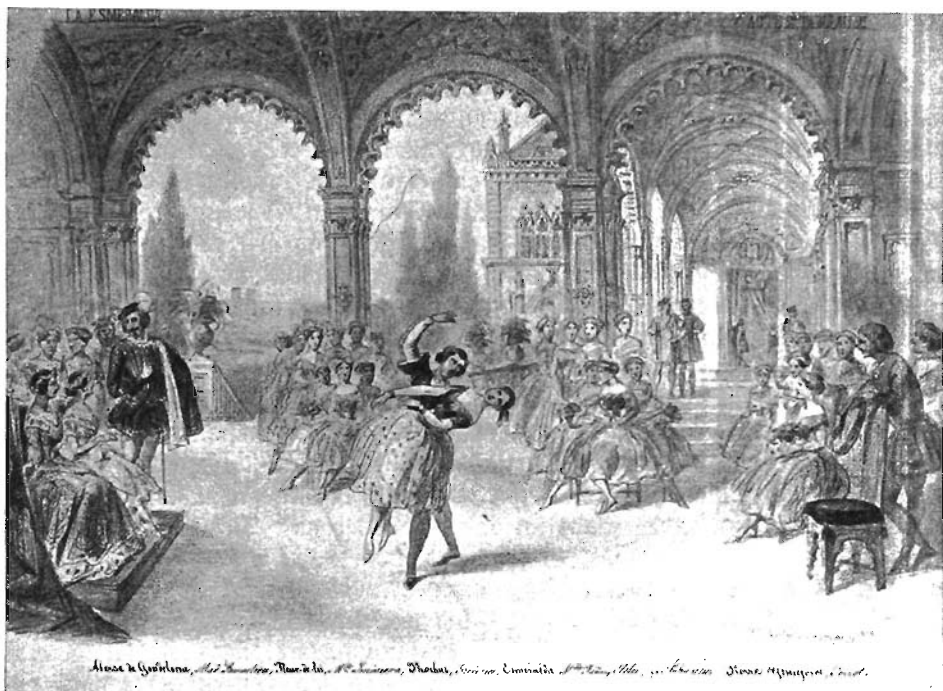
Им можно ли назвать тебя собратом?—
Трудом, успехами молва твоя гремит,
Тогда как праздность их немая вечно спит.
Пред мраком их имен, пред тусклым их закатом
Блестящий полдень твой светлее загорит.
И ты, трепещущий отвагою и силой,
Грядущим ты богат; надеждой ты живешь,
Все далее, все выше ты пойдешь,—
Тогда как их удел забвенью и могила!

Ты отомстишь завистникам безгласным,
Классическим гонителям своим,
Стремленьем к творчеству усердным и живым,
И вдохновением возвышенно-прекрасным;
Ты новым торжеством себя напомнишь им.
Поэт, в руках твоих три средства громкой славы:
Восторженная песнь; пленительный рассказ,
И драма,—чей устав ты презрел столько раз,
Раскола смелый вождь, ерётник величавый!..

Село-Анна, 22-е марта, 1840.

Французский перевод этого стихотворения, сделанный для Гюго Элимом Мещерским, напечатан в собрании его сочинений³⁴.

Вопреки заявлению Элима Мещерского, назвавшего, в письме к Гюго, автора этого послания «одним из лучших русских поэтов», Е. П. Ростопчина была довольно посредственной поэтессой, произведения которой ни-



БАЛЕТ „ЭСМЕРАЛЬДА“ С УЧАСТИЕМ ФАННИ ЭЛЬСЛЕР НА СЦЕНЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Зарисовка А. Шарлеманя, 1849 г.

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

когда не пользовались в России большой популярностью. У нас нет никаких данных для того, чтобы судить, как реагировал Гюго на послание Ростопчиной, доставленное ему одним из рьяных почитателей его поэзии; мы знаем только, что Гюго ответил Мещерскому на его письмо, но ответ этот до сих пор остается неизвестным³⁵.

К 40-м годам относится еще целый ряд русских воспоминаний о Гюго, отзывы о нем русских путешественников в Париже, записей тех рассказов о Гюго, какие они слышали от его друзей и знакомых. Круг этих людей был очень пестрый. С одной стороны, это были представители русской знати, попрежнему появлявшиеся у m-me Рекамье и в салоне Ансло; с другой—это были представители молодого поколения, переживавшего свои *Lehr- und Wanderjahre* и стремившегося на Запад в поисках знаний и впечатлений для своей будущей деятельности. Все они, находясь в Париже, с той или иной стороны интересовались Гюго, его литературными отношениями, его новыми книгами, статьями, академическими речами, замыслами.

Старик А. И. Тургенев, попрежнему общительный, увлекательный собеседник, насколько не утративший с годами своей острой наблюдательности и своего непобедимого интереса ко всякой учено-литературной, политической и философской новости европейской жизни, продолжал посещать «вторники» в «*Abbaue au Bois*» у m-me Рекамье, как и прежде, не упуская ни одного интересного академического диспута, ученого заседания. Изредка посылал он свои заметки о парижской жизни в новые русские жур-

налы: в плетневский «Современник» начала 40-х годов, в недавно основанный «Москвитянин». Одно из таких его писем содержит, между прочим, очень живое описание заседания в Академии по случаю избрания на место Делавиня—Сент-Бёва, на речь которого, по академическому обычаю, ответ должен был говорить Гюго. «Ты, конечно, уже прочел в „Дебатах“ речи Сент-Бёва и Гюго,—пишет А. И. Тургенев.—Никогда такой тесноты, свалки в Академии не бывало, как в этот день». С огромным любопытством следил А. И. Тургенев за речью Сент-Бёва, который, по его словам, «поражал иногда того же Гюго, коего не щадил и прежде сильно, но облекая критику в похвалу Делавиню: „Casimir Delavigne resta et voulu rester homme de lettres; c'est une singularité piquante de ce temps-ci“ etc.³⁶ Всем нам пришло на мысль, что Гюго хочет быть пэром. Другой удар поэту-трагику, осужденному принимать и, следовательно, хвалить своего неумолимого критика, нанес St.-Beuve статистическим фактом: 66-ю первыми представлениями Школы стариков; к сему блистательному успеху приблизился—все же не Гюго, а автор Силлы³⁷. Мы знали, что накануне Гюго—устаами милой Жирарден (dans un de ses feuilletons viriles)³⁸ в „Прессе“—уже отомстил за себя, назвав его отступником, изменником, кажется, романтизма. St.-Beuve готовил ответ наудачу, но попал метко и верно. St.-Beuve заключил речь—погребением предшественника, и ум уступил перо сердцу³⁹. В этом умном и тонком отчете, как всегда в письмах А. И. Тургенева, поражает, прежде всего, его осведомленность; впрочем, в этом нет ничего удивительного: он шел на это академическое заседание, заранее предупрежденный о том, что литераторы и публика придадут ему не только интерес рядового «discours de réception», но и значение очередного турнира между «романтической» и «классической» партиями; о том, что фельетон «милой Жирарден» против Сент-Бёва был инспирирован Виктором Гюго, А. И. Тургенев, конечно, знал от нее самой или от ее матери, с которыми часто встречался⁴⁰. Тем не менее, отношение его к Гюго, как и в 30-е годы,—прохладное; ему нравятся язвительные выпады Сент-Бёва против Гюго, но он недоволен ответной речью последнего: позиция Тургенева напоминает позицию его друга—А. С. Пушкина, который и в этом споре предпочел бы Сент-Бёва, как он это сделал в своей недописанной статье о «Feuilles d'automne»... «С педантической важностью и громогласно отвечал ему [Сен-Бёву] Гюго,—продолжает Тургенев.—Начались антитезы и декламация; похвалы то демократии, то королю, то христианской религии—опять напомнили старинную критику Сен-Бёва: „Ce mélange souvent entre-choqué de réminiscences monarchiques, de phraséologie chrétienne et de vœux saintsimonien qui se rencontrent dans Mr. Hugo“⁴¹. Но вот поэзия иного рода. Гюго говорит Сен-Бёву: „Comme philosophe vous avez confronté tous les systèmes“⁴²; этой похвале позавидовал бы и Кузень! Не знаю, доволен ли Сен-Бёв и категорией, в которую Гюго его поместил, указав ему место за Нодье: «Vous nous rendrez quelque chose de Nodier!»⁴³. Я думаю, что St. Beuve хотя и сам мужичок с ноготок—не почитает себя ниже и всего Нодье! Приступая к предмету главного творения Сен-Бёва, Гюго поставил почти на одну линию Port-Royal и Hôtel Rambouillet и указал им места, хотя противоположные, но в такой области, коей они касались стороною только, в области человеческой мысли!—Я слушал с восторгом характеристику и панегирик Пор-Роялю; R. Collard—развалина оного—оживился и одобрял киваньем головы, тихим движеньем рук и важною улыбкою. Сальванди, сосед его, обращался к нему, когда

ему казалось, что слова Гюго должны были ему нравиться. Лицо старца просияло. Само собой разумеется, что строгим католикам похвала жансенистам, сим стойкам христианства, не понравилась (каких анафем не слышал я против сего панегирика). Но одобрение Ройе Коляра—une des gloires tranquilles—было для оратора полным вознаграждением... Многие ожидали, что скелет иезуитизма, снова животрепещущий, предстанет мысли оратора во всей гнусной наготе своей над пеплом затоптанного им Пор-Рояля; но Гюго доказал, что и он имеет талант воздержания, и молчание его об иезуитах было красноречиво. Жаль, что не воздержался и от смешного уподобления или преувеличения: „Завтра после того дня, как Франция внесла в свою историю новое и мрачное слово: Ватерло, она вписала в свои летописи новое и блестящее имя: Казимир де ла Винья“. Сен-Бёв опять прав: „это что-то великолепное и сильное, пустое и звонкое“»⁴⁴.

А. И. Тургенев был; конечно, незаменимым гидом по Парижу для молодых русских путешественников. От него, старого «парижанина», посвященного во все тайны салонной и учено-литературной жизни, до тонкости знавшего также отношения между «партиями» и людьми, посвященного во многие сложные механизмы симпатий и антипатий всех наиболее крупных литературных и политических деятелей тогдашней Франции, они научались многому и на многое смотрели его глазами. Попавший к нему в заграничную поездку 1841—1843 гг. молодой П. В. Анненков, вероятно, немало позаимствовал из бесед с этим замечательным русским «европейцем» для своих «Писем из-за границы», которые он писал для «Отечественных



БАЛЕТ „ЭСМЕРАЛЬДА“ С УЧАСТИЕМ ФАННИ ЭЛЬСЛЕР НА СЦЕНЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Зарисовка А. Шарлеманя, 1849 г.

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

Записок». Не А. И. Тургенев ли сообщил отзывам Анненкова о Гюго легкий холодок? В 1842 г., например, для Анненкова театральное представление в каком-нибудь захудалом парижском театрике было интереснее «новоождаемых писем Гюго». Но вот эти «письма» — («Le Rhin», 1842) выходят в свет, и Анненков пишет: «Французы совершенно согласны, что путешествие Гюго на Рейн скучно» и спешит тотчас же присоединиться к мнению соотечественников поэта⁴⁵. О своем знакомстве с Гюго Анненков не сообщает, но он, несомненно, видел его несколько раз в тех местах, куда «хранительно напутствовал» его А. И. Тургенев. Но во всех своих рассказах о западной жизни, «крупной и мелкой, бытовой, художественной и литературной», П. В. Анненков меньше всего говорит о Гюго. Он вспоминает его лишь при отъезде из Парижа на Рейн через Бельгию: «А кто с Рейна едет в Париж, так там, слышно, восклицают: „А, сходите же к Виктору Гюго, который хочет у нас Кельн взять («Рейн», Гюго), и скажите ему, что мы отнимем у него Страсбург“». «В Ахене стоял я перед мраморным тронем Карла Великого, на котором сидел он в гробнице своей и на котором короновались потом тридцать императоров»... «Я хотел написать вам об этом подробно, но, вспомнив, сколько тысяч таких впечатлений было до меня, и как еще недавно Виктор Гюго достиг крайней степени пафоса за таковым же занятием, — снова устыдился и отложил перо»⁴⁶.

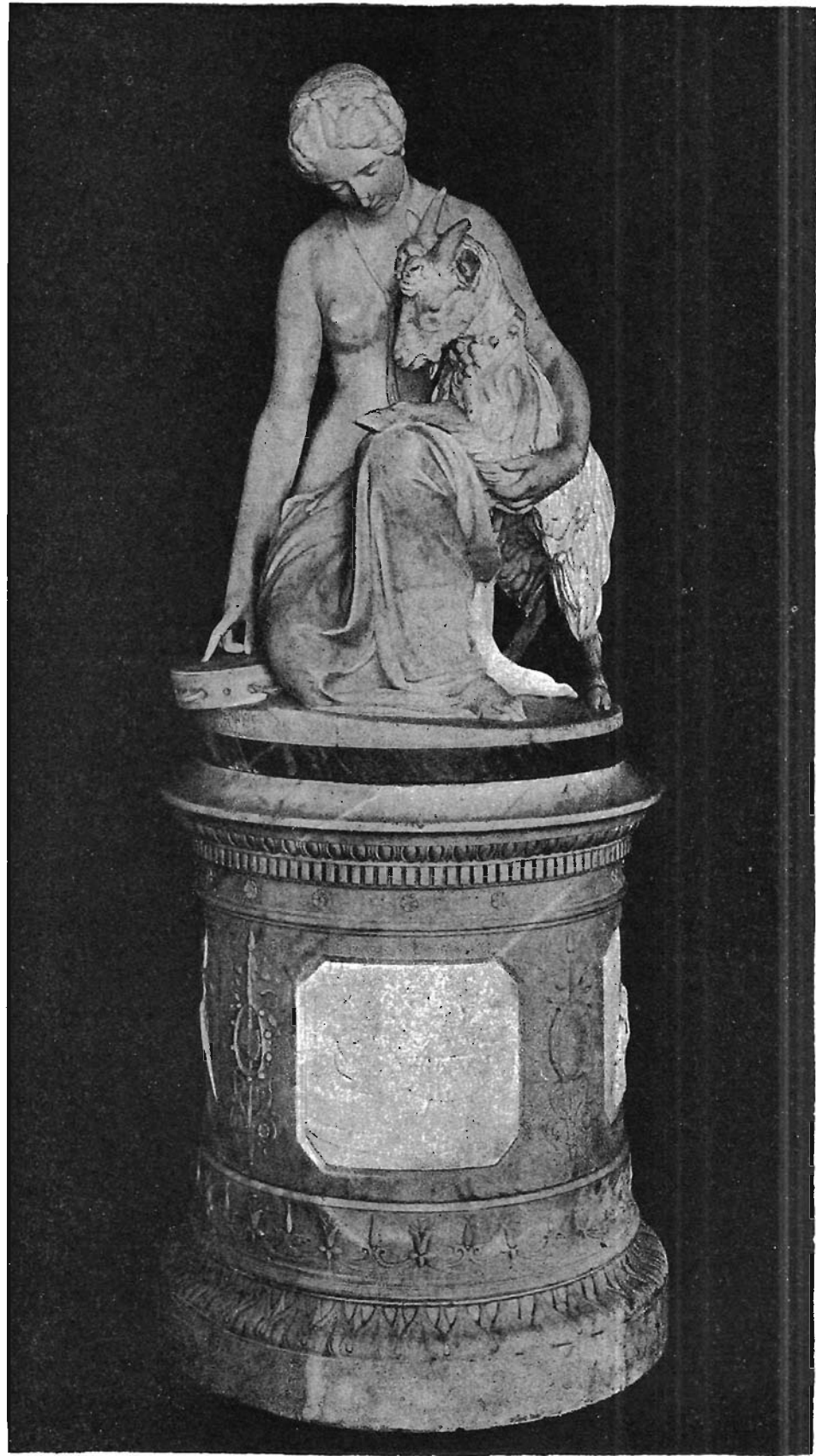
Такова одна линия отношения к Гюго русских туристов во Франции — линия, идущая от А. И. Тургенева, которую усвоит впоследствии один из поздних русских знакомцев Гюго, близкий друг П. В. Анненкова — Иван Сергеевич Тургенев. Это линия признания поневоле, без всякой надежды сделаться когда-либо его подлинным приверженцем или испытать настоящее восхищение от его творчества. Другую группу представляют случайные свидетели, безотчетно внимающие всему, что они слышат. Когда безвестный Матвей Волков записывает в свой путевой дневник под 10 декабря 1845 г. вместе с разными сведениями о парижских театрах: «„Эрнани“ тоже дадут, но с переменою сюжета и названия. Виктор Гюго не позволяет иначе; разве с платою ему за каждое представление», — это всего лишь один из многих путешественников, налету схвативших в Париже какую-нибудь сплетню и записавших ее в свой журнал, не разобравшись в ней как следует⁴⁷. Разъяснения этого сообщения Волкова дает В. П. Балабин в одном из своих парижских писем к родным (1846), которые Эрнест Доде издал под видом его дневника. «Итальянцы дали нам новые постановки: после „Навуходоносора“ Верди — „Эрнани“ того же композитора — оперу, которую перекрестили в „Изгнанника“ (Proscritto), так как Виктор Гюго не позволяет, чтобы пользовались его достоянием. „Это для спасения принципа“, говорит он. Мне это кажется очень мелочным для пэра Франции». В этих же своих письмах В. П. Балабин рассказывает о вечере, проведенном им в день торжественного приема Альфреда де Виньи во Французскую академию у m-me де Курбон и дает интересные обрывки суждений и разговоров по поводу происшедшего днем события⁴⁸. Не лишено занимательности свидетельство об отношении к Гюго Тьера, которое находим в одном из писем из Парижа (3/15 января 1848 г.) А. Н. Карамзина, сына историографа. Он пишет: «Вчера вечер провел в литературной дискуссии с Тьером. Он начал с того, что посмеялся над речью Гюго в палате пэров, считая ее глупой. Я ему сказал: вы имеете в виду, конечно, глупость в смысле политики, потому что как поэт Гюго часто не был лишен гениальности. „Как? он гений? Что за идея! Да ведь это — дурачок, жалкий

бумажный болтун, позор нашей эпохи“ и пр. и пр.»—«Я совершенно не в состоянии,—прибавляет Карамзин,—передать вам все парадоксы, все нелепости, всю дикуую бессмыслицу, на которые Тьер оказался способен, оставаясь однако же в пределах остроумия»⁴⁹. Несомненно, что наиболее интересными для нас были бы свидетельства о встречах Гюго в эти же годы с его русскими поклонниками, действительными приверженцами, испытывшими на себе его идейное, творческое влияние. К сожалению, именно о встречах такого рода мы знаем очень мало. Случайные их следы, однако, позволяют, быть может, когда-либо собрать о них более подробные данные.

В конце 30-х годов в Петербурге одним из больших поклонников Гюго считал себя молодой музыкант А. С. Даргомыжский. Под влиянием М. И. Глинки и романтического кружка Н. В. Кукольника Даргомыжский задумал написать оперу на сюжет Гюго. В эти годы Гюго обратил на себя внимание многих русских музыкантов: в этом нельзя не видеть лишнего свидетельства широкой популярности в России его лирики и драматического творчества. Когда В. В. Стасов предложил А. Н. Серову балладу Гюго, «*Le Voile*», как хороший сюжет для музыкальной иллюстрации, последний отвечал ему интересным письмом (от 25 августа 1841 г.), в котором изложил свои мысли о пригодности поэзии Гюго для музыкального пересоздания: «Мне кажется, что „*Le Voile*“ гораздо лучше может быть иллюстрирован живописью, нежели музыкою. Этот восточный, пурпурный колорит целого создания не может быть передан никакими звуками, тем менее удар кинжала.... Мне кажется, что вообще Виктор Гюго, по своей необычайной оконченности, именно из тех поэтов, которых трудно омузыкаливать, т. е. трудно досказать что-нибудь к сказанному им, *sans trahir une individualité étrangère*... При всем том, создания его так прелестны, что, действительно, трудно устоять против искушения омузыкаливать их. Ты знаешь его балладу „*La Fiancée du timbalier*“? Еще в училище зародилась у меня мысль дать ей музыку, но тут встретилась непреодолимая трудность, а именно: многословие (разумеется, не в худом значении) этой пьесы, которая, как мне кажется, для музыки слишком длинна, т. е. в отношении к небольшому разнообразию действия»⁵⁰. Для Даргомыжского вопросы пригодности поэтического текста Гюго для музыки имели второстепенное значение, т. к. он собирался писать оперу и все равно должен был прибегнуть к помощи либреттиста. Затруднения ожидали его с другой стороны—цензурной. Сам Даргомыжский рассказывает в своей автобиографии: «Составив план французской оперы „*Лукреция Борджиа*“, я написал несколько нумеров; но по совету Жуковского скоро оставил этот невозможный в то время для России сюжет и начал писать музыку на французское либретто Виктора Гюго „*Эсмеральда*“. Работа шла быстро. В 1839 г. опера была окончена, переведена на русский язык и представлена мною в дирекцию театров. Несмотря на одобрение ее капельмейстерами театров, несмотря на все постоянные мои хлопоты, старания и просьбы поставить ее на сцену,—„*Эсмеральда*“ пролежала у меня в портфеле целые восемь лет... Вот эти-то восемь лет напрасного ожидания, и в самые кипучие годы жизни, легли тяжелым бременем на всю мою артистическую деятельность»⁵¹. Даргомыжский думает, что причиной задержки в постановке его оперы было «невежество начальника репертуара»; нам кажется, однако, что причины лежали глубже; А. В. Никитенко еще в 1834 г. отметил в своем дневнике характерную свою беседу с министром народного просвеще-

ния С. С. Уваровым о романе Гюго, который дал сюжет первой опере Даргомыжского: «Докладывал ему о некоторых романах, переведенных с французского. „Церковь божьей матери“ Виктора Гюго он приказал не пропускать. Однако, отзывался с великой похвалою об этом произведении. Министр полагает, что нам еще рано читать такие книги»⁵². Даргомыжскому могли ответить примерно то же, во всяком случае, все его хлопоты были безуспешны; в 1843 г. композитор отшучивался в письме к одному из своих друзей: «Ты спрашиваешь меня, любезный друг, что я сделал хорошего после твоего отъезда и что поделявает моя „Эсмеральда“. Несмотря на все бури, поднятые против этой несчастной девочки, которой вся вина в том только, что она явилась на свет непрошеною, она была принята театральною дирекцією, которая, однако же, до сих пор все находит препятствия pour en faire une fille publique, chose à laquelle elle est destinée»⁵³. В 1844—1845 гг. Даргомыжский ездил за границу⁵⁴. Его концерты в Париже и Брюсселе прошли с большим успехом. Неизданный альбом Даргомыжского, хранящийся в Институте литературы Академии наук СССР, в Ленинграде, представляет собою замечательный документ для истории его заграничных странствий. Для нас любопытнее всего то, что среди записей европейских знаменитостей этого альбома имеется, повидимому, автографическая подпись Виктора Гюго (1845), и это обстоятельство дает возможность предположить, что автор русской «Эсмеральды» виделся в Париже с автором «Notre-Dame de Paris». К сожалению, мы ничего больше не знаем об этой возможной встрече. Но примечательно, что Даргомыжский именно своими заграничными успехами объяснял разрешение постановки его оперы в России; он пишет в своей «Автобиографии»: «По возвращении моем из-за границы, удалось мне выхлопотать себе, в виде милости, дозволение на постановку „Эсмеральды“ в Москве. Она дана была в первый раз, с большим успехом, на московском театре 5 декабря 1847 г. Полагаю, что отзывы обо мне иностранных газет немало содействовали дозволению со стороны дирекции поставить оперу мою в России»...⁵⁵

Мы можем также предположить знакомство Гюго с Николаем Ивановичем Сазоновым, одним из московских друзей А. И. Герцена, который в 40-х годах переселился в Париж, сблизился там с радикальной интеллигенцией и революционерами разных национальностей, сотрудничал в «Voix du Peuple» Прудона и в «Réforme» Ламенэ и находился впоследствии в переписке с К. Марксом⁵⁶. Этот участник революции 1848 г., «умный, многознающий человек», «очень уже офранцуженный», как его аттестует Н. А. Огарева-Тучкова, переводил, между прочим, Лермонтова на французский язык и одновременно пропагандировал французскую поэзию в России. Под псевдонимом Карла Штахеля он изредка печатал в русских журналах статьи о Гюго. Так, например, в «С.-Петербургские Ведомости» он сообщил стихотворение Гюго «Les Maîtres d'étude» еще до того, как оно появилось в сборнике «Les Contemplations» (1856); в статье, помещенной в «Отечественных Записках» за 1856 г., он подробно описал обстановку квартиры Гюго до последних мелочей бытового обихода: «Имевшие честь посещать поэта в то время, когда он жил в Париже, в прежнем ли его доме (Place Royale) или в том, куда он переселился в 1848 г. (Rue de la Tour d'Auvergne), поймут, что мы хотим сказать, а для непосвященных опишем это жилище»; это описание могло быть исполнено с такой детальностью лишь по собственным впечатлениям⁵⁷.



ЭСМЕРАЛЬДА С КОЗОЙ ДЖАЛИ
Работа А. Росетти, мрамор, 1858 г.



ЭСМЕРАЛЬДА ТАНЦУЕТ С КОЗОЙ ДЖАЛИ



ЭСМЕРАЛЬДА ДАЕТ НАПИТЬСЯ КВАЗИМОДО



ЭСМЕРАЛЬДА ЕДЕТ НА КОНЕ С ФЕБОМ



ЭСМЕРАЛЬДА СКРЫВАЕТСЯ У ОТШЕЛЬНИЦЫ

Барельефы на мраморном постаменте группы „Эсмеральда с козой Джали“, работы А. Росетти, 1858 г.
Эрмитаж, Ленинград

Н. И. Сазонов был свидетелем продажи обстановки квартиры Гюго перед поспешным отъездом его из Франции в 1851 г., когда, по словам Сазонова, политический ураган разнес приют, созданный поэтом: «Больно было видеть это рассеяние редких, отчасти единственных произведений искусства, или средневековой промышленности, но, вместе с тем, утешительно было смотреть на жадность, с которой расхватывали предметы самые незначительные, на которых поэт оставил по себе память...»⁵⁸ Вскоре, впрочем, и самого Сазонова французское правительство выслало из Парижа... Начинаясь период изгнаничества Гюго, столкнувший его с другими русскими людьми, нежели те, которых он знал по Парижу. Во Франции ненавистного ему «Наполеона Маленького» остались и русские шпионы, и молодые люди из русского посольства, и те из старых русских «парижан», которых нередко видывал он в салонах, на заседаниях Академии, в ложах театра, остались, наконец, вероятно, надоедавшие ему своим любопытством праздные русские туристы. На смену им всем шли другие люди — «собратья» по изгнанию. Вскоре началось сближение Гюго с Герценом.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Григорьев Аполлон, Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина (1859).—Сочинения, СПб. I, 1876, 293.

² «Русский в Париже». 1835. Из путевых записок.—«Телескоп», 1836, № 14, 231—247 (перепечатано в «Сочинениях В. П. Боткина», СПб. 1890, I, 1—12). Мы, к сожалению, не в состоянии раскрыть звездочек, под которыми Боткин скрыл имена лиц, у которых он бывал в Париже. Ср. Ч. Ветринский, В. П. Боткин. Биографический очерк.—«Новое Слово», 1894, № 12, 41—42; его же, В сороковых годах, М., 1899, 131—132.

³ Речь идет, несомненно, о Жюльетте Друз; см. о ней F l e i s c h m a n n (Hector), Une maîtresse de V. Hugo, P., 1912, и у нас ниже, в гл. III.

⁴ В противоположность Боткину, отношение к Гюго редактора «Телескопа» Н. И. Надеждина было весьма сдержанным (ср. Н. К. К о з м и н, Н. И. Надеждин, СПб. 1912, 391). В пору всеобщего увлечения в России романом «Notre-Dame» Надеждин писал в своем журнале, что «в прославляемом романе нет ничего особенно выдающегося», что Квазимодо, например, «существо почти отвратительное, но оригинальное», «Эсмеральда—нечто вроде Миньоны», а Клод Фролло—«слепок с Фауста, неудачный, неясный». Находясь в 1836 г. в Париже, Надеждин писал: «Любимые писатели возбудили какую-то остуду в публике: „Анжело“ В. Гюго забавляет только чернь»; о «Кромвеле» Надеждин вспоминает с отвращением: «Все теоретические утопии, создаваемые тогдашними романтиками для будущности новой литературы, отличались нелепою чудовищностью, не имели даже здравого смысла: вспомните известное предисловие к „Кромвелю“». Любопытно также указание Надеждина на эволюцию политических взглядов Гюго: «Гюго, переставший искать вдохновения в Вандее, объявил торжественно, что романтизм есть „либерализм литературный“».—«Телескоп», 1836, ч. XXXII, 97, 98, 105, 106.

⁵ Б[урнашев] В., Из воспоминаний петербургского старожила.—«Заря», 1871, апрель, 21—22; Сушкова Е. А., Записки, Л., 1928, 98; «И. С. Тургенев и круг „Современника“», М.—Л., 1929, 16—17. См. также заметку о нем С. А. Венгеров в Полном собрании сочинений В. Г. Белинского, VII, 572—574.

⁶ [Строев В.] Париж в 1838 и 1839 годах. Путевые записки и заметки Владимира Строева. Часть первая и вторая, СПб. 1842, I и сл.

⁷ «Москвитянин», 1843, № 10, 453.

⁸ В. В. В., В. Гюго, оцененный Ж. Жаненом.—«Сын Отечества», 1837, 186, 315—340.

⁹ Строев В., *op. cit.* I, 155—156.

¹⁰ Вейль А., Пять часов, проведенных у В. Гюго.—«Галатей», М., 1839, ч. IV, 236—252.

¹¹ Строев В., *op. cit.* I, 157—158.

¹² «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Л., 1927, 214—242.

¹³ Там же, 242; ср. изданные под моей редакцией «Ямбы и поэмы» Огюста Барбье (Одесса, 1922), стр. IX—XI, 115—117 и приведенную там литературу. Отметим, что

«Песнь казака» Гюго переведена у нас В. Тепляковым («Одесский Альманах» на 1834 г.).

¹⁴ См. P e l l e t a n (Camille), V. Hugo homme politique, P., 1907, и особенно вступительные замечания в книге G a r s o n (Jules), L'évolution démocratique de V. Hugo, 1904. Несмотря на свое присоединение к движению орлеанистов около 1837 г., Гюго еще раньше не чужд был многим идеям французских демократов-утопистов. См. H u n t (H.-J.), L'impulsion socialiste dans la pensée politique de Victor Hugo.—«Revue d'Histoire Littéraire de la France», 1933, avril—juin, 216.

¹⁵ Г р е ч Н. И., Путевые письма из Англии, Германии и Франции, СПб. 1839, ч. II, 119, 122, 127, 128—130.

¹⁶ Греч подробно описывает наружность великого поэта, безвкусным смешением деталей увеличивая комизм своего рассказа. «От роду не видал я такого высокого, благородного чела! Глаза его слабы, и он носит зеленые очки... Когда речь пойдет о неправде, притеснении и т. п., разгорячается до иступления и не выбирает выражений для изъяснения своего гнева»... «Дружба» Гюго с Гречем зашла так далеко, что последний решил «воспользоваться этим случаем и поехать к нему сам». Запись новой беседы с Гюго не менее показательна, чем первая. Естественно, что Греч и на этот раз выступает в качестве добровольного защитника русского самодержавия, панегириста николаевского режима, расточающего похвалы самому императору и всей правительственной системе (Г р е ч Н. И., *op. cit.*, 131—132). Удивительно то, что Гюго, если верить Гречу, не только внимательно слушает этого добровольного агента III отделения, но кажется даже обрадованным теми открытиями, которые сделал для него русский журналист. Эту «радость» Гюго испытывает, однако, только в записи Греча; мы, несомненно, имеем здесь полную аналогию рассказу В. М. Строева.

¹⁷ Хранится в Литературном музее в Москве («Альбом В. Н. Петровой-Званцовой»). «Les voix intérieures» вышли в 1837 г.

¹⁸ «Северная Пчела», 1858, № 236, 27 октября.

¹⁹ Г е р ц е н писал в этой статье: «Нам недавно попалась „Северная Пчела“ от 27 октября прошлого года; там Греч поместил свою задушевную profession de foi, приправивши ее разными доносцами, нашипговавши намеками. В статье этой он рассказывает, как он двадцать лет тому назад „на неприятельской батарее“ защищал русскую цензуру и оплакивал вред свободной речи. Причем Греч сказал „напрямки“, что „только тот литератор достоин уважения, который возвышает достоинство человека“. Вы видите, что если Греч пойдет резать правду, его не остановишь, и он напрямки, стоя на батарее, скажет, что дважды два—четыре.

Опасности большой не было; эта легкая батарея, на которой наш артиллерист защищал николаевскую цензуру, была просто batterie de cuisine Сальванди.

Один из присутствовавших, прислушивавшийся к разговору, сказал Гречу: „Я совершенно с вами согласен“. Этот неизвестный господин оказался ужасно известным поэтом и ратоборцем свободы книгопечатания—В. Гюго, ni plus ni moins; вследствие такого согласия, „мы с ним познакомились и, могу сказать, подружились“.

С чем же был согласен Гюго? Ведь, не с прошлой же мыслью, что нравственность лучше безнравственности; он был согласен, стало, с пользой цензуры à la russe и на этом подружился с Н. И. Гречем.

Какое у нас Николай Иванович! Уездные барышни, проливавшие столько слез над его грамматикой, которую они принимали за „Черную женщину“, помирились с Гречем. Ah, que c'est intéressant, ma Nastinka; M'sieur Gretch est un ami de V. Hugo... Mais c'est charmant! Ах, как я бы хотела видеть В. Гюго,—у него такой большой лоб! Maman, il faut nécessairement podpisatsa à la Pchela.

Не торопитесь, барышня. Если Николай Иванович имеет летучие воспоминания о словах В. Гюго, то мы имеем остающиеся письма того же В. Гюго, который обедал на батарее у Сальванди и подружился с Гречем, сойдясь в сочувствии к русской цензуре,—лучше уж подпишитесь на „Колокол“.—Г е р ц е н, Сочинения, ред. М. К. Лемке, IX, 501—504.

²⁰ Л е м к е М. К., Николаевские жандармы и литература, изд. 2-е, СПб. 1909, 141—152; см. еще: Маркиз де К ю с т и н, Николаевская Россия («La Russie en 1839»). Перевод с французского Я. Гессена и Л. Домгера, М., 1930, 18—21.

²¹ «Г-н Греч, первый шпион его величества российского императора».—«Остафьевский Архив», IV, 274.

²² «Lettres du Marquis A. de Custine à Varnhagen d'Ense et Rachel Varnhagen d'Ense», Bruxelles, 1870, 472.

²³ Г р е ч Н. И., Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии, СПб. 1847, 221, 410, 524. Греч имеет в виду трагическую гибель дочери

Гюго Леопольдины (1824—8 сент. 1843) и мужа ее Шарля Вакри, утонувших в Сене во время увеселительной прогулки.

²⁴ «Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., 1929, 189—191. Кюхельбекер имеет в виду статью Гюго «О поэзии древних и новых народов», помещенную в переводе в «Московском Телеграфе», 1832, № 19.

²⁵ «Русский Вестник», 1861, IV, 442. Здесь же дана подробная характеристика творчества Гюго, с которым познакомил Бестужева Н. А. Полевой. «„Notre-Dame“ оказался совершенно в его вкусе» (ср. «Русский Вестник», 1861, III, 313). «„Nap d'Islande“—смелый, но неудачной попыткой вести бойню в будуарь». «Кромвель» холоден и растлужен: из него можно вырезать куски, как из арбуза, но целиком—нет. Мариона (Marion de Lorme) прелестна: это Гец для времени Ришелье. Полагаю, что Борджиа достойна своей славы, и жажду прочесть ее...» Особенно же сильное впечатление произвел на Бестужева «Последний день осужденного». «Ужасная прелесть! Это вдохнуто темницей, писано слезами, печатано гильотиной. Пускай жмутся крашенные губы и табачные носы, читая эту книгу». См. еще в письме к Н. А. Полевой 9 марта 1883 г.: «Я с жаром читаю Гюго (не говорю с завистью), с жаром удивления и бессильного соревнования». В письме к братьям Бестужев пишет 21 дек. 1833 г.: «Странно, что у нас так возвышают Бальзака, а молчат про В. Гюго, гения неподдельного, могучего. Его „Notre-Dame“, его „Marion de Lorme“, „Il s'amuse“ [sic!] и „Борджиа“—такие произведения, которых страница стоит всех Бальзаков вместе, оттого, что у него под каждым словом скрыта плодovitая мысль», («Русский Вестник», 1870, VII, 54—55). Ср. З а м о т н И. И., Романтизм 20-х годов в русской литературе, изд. 2-е, СПб. 1913, 212—213; одна из глав этого исследования специально посвящена вопросу о влиянии Гюго на творчество А. А. Бестужева-Марлинского, но вопрос не исчерпан и нуждается в пересмотре.

²⁶ П у ш к и н, Письма, ред. Л. Б. Модзалевского, III, 359.

²⁷ «Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., 1929, 290—291.

²⁸ Кюхельбекер поэтически воспроизводит здесь легенду, широко распространенную в биографической литературе о Гюго. Эту легенду санкционировал сам французский поэт. В книге о В. Гюго, написанной «близким свидетелем его жизни» («Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie»), под именем которого скрылась, как известно, жена поэта, рассказывается, что первые успехи на долю Гюго выпали тогда, когда ему едва исполнилось пятнадцать лет. «Смерть герцога Беррийского вдохновила Виктора написать оду, имевшую большой успех в роялистическом мире... Шатобриан в разговоре с г-ном Ажье, отозвался об этой оде в самых восторженных выражениях и назвал ее автора „великим ребенком“. Г-н Ажье, поместивший в „Белом Знамени“ хвалебный отзыв о той же оде, привел это изречение Шатобриана. Слова великого писателя стали повторяться всюду, что не мало способствовало быстро возраставшей славе поэта» (цитируем по русскому переводу этой книги: «В. Гюго и его время, по его запискам, воспоминаниям и рассказам близких свидетелей его жизни», перев. Ю. В. Доппельмайер, М., 1887, гл. XXXIII: Изречение Шатобриана, 270—271). Как бы мы ни относились сейчас к этой легенде, достоверность которой была заподозрена еще Э. Бире (E. B i r é, V. Hugo avant 1830, P., 1883), несомненно, что Кюхельбекер имеет в виду именно Шатобриана и его слова о Гюго: «enfant sublime» («гигант-дитя»). Трудно допустить, чтобы Кюхельбекер слышал о них еще во время пребывания своего в Париже в 1821 г.; он знал легенду, вероятно, из какой-либо статьи о Гюго русского журнала. В «Московском Наблюдателе» (1835, ч. V, 235—236) мы, например, находим следующие слова о Гюго (в статье Д. Н и з а р а, «Виктор Гюго в 1836 г.»): «Шатобриан называл его гениальным ребенком, слово неблагоприятное, хотя исполненное доброты, которое могло внушить ребенку гордость человека взрослого и тщеславие гения, прежде чем ребенок имел уже талант» и т. д.

²⁹ К ю х е л ь б е к е р В. К., Сочинения, М., 1908, 116—117; ср. еще «Русская Старина», 1891, LXXII, октябрь, 99 и «Всемирный Вестник», 1903, № 9, 105—106.

³⁰ «Я очень люблю вашего императора, но если бы я был на его месте, то я сделал бы вот что...»—Письмо П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 13/25 июня 1841 г.—«Остафьевский Архив», IV, 137.

³¹ H a u t a n t (E.), La culture française en Russie, P., 1910, 399.

³² M a z o n (A.), Князь Элим—см. выше, стр. 392.

³³ В наиболее полном собрании сочинений Е. П. Ростопчиной, отредактированном ее младшим братом С. П. Сушковым (1890), это ее стихотворение отсутствует. Автограф его находится в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина в Москве (№ 3330) и описан в «Отчете» Румянцевского музея за 1902 г., 9.

³⁴ M e s t c h e r s k y (Elim), Poètes russes traduits en vers français, P., 1846, II, 29—30.

³⁵ На письме Мещерского рукою В. Гюго сделана пометка: «R [épondu]»—«ответил». См. выше, стр. 394.

³⁶ «Казимир Делавинь остался писателем и хотел им остаться; это необычная странность для нашего времени» и т. д.

³⁷ «L'école des vieillards»—пьеса Казимира Делавиня (1793—1843); «Sylla»—трагедия Этьена Жуи (1764—1846), впервые представленная в Comédie Française 27 декабря 1821 г. и имевшая в течение длительного периода блистательный успех.

³⁸ «В одном из ее написанных по-мужски фельетонов».

³⁹ Тургенев в А. И., Письмо из Парижа.—«Москвитянин», 1845, II, № 4, Смесь; 59.

⁴⁰ В одном из «Lettres parisiennes» m-me Жирарден, напечатанном в «La Presse» 24 февраля 1845 г., мы находим, действительно, слова, на которые намекает А. И. Тургенев: «On se dispute, on se bat pour aller jeudi à l'Académie. La réunion sera des plus complètes; il y aura là toutes les admiratrices de M. Victor Hugo; il y aura là toutes les protectrices de M. Sainte-Beuve, c. à d. toutes les lettres du parti classique. Comment se fait il que M. Sainte-Beuve... soit aujourd'hui le favori de tous les salons ultra monarchiques et classiques? On répond à cela: il a abjuré» и т. д. См. Séché (Léon), Delphine Gay (M-me de Girardin), dans ses rapports—avec Lamartine, V. Hugo, Balzac etc., P., 1910, 191. О встречах А. И. Тургенева с Sophie Gay см. в его «Хронике русского в Париже».—«Москвитянин», 1845, ч. II, № 4, Смесь, 8, 19—21.

⁴¹ «Эта смесь, где часто сталкиваются встречающиеся у г. Гюго монархические реминисценции, христианская фразеология и сенсимонистские устремления».

⁴² «Как философ вы дали очную ставку всем системам».

⁴³ «Вы возвратили нам что-то от Нодье».

⁴⁴ «Письмо из Парижа».—«Москвитянин», 1845, ч. II, № 4, Смесь, 60—60.

⁴⁵ П. В. Анненков и его друзья», СПб. 1892, 208.

⁴⁶ Ibid., 224—225.

⁴⁷ Волков в Матвей, Отрывки из заграничных писем (1844—1848), СПб. 1857, 249. Наиболее интересную часть этой книги составляют впечатления очевидца Февральской революции 1848 г. в Париже (472—552).

⁴⁸ Balabine (Victor), Journal de Victor de Balabine, secrétaire de l'ambassade de Russie. Publié par Ernest Daudet, P., 1914, 250—251.

⁴⁹ «Письма А. Н. Карамзина 1847—1848. Материалы по истории французской революции 1848 г.», М.—Л., 1935, 12.

⁵⁰ «А. Н. Серов, Материалы для его биографии».—«Русская Старина», 1876, XV, 348—349; ср. здесь же в большом письме от 29 сент. 1841 г. соображения Серова о «направлении» В. Гюго в его драмах и сопоставления его с Мейербером. См. еще в «Парижских письмах» П. В. Анненкова (1847) его параллель между В. Гюго и Берлиозом («П. В. Анненков и его друзья», 273).

⁵¹ «А. С. Даргомыжский. Автобиография. Письма. Воспоминания современников», ред. Н. Финдейзена, Л., 1921, 5.

⁵² Никитенко А. В., Записки и дневник, СПб. 1905, I, 240.

⁵³ «Чтобы превратить ее в публичную девицу, к чему она и предназначалась».—«А. С. Даргомыжский», op. cit., 13.

⁵⁴ Любопытно, что в числе гидов Даргомыжского по Парижу находился Н. И. Греч.—Ibid., 23—25.

⁵⁵ Ibid., 5. Полностью эта опера не была издана; при жизни Даргомыжского был издан в Петербурге лишь «Galop de l'opéra Esmeralda». После первой постановки в Москве (1847) «Эсмеральда» дана была в Петербурге 15 дек. 1851 г., в бенефис А. А. Петрова, но выдержала всего три представления. 24 сент. 1853 г. «Эсмеральда» была возобновлена в Петербурге (в бенефис Латышевой, исполнявшей заглавную партию), также выдержав лишь несколько спектаклей. В последний раз опера была возобновлена в 1859 г., для бенефиса Булановой, когда и имела наибольший, хотя также непродолжительный, успех. Отметим, кстати, что в Петербурге в 1856 г. начал оперу на сюжет Гюго молодой М. П. Мусоргский («Hau d'Islande»); однако, из этой первой оперной попытки композитора, по его собственному признанию, «ничего не вышло, потому что и не могло выйти: автору было 17 лет» (С т а с о в В. В., Собрание сочинений, СПб. 1894, III, 745; «Музыкальный Современник», 1917, № 5—6, 223). Внушенная драмой Гюго опера Цезаря Кюи, «Анджелло», была дана первый раз в Петербурге 13 февраля 1876 г.

⁵⁶ О Н. И. Сазонове (1815—1860) см. Сакулин П. Н., Русская литература и социализм, изд. 2-е, М., 1924, 269—273.

⁵⁷ «Отечественные Записки», 1856, VIII, август (разд. «Иностр. литература»), 11—13.

⁵⁸ Ibid., 13.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ В ИЗГНАНИИ

ГЕРЦЕН О ГЮГО-ИЗГНАННИКЕ. — ГЕРЦЕН ПРИГЛАШАЕТ ГЮГО К СОТРУДНИЧЕСТВУ В „ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЕ“. — ПИСЬМА ГЮГО К ГЕРЦЕНУ. — СТИХОТВОРЕНИЯ П. Л. ЛАВРОВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЮГО. — ВОЗЗВАНИЕ ГЮГО К „РУССКОМУ ВОЙСКУ“. — ВСТРЕЧИ ГЕРЦЕНА С ГЮГО В БРЮССЕЛЕ. — ГЕРЦЕН ЧИТАЕТ ГЮГО ОТРЫВКИ ИЗ „БЫЛОГО И ДУМ“. — ПОСЕЩЕНИЕ ГЮГО П. В. ДОЛГОРУКОВЫМ. — УСПЕХ „ОТВЕРЖЕННЫХ“ В РОССИИ И ИХ ЦЕНЗУРНАЯ СУДЬБА. — ПИСЬМО ГЮГО К В. Ф. ЛЕНЦУ В ПЕТЕРБУРГ. — ПЕРЕПИСКА ГЮГО С КН. С. П. ГОЛИЦЫНОЙ. — ВОСПОМИНАНИЯ М. А. ЗАГУЛЯЕВА О ВСТРЕЧЕ С ГЮГО В БРЮССЕЛЕ.

Известна та умная и тонкая характеристика, которую Герцен дал Гюго как политическому деятелю в VI части «Былого и дум». «Виктор Гюго, — писал Герцен, — никогда не был в настоящем смысле слова политическим деятелем. Он слишком поэт, слишком под влиянием своей фантазии, чтобы быть им. И, конечно, я это говорю не в порицание ему. Социалист-художник, он, вместе с тем, был поклонник военной славы, республиканского разгрома, средневекового романтизма и белых лилий, — виконт и гражданин, пэр орлеанской Франции и агитатор 2 декабря; это — пышная, великая личность, но не глава партии, несмотря на решительное влияние, которое он имел на два поколения. Кого не заставил задуматься над вопросом о смертной казни „Последний день осужденного“? В ком не возбуждали чего-то вроде угрызения совести его резкие, страшно и странно освещенные, на манер Тёрнера, картины общественных язв, бедности и рокового порока?.. Февральская революция застала Гюго врасплох: он не понял ее, удивился, отстал, наделал бездну ошибок и был до тех пор реакционером, пока реакция, в свою очередь, не опередила его. Приведенный в негодование цензурой театральных пьес и римскими делами, он явился на трибуне Собрания с речами, раздавшимися по всей Франции. Успех и рукоплескания увлекли его дальше и дальше. Наконец, 2 декабря 1851 г. он стал во весь рост: он в виду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию; под пулями протестовал против *сoup d'état* и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать. Раздраженным львом отступил он в Джерси; оттуда, едва переведя дух, он бросил в императора своего „*Napoléon le Petit*“, потом свои „*Châtiments*“»¹.

Эта замечательная характеристика написана в годы личного общения Герцена и Гюго, когда их дружеские встречи и переписка помогли каждому из них узнать и оценить друг друга. Оценка Герцена была безупречной по своей зоркости и отчетливости. Гораздо более трезвый политик, чем Гюго, Герцен метко схватил основные черты его личности, верно определил его историческое значение, лучше многих других разобрался в тех «поэтических» непоследовательностях его творческого и политического роста, которые вызывали у современников столько противоположных суждений и взаимно исключаящих друг друга приговоров. В результате, в той международной галлее «изгнанников», которая дана на страницах VI части «Былого и дум», портрет Гюго — один из самых совершенных по мастерству живописи, артистичности и тонкости рисунка. Отчетливость этой характеристики должна быть объяснена не только верным чутьем Герцена как художника и политика; нужно помнить, что Герцен уже издавна следил за творчеством Гюго и многие годы издали присматривался к нему как к человеку и общественному деятелю. Их личное знакомство произошло почти через двадцать лет после того, как Герцен пережил первые восторги при чтении его произведений².

Очутившись в Париже в конце 40-х годов и сразу окунувшись в поток европейских событий, Герцен имел возможность наблюдать Гюго накануне решительных поворотов его жизни. С еще более пристальным вниманием и сочувственной заинтересованностью Герцен следил за литературной и политической деятельностью французского писателя. Несущественно, при этом, даже все различие их тогдашних социально-политических идей и общественного положения, несходство во взглядах на будущее Франции и Европы, которое подчеркивает и сам Герцен; несущественно потому, что при всех «ошибках» поведения Гюго в эпоху Февральской революции он все это время оставался для Герцена одним из великих писателей-гуманистов, создателем «Notre-Dame», впечатления от чтения которой так отчетливо чувствуются еще в «Письмах из Avenue Marigny» (1847), творцом «Последнего дня осужденного», а также пышных стихов, которые Герцен, в сущности, никогда не мог разлюбить³.

Политическая жизнь Гюго с конца 40-х годов была известна Герцену во всех подробностях. Он знал историю политической эволюции Гюго и его участия в противодействии перевороту 2 декабря 1851 г., превратившего Французскую республику в империю Наполеона III. Герцен отчетливо представлял себе, как Гюго в эту тревожную пору, действительно, «стал во весь рост»⁴. Когда же Гюго, изгнанный не только из Франции, но и из Брюсселя, переселяется на остров Джерси—один из сборных пунктов европейской политической эмиграции,—пути Герцена и его сходятся, и вскоре их личное общение, во всяком случае, путем переписки становится неизбежным.

Герцен не мог знать политических мемуаров Гюго, в которых он описывает годы своего изгнания («Pendant l'exil», 1875), так как это собрание документов, речей и воспоминаний вышло в свет через пять лет после смерти Герцена. Тем замечательнее, что в своей характеристике Герцен метко схватил все особенности настроения, которое владело Гюго в ту пору его жизни и которое с такой полнотой высказалось в его воспоминаниях об этом времени. От Герцена не укрылось то обстоятельство, что, «раздраженным львом» отступая в Джерси, Гюго, этот неисправимый мечтатель в своей политической жизни, принял исключительно на свой счет бельгийский закон об эмигрантах и начал считать себя силой, значение которой он, несомненно, преувеличивал. Он вообразил, что одно его имя наводит страх на врагов; на митингах и банкетах эмигрантов он произносил громогласные речи, встречаемые восторженными рукоплесканиями, и ему начинало казаться, что он—одно из средоточий новой Европы, один из вождей великого похода против старого мира. Герцен относился к этой аффектации иронически, но добродушно. Рассказывая в «Былом и думах» историю изгнания французской колонии во главе с В. Гюго с острова Джерси, Герцен писал: «В 1855 г., когда джерсейский губернатор, пользуясь особым бесправием своего острова, поднял гонение на журнал „L'Opposte“ за письмо Ф. Пиа к королеве и, не смея вести дело судебным порядком, велел В. Гюго и другим „рефюжье“, протестовавшим в пользу журнала, оставить Джерси,—здравый смысл и все оппозиционные журналы говорили им, что губернатор перешел власть, что им следует остаться и сделать процесс ему». Но... «они напечатали новый грозный протест, грозили губернатору судом историей—и гордо отступили в Гернсей...»⁵ И Герцен прибавляет, делая общий вывод из всей этой истории переселения Гюго и других «рефюжье» в новое место жительства: «Отъезд Гюго из Джерси в Гернсей, кажется, убедил

еще больше его друзей и его самого в [их] политическом значении, в то время как отъезд этот мог только убедить в противном»⁶. Герцен и на этот раз не ошибался. Ореол страдальца и мученика, каким Гюго окружал себя, заблестал еще ярче; он готов был пророчествовать и благословлять всех, кто обращался к нему за помощью. Ему казалось, что живописные и дикие скалы острова Гернси, на берегу которого он поселился, видны всему миру, всем жаждущим участия и обиженным судьбой; он думал,



А. И. ГЕРЦЕН
С фотографии 1865 г.
Музей Герцена, Москва

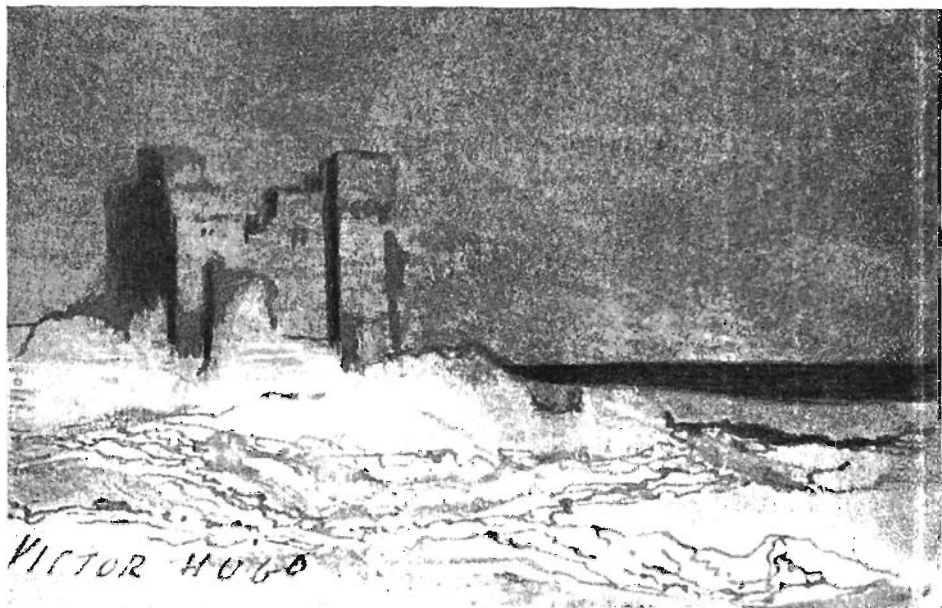
что достаточно было написать на конверте письма «V. Hugo. Oséan», чтобы это письмо тотчас же дошло по назначению. «К нему,—пишет он про себя в предисловии к книге „Pendant l'exil“,—обращались за помощью всякие несчастные,—не только отдельные личности, но и народы, не только народы, но и совести, не только совести, но и истины». Не зная этих строк, Герцен прекрасно понял настроение Гюго. Он знал, что Гюго в эту пору, действительно, готов был считать себя прорицателем, советником народов и государств, «совести и истины», но оправдывал это самообольщение,

как одно из поэтических преувеличений, столь свойственных Гюго, как одно из заблуждений его фантазии. Герцен был живым свидетелем всех этих «actes et paroles», которые были предприняты или сказаны Гюго во второй половине 50-х и в 60-е годы, и его не раз восхищала неутомимая действенность поэта, в которой, при всей ее театральной пышности и декоративности позы, было действительное величие сострадательного сердца и никогда не погасавшее сознание общественного долга. В 1856 г. Гюго уговаривал итальянцев ничего не ожидать от королей и надеяться только на себя и на провидение, в 1859 г. писал письмо Северо-Американским Соединенным Штатам, убеждая их не пятнать себя кровью Джона Броуна, за два года до гражданской войны в Америке сделавшего в Виргинии попытку освободить негров-невольников, затем обращался к тем же Соединенным Штатам с приглашением, как бы в уплату за то, что они должны Франции со времен Лафайета, помочь освобождению греков в областях, еще подвластных Турции. Он требует от Англии, чтобы она не казнила пленных фениев; он просит Хуареса пощадить Максимилиана, обращается к Испании (после падения престола Изабеллы) с призывом не восстанавливать монархии и отказаться от Кубы, он шлет воззвания кандидатам, сражающимся против турок...⁷ Естественно, что и европейский восток оказывается в сфере внимания Гюго. Крымская война, общественный подъем после смерти Николая I, возбужденные слухи о предстоящем освобождении крестьян, подавление польского восстания,—таковы факты русской действительности, которые непрерывно обостряют наблюдательность Гюго по отношению к той стране, политический режим которой он так остро ненавидел в 30—40-х годах, откуда некогда донесли до него шумные рукоплескания его ранним стихам, романам и драмам. Военное столкновение николаевской России с Францией Луи-Наполеона заставило Гюго в изгнании лишний раз вспомнить впечатления юношеских лет, эпоху походов Наполеона I, его военной славы и последовавшего затем поражения. Любопытно, что уже одно из стихотворений «Châtiments» (V, 13: «Expiation» — «Искушение») воссоздает картины отступления наполеоновской армии из сожженной Москвы:

Снежило. Сражены победою своею,
 Французские орлы впервые гнули шею.
 Он отступал — о, сон ужасный наяву!
 Оставив позади пылавшую Москву.
 Снежило. Вся зима обрушилась лавиной...⁸

В середине 50-х годов эти исторические припоминания тускнеют перед современными картинами осажденного Севастополя, а еще позднее до Гюго доходят уже «голоса из России», тревожно жаждущей обновления и общественных реформ. Гюго ищет поводов высказать свое ободряющее сочувствие этой «молодой России», подать ей, если нужно, руку помощи, подобно тому, как он протягивал ее итальянцам, испанцам, грекам. Посредником между гернсийским изгнанником и обновляющейся Россией, борцом за все молодое и свежее, что живет и растет в ней, и в то же время истолкователем настоящего и будущего этой страны становится для Гюго Герцен.

Со времени вынужденного отъезда Гюго из Франции круг его русских знакомств резко изменился. Живя в изгнании, Гюго надолго потерял связь с представителями русской аристократии, светскими дамами и праздными русскими туристами, которые столь досаждали ему в Париже в 40-х



ЗАМОК НА БЕРЕГУ МОРЯ

Рисунок В. Гюго

Литературный музей, Москва

годах⁹. Теперь русские встречи Гюго всецело определялись и той ролью, которую он хотел играть, и тем кругом людей, которые искали с ним беседы: это были эмигранты, группировавшиеся вокруг «Полярной Звезды» и «Колокола». В то же время эти люди и эти издания были главными источниками ознакомления с Гюго и русской прогрессивной интеллигенции.

Публикуя впервые некоторые из писем Гюго к Герцену, хранящиеся в архиве семьи Герцена, М. О. Гершензон не знал еще, «был ли Герцен лично знаком с Гюго»¹⁰. Высказывая такое нерешительное суждение, Гершензон забыл о свидетельстве Н. А. Огаревой-Тучковой, которое, впрочем, также вызывает некоторое сомнение. Н. А. Огарева, рассказывая в своих «Воспоминаниях» о встречах Герцена и Гюго в Брюсселе, в 1869 г., упоминает, что будто бы тогда Герцен видел его «в первый раз в жизни»¹¹. М. К. Лемке заподозрил достоверность этого свидетельства. Мы не можем сказать с уверенностью, когда впервые состоялось знакомство двух писателей, но представляется вероятным, что они могли встречаться и до 1869 г.¹² Что касается до переписки Герцена и Гюго, то возникновение ее относится еще к 1855 г.

Основав в Лондоне русскую типографию и приступая к изданию «Полярной Звезды», Герцен послал Гюго объявление о скором выходе в свет этого издания и пригласил к сотрудничеству в нем. Аналогичное обращение Герцен адресовал также Мадзини, Луи Блану, Прудону, Мишле, Лелевелю. Сочетанию этих имен в «вольном» русском зарубежном издании, «добровольно пришедших на закладку свободного русского дела», Герцен придавал большое значение, взволнованно доказывая в письмах к М. К. Рейхель, что появление их в первой книжке журнала в самый день казни Пестеля «было бы не шуткой»; «вы не хотели понять поэзию и смысл этих имен»¹³. Впоследствии Герцен с благодарностью вспоминал о том «сер-

дечном участии», с которым все эти люди отозвались на его обращение: «Я никогда не забуду,—писал Герцен Мадзини в 1857 г.,—того сердечного участия, с каким вы и другие выдающиеся люди, как Виктор Гюго, Мишле, Прудон, Луи Блан, протянули мне руку в 1855 г. и старались вселить в меня мужество, когда я начинал в Лондоне свой русский журнал „Полярную Звезду“»¹⁴. В. Гюго откликнулся одним из первых—письмом от 25 июля 1855 г. с о. Джерси. Отрывок этого письма Герцен напечатал в первой книжке «Полярной Звезды», но, как заметил М. О. Гершензон, «значительно смягчив его необузданную риторичность...». В настоящее время мы знаем его в полном виде¹⁵.

Перевод:

25 июля 1855 г.

Дорогой согражданин—ибо один только есть град, и, в ожидании всеобщей республики, ссылка есть общее наше отечество! У вас великая мысль, и я присоединяюсь к ней с поспешностью и радостью. Вы явились за тем, чтобы разъединить то, что теперь объединено в союзах королей, и объединить в союз то, что разъединяет народы. Вы явились, чтобы помирить Россию, чтобы возжечь зарю севера, чтобы испустить крик свободы на московском языке, чтобы взять руку великой славянской семьи и положить ее в руку великой семьи человечества. Вы совершаете дело европейское, вы совершаете дело человеческое, вы совершаете дело умное,—это хорошо. Вы доказываете, что политика, когда она является политикой высокого полета, является также и наиболее высокою из философий. Издание, которое вы основываете, будет одним из самых благородных знамен идеи. Я вам рукоплещу, благодарю вас и поздравляю, и, если такое слово соответствует моему малому значению, я вас одобряю! Заваленный более чем когда-либо всякого рода работой, я буду скорее содействовать вам вообще, чем непосредственно сотрудничать. Но рассчитывайте на всю помощь, которую мне возможно будет вам оказать, и на самое глубокое мое сочувствие. Вам угодно было просить меня о моем присоединении к вашему делу: вы видите, что оно происходит само собой. Хорошо выбрана и минута для провозглашения союза и любви. Время теперь величественное, страшное; ударяют молнии и слышатся раскаты грома, но из-за таких туч и являются кивоты союза. Братски жму вам руку.

Виктор Гюго

С этих пор письменные сношения двух «изгнанников» не прекращались, хотя и не были ни регулярными, ни особенно частыми. Без сомнения, Герцен посылал Гюго многие из своих изданий, в особенности те из них, которые выходили также по-французски. Так, одно из писем Гюго, датированное 15 марта 1857 г., написано по поводу брошюры Герцена «Смерть Ворцеля», появившейся в Лондоне во французском переводе¹⁶. Гюго, лично знавший покойного польского эмигранта, писал Герцену¹⁷.

Перевод:

15 марта 1857 г.

Дорогой изгнанник и дорогой брат по скитаниям!

Благодарю за ваши великие, благородные слова о доблестном умершем. Вы сказали о Ворцеле, как Ворцель сказал бы о вас. Но вы—живите. Живите для борьбы, которой нужны светлые сердца и лучезарные умы, как ваши. Жму вашу руку.

Виктор Гюго

Повидимому, получением одной из книг Герцена, скорее всего «La France et l'Angleterre»¹⁸, было вызвано также и следующее письмо Гюго¹⁹.

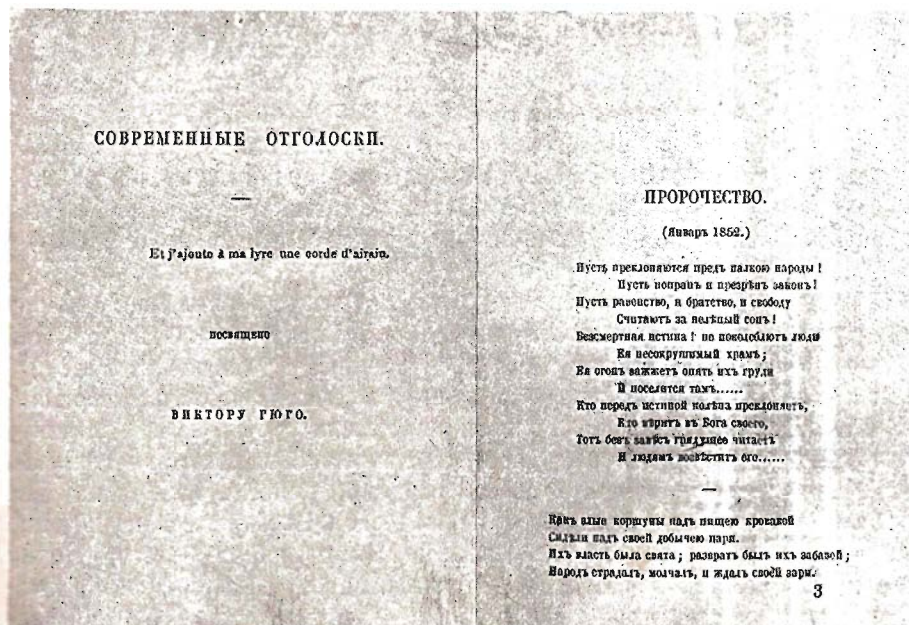
Перевод:

13 апреля 1858 г.

Ваше сочинение, мой отважный и дорогой согражданин, столь же содержательно по своей сущности, как идея, и сильно, как убеждение. Я называю вас согражданином, потому что у вас и у меня одна лишь дума— будущее, и одна только община—единение человечества. Вы только что осветили настоящее положение вещей с мастерским искусством; я согласен с вами почти во всех пунктах и от глубины сердца с кликом: мужественно вперед! посылаю вам свое братское рукопожатие.

Виктор Гюго

Следует признать, однако, что такие изъявления солидарности не означали на самом деле полного и подлинного единомыслия. Чаше бывало, что Герцен и Гюго расходились во взглядах на будущее и, в особенности, на прошлое. Герцен полемизировал против некоторых тенденций Гюго-публициста, в особенности же против апофеоза парижской культуры и слишком большой веры в жизненные силы «дряхлающего», с точки зрения Герцена, Запада²⁰; Гюго, со своей стороны, упрекал Герцена за недооценку им юной Франции 30-х годов. В «Былом и думах» (ч. IV, гл. XXV) Герцен писал: «В современной Европе нет юности и нет юношей. Мне на это уже возражал самый блестящий представитель Франции последних годов Реставрации и июльской династии Виктор Гюго. Он, собственно, говорил о молодой Франции двадцатых годов, и я готов согласиться, что я слишком



СТИХОТВОРЕНИЯ П. Л. ЛАВРОВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЮГО В ИЗДАНИИ ГЕРЦЕНА „ГОЛОСА ИЗ РОССИИ“, 1856 г., № 4

Заглавная страница и начальные строки первого стихотворения

Музей революции, Москва

обще выразился; но далее я и ему ни шагу не уступлю»²¹. Говоря так, Герцен имел в виду письмо Гюго, написанное им после прочтения первого тома «Былого и дум», вышедшего во французском переводе Делава в 1860 г.

Гюго писал здесь Герцену²².

Перевод:

15 июля 1860 г.

Дорогой соотечественник по изгнанию,—ибо в настоящее время изгнание является отечеством честных душ,—жму вашу руку. Благодарю вас за прекрасную книгу, которую вы прислали мне. Ваши воспоминания—это летопись чести, веры, высокого ума и добродетели. Вы умеете хорошо мыслить и хорошо страдать—два высочайших дара, какими только может быть наделена душа человека. Из глубины сердца поздравляю вас. Я только сожалею, что в этой прекрасной и хорошей книге есть одна страница (218): более чем кто-либо другой, вы достойны были дать правильную оценку поколению 1830 г., которое довершило во Франции революцию событий революцией идей, которое одним порывом породило социализм и романтизм, т. е. новый мир с его глаголом, и которое ныне продолжает свое апостольство сопротивлением и свое священнослужение—изгнаннычеством. Настанет день, когда эта идея справедливости захватит вас, и вы прославите молодое поколение 1830 г., клеймя в то же время молодое поколение 1860 г. За исключением этой страницы, повторяю, я аплодирую вашей книге с начала до конца. Вы заставляете ненавидеть деспотизм, вы способствуете уничтожению чудовища; в вас виден неустрашимый боец и великодушный мыслитель. Я с вами!

Виктор Гюго

Эти красноречивые слова могли принести Герцену много авторского самоудовлетворения,—и, тем не менее, он «ни на шаг» не хотел уступить Гюго в том единственном упреке, который тот позволил себе ему сделать. Больше того, утаив похвалы себе знаменитого французского писателя, Герцен нашел нужным печатно заявить о своем несогласии с ним. Здесь не место касаться корней этого спора, в котором с такой отчетливостью высказались существенные различия во взглядах обоих писателей на важнейшие вопросы современной им общественной жизни западной Европы; подчеркнем лишь, что эти различия ни в какой мере не поколебали их союзничества и дружбы.

В «Колоколе» было напечатано однажды следующее объявление: «Виктор Гюго просит редактора „Колокола“ переслать его искреннюю благодарность русскому поэту, посвятившему ему „Современные отголоски из России“. Мы извещаем автора, что, по его желанию, экземпляр его стихотворений, напечатанных в IV книжке „Голосов из России“, был нами доставлен Виктору Гюго в Гернсей»²³. Под общим заглавием «Современные отголоски» Герцен напечатал в IV книге своего издания «Голосов из России» два стихотворения с общим эпиграфом из В. Гюго («Et j'ajoute à ma lyre une corde d'airain...») и пометой «Посвящено Виктору Гюго»²⁴. Автором их является П. Л. Лавров, сам засвидетельствовавший об этом в своей автобиографии. «Из стихотворений Лаврова,—говорится здесь (автобиография писана в третьем лице),—некоторые были им посланы А. И. Герцену в 1856 г. при письме, где выражалось еще слишком много надежд на начавшееся царствование Александра II. Как письмо, так и стихотворения „Пророчество“ и „Русскому народу“ были напечатаны А. И. Герценом

Кто перед истиной колена преклоняет,
 Кто верит в бога свдего,
 Тот без завес грядущее читает
 И людям возвестит его...

Во всех этих прорицаниях и призывах Гюго, — если бы ему оказалось доступным ознакомление с этим стихотворением русского поэта, — мог бы почувствовать лирическое напряжение собственных своих стихов, свой ораторский стиль, следы своих метафор, ритмов... В том приподнятом стиле, как это Гюго делал по отношению к Герцену, он должен был приветствовать и этого своего «согражданина», который, вдохновившись «металлическими струнами» его лиры, проклинал самовластие царей и вещал о грядущем освобождении родной страны:

А вы, цари земли! Вы, пастыри народа!
 Падучею звездой промчится ваша власть
 И вам проклятье перейдет из рода в роды!
 Спешите выситься, чтобы страшней упасть!

Заключительные стихи «Пророчества» непосредственно обращены к Николаю I:

И ты, один из всех не дрогнувший поныне,
 Полмира властелин, самодержавный царь!
 Для подданных твоих, твои слова—святыня,
 Желание—закон и твой престол—алтарь.
 Вне прав твоих—нет прав; ты выше всех законов;
 Беспрекословною, бессмысленной толпой
 Разноплеменные десятки миллионов
 Во прахе ног твоих лежат перед тобой.

 Не вечен будет сон; настанет пробужденье,
 И устыдится Русь невежественной тьмы,
 И вырастет тогда общественное мнение,
 Признает русский царь народные права,
 В гражданской доблести воскреснут поколенья,
 Свободно потекут и мысли и слова...

Второе стихотворение, озаглавленное «Русскому народу», датированное декабрем 1854 г., констатирует, что это пробуждение близко, и поэт обращается с призывом почти некрасовской силы:

Проснись, мой край родной, изъеденный ворами,
 Подавленный ярмом,
 Позорно скованный бездушными властями,
 Шпионством, ханжеством!
 От сна невежества, от бреда униженья,
 От лени вековой
 Восстань и посмотри... Везде кипит движенье,
 Черед уж за тобой...

Едва ли Гюго ограничился бы выражением через «Колокол» благодарности русскому поэту за посвящение ему этих стихов в те годы, когда он сам по всему миру искал признаков этого «движенья» и восторженно

откликался на всякий призыв. На беду свою, Гюго вряд ли в состоянии был прочесть оба этих стихотворения и даже ознакомиться с их содержанием, и поэтому их посвящение ему могло вызвать в нем всего лишь чувство признательности за этот безвестный «голос из России», говоривший на непонятном для него языке.

К началу 60-х годов русские интересы Гюго становятся более интенсивными и углубленными, а его обращения к представителям русского народа более частыми и более активными. Посредником между прославленным писателем демократической Франции и «молодой Россией» попрежнему является Герцен.

В феврале 1863 г., в разгар польского восстания, Герцен напечатал в «Колоколе» воззвание В. Гюго к русскому войску с призывами бросить братоубийственную бойню, «вдохновиться поляками и не сражаться с ними». «Если вы продолжите эту дикую войну,—писал Гюго,—если вы, офицеры, имеющие благородное сердце, но подчиненные произволу, который может



МЕДАЛЬ В ПАМЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ „ВОЛЬНОЙ РУССКОЙ ТИПОГРАФИИ“

Гюго получил медаль в подарок от Герцена весной 1863 г.

Музей революции, Москва

лишить вас звания и сослать в Сибирь, если вы, солдаты, крепостные вчера, рабы сегодня, невольно оторванные от ваших матерей, невест, семейств, вы, телесно наказываемые, дурно содержимые, осужденные на долгие годы военной службы, которая в России хуже каторги других стран, если вы—сами жертвы—пойдете против жертв... знайте, люди войска русского, что вы падете ниже вооруженных ватаг Южной Америки и возбудите отвращение всего образованного мира». Публикуя это воззвание в «Колоколе», Герцен сделал к нему следующее примечание: «Сейчас получил я при письме Виктора Гюго из Гернсея его воззвание к русским воинам, для напечатания в „Колоколе“. Спешу передать его нашим читателям. Есть великие имена, являющиеся при всех великих событиях, без них они были бы словно неполны»²⁸. Пояснением этого возвания Гюго могут служить два документа, несколько разъясняющие историю его написания: письмо Гюго к его издателю Лакруа (Lacroix) и другое письмо его—к Герцену. Посылая свое воззвание Лакруа, редактору брюссельской газеты «Bulletin du Dimanche», Гюго писал ему следующие, еще не появлявшиеся в печати строки²⁹:

Перевод:

10 февраля 1863 г.

Вот факт, который вас заинтересует. Некто из русской армии просил меня написать воззвание по польскому вопросу. Это странно, но глубоко характеризует положение дела. Я выполнил просьбу и посылаю вам воззвание. Передайте его в указанные газеты. Вы, я думаю, попрежнему возглавляете «Bulletin». Пропагандируйте его, сколько возможно. Это дело, достойное вашего сердца и вашего ума.

В. Г.

Благодаря Лакруа это воззвание одновременно с «Колоколом», действительно, появилось во французской печати (например, в газете «La Presse» в феврале 1863 г.). Сохранилось и то письмо, при котором Гюго послал Герцену это воззвание³⁰.

Перевод:

8 февраля 1863 г.

Мой доблестный брат по борьбе и испытаниям! Один русский офицер написал мне, прося о тех строках, которые я посылаю вам. Напечатайте их, воспользуйтесь ими, если думаете, что это может быть небесполезно. Будем помогать друг другу. Мы все—один народ, и существует только один закон: пока нет свободы—освобождение, по освобождении—прогресс. Я слежу за вашей красноречивой и победоносной пропагандой, я рукоплещу вам и люблю вас.

В. Гюго

Во всей этой истории остается неясным лишь одно обстоятельство: кто был инициатором этого воззвания, этот «некто из русской армии», как его глухо назвал Гюго в своем письме к издателю Лакруа? Французские исследователи полагают, что это был сам Герцен. Такое предположение, как будто бы, действительно, внушают собственные заявления Гюго. Перепечатывая обращение «к русскому войску» в своих «Actes et paroles» уже после смерти Герцена, Гюго так пояснял причины его написания: «Польша, неукротимая, как право, подымалась. Русская армия ее раздавливала. Александр Герцен, доблестный редактор „Колокола“, написал В. Гюго эти простые слова:

„Великий брат, на помощь! Скажите слово цивилизации“»³¹.

Тогда, будто бы, и написано было самое обращение. Письмо Герцена, из которого Гюго процитировал одну фразу, в печати неизвестно; вероятно, оно хранится в архиве Гюго. Опубликование его могло бы пролить свет на этот запутанный вопрос: отвечая Герцену 8 февраля на его неизвестное нам письмо, едва ли Гюго написал бы издателю «Колокола»: «Один русский офицер написал мне» и т. д., если бы этот «русский офицер» и Герцен были тождественным лицом, как обычно предполагают. Обращение к Гюго и помимо Герцена, как мы увидим ниже, вовсе не представляется фактом невероятным и невозможным. В ожидании дальнейших разъяснений мы предпочитаем думать, что этот «некто из русской армии», имя которого Герцен не назвал, по понятным соображениям,— вполне реальное лицо, о существовании которого Герцен узнал лишь из письма Гюго. Любопытный отклик на публикацию этого воззвания в «Колоколе» находим в статье В. И. Кельсиева (1869) «Из рассказов об эмигрантах». Кельсиев пытается доказать здесь, что «между Виктором Гюго, Мадзини, Кошуттом,

в сущности, общего нет ничего, почти ни одного общего принципа нет», что «их связала одинаковая судьба, изгнанники протянули друг другу руки, и во имя того, что личное оскорбление одного становится личным оскорблением другого и что имя одного так же знаменито, как имя другого, они стали свои люди». Примером дружеской солидарности Герцена и Гюго Кельсиев считает именно воззвание Гюго «Русскому войску», напечатанное в «Колоколе»: «Восстание началось, и вот в „Колоколе“ явилось у него воззвание Виктора Гюго к нашим солдатам, воззвание, написанное, разумеется, очень изящно, очень симпатично, но знал же Герцен, что наши солдаты даже о существовании В. Гюго понятия не имеют, и знал он также, что французское фразерство русского не прошибет.



„КОЛЕСНИЦА МОНАРХИИ“
 Политическая карикатура В. Гюго
 Музей Гюго, Париж

Спрашивается, зачем он печатал это воззвание? Затем, что Виктор Гюго как эмигрант—свой человек: затем, что он один из знаменитых борцов за свободу»³².

К середине 60-х годов переписка Гюго с Герценом становится менее регулярной, а еще позже почти совсем ослабевает; весной 1863 г. Гюго еще с увлечением перечитывает «Былое и думы» во французском переводе и вспоминает об этой книге в письме к Герцену от 16 мая того же года, написанном в ответ на присылку ему медали в память десятилетия Вольной русской типографии³³.

Перевод:

16 мая 1863 г.

Дорогой соотечественник по изгнанию, это я должен благодарить вас: благодарю вас за медаль, благодарю вас за ваши превосходные «Воспоминания», продолжение которых я буду читать с тем же сочувственным и глубоким интересом, с каким прочел начало,—наконец, особенно благо-

дарю вас за то, что вы—вы: красноречивый и доблестный человек, служащий делу народов, русский, реабилитирующий Россию, писатель во имя прогресса и свободы, апостол-патриот и космополит. Жму вашу руку.

В. Гюго

Что Гюго, действительно, внимательно читал «Былое и думы», показывают черновики рукописей тех книг, над которыми он в это время работал; так, в статье «Тираны» (1864), изложив, по Герцену, рассказ о русской графине и жестоко наказанной ею крепостной, Гюго делает помету на своей рукописи: «Имя этой графини смотри в „Воспоминаниях“ Герцена»³⁴. О «Былом и думах» шла беседа между Гюго и Герценом и при их личных встречах в 1869 г., а во время одной из них Герцен сам читал Гюго отрывок из них.

Об этих встречах мы имеем ряд свидетельств, дополняющих и частично исправляющих друг друга.

Дело было в Брюсселе, где жил в то время Гюго, в августе 1869 г. «Возвратившись из Парижа,—вспоминает Н. А. Огарева-Тучкова,—Герцен случайно узнал, что В. Гюго тоже находится в Брюсселе. Не помню, пошел ли Герцен к нему или встретился с ним, только он мне рассказывал об этом свидании, потому что в первый раз в жизни видел Гюго». О том, что последнее утверждение нуждается в проверке,—говорилось выше, но все, что Н. А. Огарева рассказывает дальше, заслуживает полного доверия потому, что вполне подтверждается как признаниями самого Герцена, так и воспоминаниями А. П. Пятковского. По словам Огаревой, следующее свидание Герцена и Гюго состоялось в театре: «Не могу вспомнить, какую пьесу давали на этот раз, только помню, что Герцен особенно желал, чтобы я шла тоже с ними [с Герценом и их дочерью Лизой], и я подчинилась этому настоящему требованию. Александр Иванович взял внизу три места, нам было очень хорошо и видно и слышно. Виктор Гюго был тоже в театре, в бель-этаже, в директорской ложе. Увидав Герцена, он послал своих сыновей звать нас в ложу, мы очень благодарили, но не пошли. Однако, Виктор Гюго послал сыновей вторично за нами; тогда Герцен мне сказал по-русски: „Нечего делать, надо итти“. Вот как мне пришлось совсем неожиданно познакомиться с таким выдающимся писателем, как Виктор Гюго. Признаться, несмотря на мое смущение, я была рада этому случаю, но вместе с тем боялась разочарования, что отчасти и сбылось. Вероятно, я была слишком требовательна: хотела видеть в глазах, в чертах все, что меня поразило, потрясло в сочинениях». «Виктор Гюго был очень любезен. В ложе, кроме его сыновей, находилась бывшая гувернантка его детей, которая сопровождала его повсюду»³⁵. Через несколько дней Виктор Гюго прислал Герцену приглашение на обед и звал и меня с дочерью»³⁶. О свидании Герцена с Гюго в театре вспоминает и А. П. Пятковский, но из его слов выходит, что этому свиданию предшествовал визит Гюго к Герцену в отель, где последний в то время жил с Огаревой и дочерью Лизой. Вот что пишет А. П. Пятковский: «В этом отеле мне пришлось быть у него [Герцена] не больше 2—3 раз, причем мы уходили гулять в большой городской сад. Помню, что как-то по возвращении из сада Герцену подали клочок бумажки от гостя, весьма сожалевшего, что не застал его дома. Пожалел об этом и я: на лоскутке было написано крупным размашистым почерком: Victor Hugo, и, таким образом, я лишился удобного случая познакомиться лично с автором „Notre-

Dame de Paris“. Несколько дней спустя я видел его только мельком в ложе Брюссельского театра. Герцен был с ним в очень хороших отношениях и, зайдя во время антракта, долго и дружески беседовал с ним³⁷. День встречи в театре определить трудно, но зато даты посещений Герценом Гюго определяются точно.

В письме к Н. А. Огаревой от 15 августа 1869 г. Герцен писал: «...отгадай, у кого я сидел третьего-дня утром, у кого вчера обедал и к кому иду обедать завтра и читать отрывок из „Былого и дум“ ... самолично у Виктора Гюго. Я нашел в нем любезнейшего старика; принял он меня превосходно; говорит много, но чрезвычайно умно и слогом, который лучше его печатных фейерверков. Он приехал сюда недели на две с сыновьями. У него я познакомился с Клараном, который написал славную книжку „Les derniers Montagnards“ (1796), и еще кое с кем; вообще, вечер провел хорошо. Гюго 67 лет, но он свеж. Тхоржевскому скажи, что и даму видел, о которой он рассказывал³⁸. Теперь она совсем [слово не разобрано]. О Пьере Леру он рассказывал много очень дурного. Самое забавное в том, что он уверяет меня, что в „предстоящем“ конvente меня выберут членом. Затем безмерно хвалил французский язык моих статей, так же решительно, как Кине; советует мне издавать „Былое и думы“. Сыновья его ничего...»³⁹

Брюссельские встречи «собратьев-изгнанников» были последними: 18 августа 1869 г. Герцен уехал в Париж и умер там меньше чем год спустя.

За четыре года до этих встреч, в мае 1865 г., Виктора Гюго посетил в Гернси другой «изгнанник», известный русский эмигрант 60-х годов князь Петр Владимирович Долгоруков. Своеобразная и яркая личность этого «князя-республиканца», как его назвал однажды А. И. Тургенев, в общих чертах достаточно известна, чтобы нужно было здесь на ней подробно останавливаться. Страстный изобличитель петербургской самодержавной камарильи, убежденный сторонник введения в России ограниченной монархии и других буржуазных реформ, Долгоруков, вместе с тем, по слову его биографа, «никогда не мог отрешиться вполне от пережитков идеологии крупного феодала, всегда оставался князем Рюриковичем» и не уставал при каждом удобном случае подчеркивать, что «знатностью происхождения он не имеет себе равных в России и что даже царствующая фамилия в этом отношении должна уступить первое место ему, отпрыску древнейшей династии». Кельсиев иронически говорил про Долгорукова, что «неловко себя чувствовал в присутствии претендента на императорский престол», а Суворин, высмеивая родословное тщеславие «князя-республиканца», писал в 1868 г.: «наш эмигрант так часто оповещал иностранную публику о своем происхождении от Рюрика, что в этом повторительном приеме я позволю себе видеть не одно тщеславие»⁴⁰. Говоря так, Суворин, конечно, имел в виду в первую очередь разоблачительную брошюру Долгорукова «Notices sur les principales familles en Russie» и его известную книгу острого памфлетического стиля «La Vérité sur la Russie», вышедшую в 1860 г. в двух французских изданиях и наделавшую как в России, так и за границей много шума. Можно предполагать, что Гюго читал эти или другие издания и памфлеты Долгорукова и, во всяком случае, был осведомлен об их авторе. В письме к сыну Франсуа Виктору от 8 мая 1865 г. Гюго пишет: «Князь Долгоруков, который, как тебе известно, является законным императором московитов и русским Стюартом, написал резкую книгу против Луи Бонапарта. Он превозносит меня в ней. Я написал ему несколько благодарственных

слов. В ответ он едет ко мне с визитом в Гернси. Он приезжает завтра»⁴¹.

Свидание, действительно, состоялось, как мы узнаем об этом из двух еще не появлявшихся в печати записей Гюго в его «записной книжке» («Carnet») за 1865 г.

Перевод:

9 мая. Князь Петр Долгоруков пишет мне и извещает о своем визите. Он приехал сегодня утром, 9 мая. Он остановился в отеле Marchal. Я пригласил его обедать у меня каждый день в течение всего его пребывания здесь, которое продлится три дня.

12 мая. Долгоруков попросил меня написать мое имя на камне-гальке. Я написал: Петру Долгорукову. Виктор Гюго. 1865. S p e s i n R e P u b l i c a⁴².

Каково было содержание бесед Гюго с Долгоруковым в течение четырехдневного пребывания «князя-рефюжье» в Гернси? Мы этого не знаем, но несомненно, что речь шла в первую очередь о той «резкой книге против Луи Бонапарта», которую Долгоруков преподнес Гюго и в которой его восхвалял. Книга эта—«La France sous le régime Bonapartiste»—вышла в 1864 г. в Лондоне в двух выпусках. Долгоруков подвергал в ней жестокой критике весь бонапартистский режим, обрушиваясь в первую очередь на Наполеона III. Естественно, что эта книга представляла для Гюго особый интерес и не столько потому, разумеется, что он нашел в ней панегирики себе самому. В Долгорукове Гюго обретал нового союзника по борьбе с ненавистным ему императором Франции⁴³.

Крупнейшим событием творческой жизни Гюго всего периода его изгнания был, конечно, выход в 1862 г. «социального романа» «Отверженные» («Les Misérables»). Переведенный по корректурным листам одновременно на девять различных языков, роман этот сразу появился в Париже, Брюсселе, Лондоне, Нью-Йорке, Мадриде, Берлине, Вене, Турине. Герцен тотчас же познакомился с первыми томами нового произведения и нашел, что роман «очень хорош»⁴⁴. Впечатления от чтения «Отверженных» были столь сильны, что вполне заслонили для Герцена некогда столь же яркие впечатления от «Notre-Dame». Начиная с 1862 г., в статьях и письмах Герцена тянется длинный ряд упоминаний об этом романе и его отдельных героях, положениях, выводах. Герцен внимательно следил за шумными овациями, которыми сопровождалось появление на свет этого произведения. Он говорит, в частности, о том банкете в честь В. Гюго, какой дан был ему в Брюсселе 16 сентября 1862 г. по случаю выхода в свет «Отверженных» и который принял характер бурной политической демонстрации против бонапартистской монархии⁴⁵; для него, как, впрочем, и для многих других, имена Жан-Вальжана, Жавера, Гавроша тотчас же становятся именами нарицательными, сразу выражающими некую сумму человеческих качеств и внешних признаков. Тем не менее, признание Герценом романа Гюго было далеко не безусловным. Отдавая должное огромному общественному значению романа Гюго, Герцен не соглашался ни с его конструкцией (иронически называя его «романом-омнибусом» за его размеры и бесформенность), ни с наивностью некоторых из его мотивировок, ни с фальшью отдельных его психологических характеристик. Тонкую критику отрицательных качеств романа как художественного целого Герцен дал в

Hannover le 30th 1862

Mon cher Monsieur,
ce n'est pas un homme esprit
indépendant que nous sommes.
Je réponds tout de suite
à vos questions. Si possible
serons faits. Si ce n'est
que nous est d'arriver
à l'assurance, en tout.
Comprendez, je suis
certes. Bonne nuit,
et je suis tout d'arriver
à tout les distances d'arriver
de tout d'arriver. C'est
d'arriver à tout d'arriver
de tout d'arriver.
Yours truly
H. F. Lenz

Via Lencoe
150
18
2

Son Excellence M^{re} le Conseiller d'Etat
actuel W. de Lenz
Maison Geliusschill
rue de l'Espérance
Russie
St. Peterbourg

АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО К В. Ф. ЛЕНЦУ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 1862 г.

Внизу конверт с адресом Ленца, написанным неизвестной рукой

«Концах и началах», напечатанных в «Колоколе» в том же 1862 г. Гюго мог читать этот отзыв о своем произведении во французском издании «Колокола», которое он получал. «Мы слишком мало французы,—писал Герцен,—чтобы понимать такие идеалы каторжников, как Жан-Вальжан, и сочувствовать таким героям полиции, как Жавер. Жавер для нас просто отвратителен. Вероятно, Гюго и не думал, чертя эту совершенно национальную фигуру, шакала порядка, какое клеймо он выжиг на плече своей „прелестной Франции“. В Жан-Вальжане нам только понятна его внешняя борьба доброго, несчастного зверя, травмированного целым гонимым обществом. Внутренняя борьба его для нас остается посторонней; этот сильный человек мышцами и волей, в сущности, чрезвычайно слабый человек. Святой каторжник, Илья Муромец из тулонских галер, акробат в пятьдесят лет и влюбленный мальчик чуть не в шестьдесят, он исполнен суеверия. Он верует в клеймо на плече; он верует в приговор; он верует, что он—отверженный человек оттого, что тридцать лет тому назад украл хлеб, да и то не для себя. Его добродетель—болезненное раскаяние; его любовь—старческая ревность. Натянутое существование его поднимается до истинно-трагического значения только в конце книги, от бездушной ограниченности Козеттина мужа и безграничной неблагодарности ее самой»⁴⁶. Нужно было иметь зоркий глаз и острое критическое чутье, чтобы с такой лаконичной яркостью вскрыть неудачи художника в тот самый момент, когда восторги от его произведения были повсеместны и казались безграничными. Но стоило Герцену узнать, что в России роман не пропускают, что цензурное ведомство получило на этот счет строгие приказания,—Герцен тотчас же, в том же «Колоколе», пишет гневно-иронический протест в защиту романа Гюго, его свободного обсуждения. Заметка «Колокола» озаглавлена: «Ah! les misérables!» [О, нищие духом!]. «Представьте себе, что наши мизерабли запретили роман Гюго... Им, вероятно, не понравилось описание парижских клоак—они это приняли за личность... Какое жалкое и гадкое варварство»⁴⁷. Герцен, как всегда, информирован был вполне точно. Действительно, в длинной истории цензурных мытарств произведений Гюго в России его «Отверженным» будет отведена одна из интереснейших глав. Эта история стоит того, чтобы на ней вкратце остановиться.

Шумный успех «Отверженных» во всей Европе тотчас же откликнулся и в России, но попытки публикации отрывков из него в русских периодических изданиях были немедленно же приостановлены; так, цензор Ф. П. Еленев, пропустивший отрывок из романа в журнале «Русский Мир», немедленно получил строгий выговор; последующие попытки напечатать этот роман в России безжалостно пресекались.—По воспоминаниям председателя Петербургского цензурного комитета В. А. Цее, инициатором этой борьбы был сам Александр II; исполнителем «высочайшей воли»—министр народного просвещения А. В. Головнин. В письме от 10 апреля 1862 г. Головнин сообщал Петербургскому цензурному комитету: «Государю угодно, чтобы в случае перевода романа Victor Hugo „Les Misérables“ цензура строго рассматривала смысл разных происшествий, описанных автором с большим талантом и потому сильно воздействующих на читателя». В последующих бумагах Головнин подтверждал, что «государь требует особенно строгого цензурования романа V. Hugo» и что «внимание его величества было обращено на сцену епископа и члена Конвента...». 3 июля того же года Головнин писал: «в последствие сообщенного запрещения продолжать печатание в повременных изданиях перевода ро-

мана В. Гюго „Les Misérables“, я не нахожу возможным издание ныне отдельными книжками тех частей романа, которые уже были помещены в журналах и газетах»⁴⁸. Судьба романа была решена. Таким образом, Герцен метил высоко, издаваясь над российскими «мизераблями».

Однако, ни усиление цензурного нажима, совпавшее в России с появлением романа Гюго и вызванное, помимо всего прочего, такими событиями, как появление прокламации «Молодая Россия» (1862) и знаменитыми петербургскими пожарами (май 1862 г.), ни настойчивые заботы русского правительства лишить русского читателя перевода этого романа, не смогли уменьшить огромного к нему интереса. Его читали у нас по-французски, привозя экземпляры из-за границы, и они ходили по рукам, вызывая споры и восторги; находились, конечно, и хулители романа, но их было меньшинство. В дневнике Е. А. Штакеншнейдер (1863) находим следующую запись: «Если бы „Мизераблей“ не хвалили, их бы можно было довольно спокойно дочитать до половины и отложить в сторону, как скучный роман, но все хвалят—и рождается отвращение к нему; мало, что отвращение: становится тяжело...» «Вот что возмущает меня в „Мизераблях“. Это наслаждение, с которым Гюго ковыряет раны без нужды. Для таких больных, для таких епervés, как французы, это возбуждательное средство, а здоровых тошнит»⁴⁹. Другим, напротив, нравилось это обнажение всех язв общественной жизни, высокий пафос, с которым художник пытался восстановить погибшего человека.

Среди таких читателей был Ф. М. Достоевский. Путешествуя за границей, Достоевский, по свидетельству Н. Н. Страхова, проглатывал в неделю 3—4 тома только что появившихся «Les Misérables»—«великую вещь»⁵⁰. Преклонение Достоевского перед этим романом осталось у него до конца жизни. В 1863 г. в письме к А. П. Милюкову Достоевский просит одолжить ему роман Гюго, перечитывает его в Дрездене в 1867 году. А. Г. Достоевская пишет в своем дневнике: «Зашли в библиотеку, взяли „Les Misérables“—роман, перед которым преклоняется Федя...» «Федя чрезвычайно высоко ставит это произведение и с наслаждением его перечитывает. Федя указывал мне и разъяснял многое в характерах героев романа»⁵¹. Свидетельство Вс. С. Соловьева, что Достоевский «до последних дней восхищался этой книгой»⁵², вполне точно и подтверждается множеством других данных. Он писал С. Е. Лурье 17 апреля 1877 г.: «Les Misérables я очень люблю сам. Они вышли в то время, когда вышло мое Преступление и Наказание (т. е. они появились 2 года раньше). Покойник Ф. И. Тютчев, наш великий поэт, и многие тогда находили, что Преступление и Наказание несравненно выше Misérables. Но я спорил со всеми и доказывал всем, что Les Misérables выше моей поэмы, и спорил искренно, от всего сердца, в чем уверен и теперь, вопреки общему мнению всех наших знатоков». О том же писал Достоевский и Х. Д. Алчевской (9 апреля 1876 г.), говоря, что в «Отверженных» Гюго «дал такие удивительные этюды, которые, не было бы его, так бы и остались совсем неизвестными миру»⁵³. В трудные минуты творчества Достоевский часто вспоминал эти «удивительные этюды», к которым, вероятно, тянутся многие страницы «Братьев Карамазовых»⁵⁴.

И Достоевский был не один. П. Д. Боборыкин был прав, вспоминая о том, как «прогремел» в России роман Гюго, и утверждая, «что он едва ли надолго не остался самым популярным у нас, вплоть до 70-х годов»⁵⁵. Его читали в казематах и пересыльных тюрьмах, где

томилась молодежь, жаждавшая обновления России⁵⁶, его читали в интеллигентных семьях в столицах и в провинциях, в чиновных кругах; роман можно было встретить на рабочих столах всех почти русских писателей и журналистов... Какие сочинения Виктора Гюго известны всей читающей Европе?—спрашивал Д. И. Писарев и отвечал вполне правильно для начала 60-х годов: «не лирика и трагедии, а „Notre-Dame“ и „Les Misérables“».

В конце века, отвечая на вопрос М. М. Ледерле, какие книги оказали на него влияние, Лев Толстой в перечне книг, оказавших на него влияние между 20 и 35 годами его жизни, отметил «Notre-Dame de Paris»—«очень большое», а в возрасте от 35 до 50—«Les Misérables»—«огромное». Влияние «Отверженных» можно проследить в русской литературе вплоть до «Воскресения»⁵⁷. В нашу задачу не входит наметить все вехи этого влияния, указать многообразные следы успеха и значения этого романа в русской общественной среде. Нам необходимо было подчеркнуть, что факт систематического запрещения «Отверженных» в России, своевременно сигнализированный в «Колоколе», ни в какой мере не повредил широкой популярности этого романа. Пожалуй, наоборот—он повысил интерес к «опасному» произведению Гюго, повысил в такой же мере, как частые цитации Гюго в «Колоколе» повысили в русском обществе интерес к личности великого французского поэта. Борьба царского правительства с Гюго была в то же время борьбой с мученическим ореолом изгнанничества и жертвенного служения общественному благу. Распространенность «Колокола» в России увеличивала знакомство с Гюго как с политическим деятелем и трибуном. Русские люди того поколения, приветствовавшие Герцена письмами, от которых у него, по его словам, «слезы навертывались на глаза», и забрасывавшие его корреспонденциями со всех концов России, обращались также и к Гюго. О двух посвященных Гюго стихотворениях Лаврова, которые Герцен напечатал в «Голосах из России» и, по поручению автора, послал Гюго в Гернси, о просьбе «русского офицера» к Гюго написать воззвание к русской армии в разгар польского восстания, мы уже знаем. Но есть все основания предполагать, что писем, отправленных Гюго из России, было в ту эпоху много больше. Архив Гюго, вероятно, хранит эти любопытные документы. Мы догадываемся о них по нескольким дошедшим до нас, еще не изданным ответным письмам Гюго к его русским корреспондентам 60-х годов. Эти письма интересны, несмотря на то, что они являются образцами ответов Гюго на далеко не важнейшие в историческом смысле обращения к нему русских корреспондентов.

Одно из имеющихся в нашем распоряжении писем Гюго было послано им в Петербург осенью 1862 г., следовательно, в самый разгар популярности его «Отверженных», но в нем не идет речь об этом романе, как не шла она и в том письме, на которое оно служило ответом. Письмо Гюго адресовано Василию (Вильгельму) Федоровичу Ленцу (1806—1883), «родовитому остзейцу и eo ipso русскому патриоту»⁵⁸, как его аттестует один из его петербургских знакомых,—тому самому Ленцу, который является автором известных «Приключений лифляндца»⁵⁹ и который в 50—60-х годах славился как незаурядный музыкальный критик. Европейскую известность заслужила ему его книга «Бетховен и три его стиля», написанная по-французски и несколько раз издававшаяся в Петербурге и за границей⁶⁰. Ленц был, несомненно, образованным, хотя, быть может, и недостаточно

Victor Hugo.

ESTABLISHED 1848.

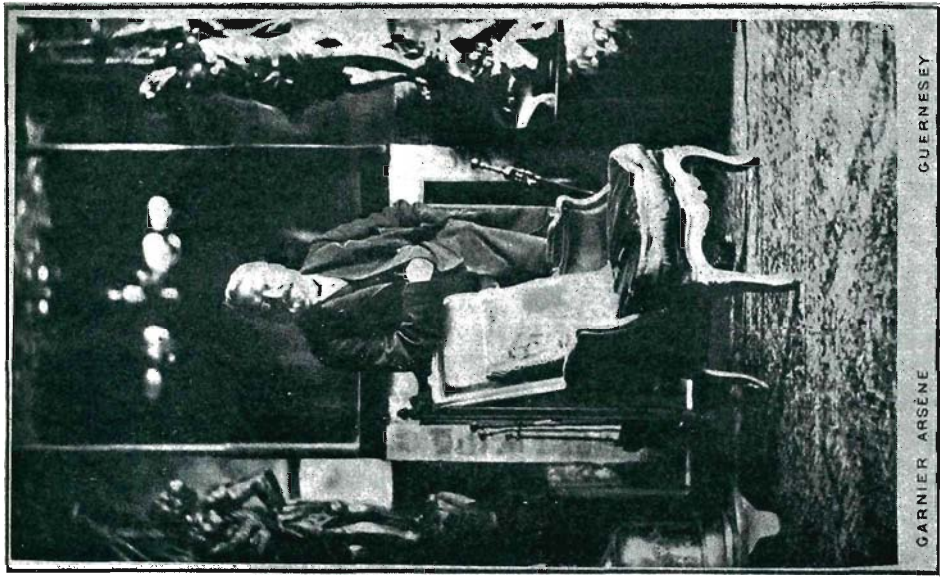
GUERNESEY

Paris - 20 Dec
1891



Garner's
Photographic Establishment

Garner's Photographic Establishment to be disposed of immediately valued £1000. A real treasure is laid open to the purchaser



ВИКТОР ГЮГО

фотография Гарнье, снятая на о. Гернси

На обороте подпись Гюго и его же рукою дата: «Париж, 20 декабря 1871 г.»

Публичная библиотека; Ленинград

чутким ценителем музыкального искусства, восторженным почитателем Бетховена, «бетховенской химерой», как этого «сумасбродного панегириста» великого композитора шутя называл А. Н. Серов. В. Ф. Ленц служил в Петербурге на гражданской службе (во II отделении «собственной его величества канцелярии»), вращался в музыкальных кругах столицы, дружил с гр. Вьельгорским, Гензельтом. Еще во время своих заграничных путешествий в 30—40-х годах он близко познакомился с рядом европейских музыкальных знаменитостей—с Россини, Мендельсоном, Шопеном, Крамером, Берлиозом, Листом—и с некоторыми из них в течение многих лет поддерживал переписку⁶¹. Нечего и говорить, что он неравнодушен был ко всякой европейской новости в области искусства и литературы, сам сотрудничал в русских изданиях, выходивших на иностранных языках, искал встреч и бесед со всеми европейскими знаменитостями, заезжавшими в русскую столицу. Так, например, он сам упоминает в своих воспоминаниях, что «случайно» находился у Бальзака во время пребывания его в Петербурге в 1843 г., и рассказывает по этому поводу правдоподобный анекдот о том, что ответил Бальзак на приглашение одной из великосветских дам⁶². Еще интереснее для нас свидетельства самого Бальзака, сообщавшего в письмах к Ганской о том обеде в Роше де Канкаль, который он устроил для находившегося в Париже Ленца (27 октября 1842 г.), вынужденный к этому его бестактной назойливостью. Бальзак пригласил на этот обед Виктора Гюго и Леона Гозлана и вспоминает, что Гюго «удивил» Ленца своим отзывом о Расине⁶³. Таким образом, Ленц, хотя и мимолетно, но лично был знаком с Виктором Гюго. По какому поводу Ленц обратился теперь к Гюго на о. Гернси—нам неизвестно. Из ответного письма Гюго можно догадаться, что к этому письму Ленца была приложена одна из его книг, скорее всего, его труд о Бетховене; нужно думать, однако, что это был лишь предлог для получения автографа знаменитого поэта, о романе которого шумел тогда весь Петербург. Приводим письмо В. Гюго⁶⁴.

Перевод:

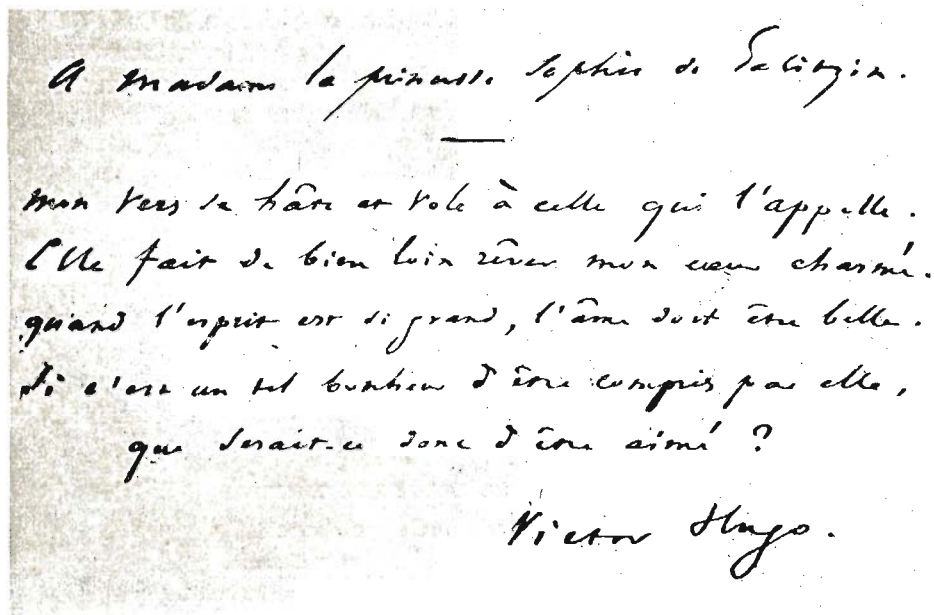
Hauteville-house, 30 сентября 1862 г.

Ваше письмо, милостивый государь, исходит от очаровательного ума и очаровательного человека. Отвечаю вам тотчас же на ваш столь изящно предложенный вопрос: скажите, что *ночь* является синонимом *не в е д е н и я*, и вы все поймете. Я, конечно, прочту вашу книгу и уверен, что найду в ней всю тонкость, достойную вашей осведомленности. Прошу вас принять уверения в моих наилучших чувствах.

Виктор Гюго

В конце 60-х годов, уже в Брюсселе, Гюго получил ряд писем от одной русской дамы, но уже не из России, а из Парижа. Эти письма должны были ему напомнить о встречах с нею за тридцать лет перед тем, встречах, о которых в его памяти должны были сохраниться заметные следы; так позволяют нам думать и ответные письма Гюго и дошедшие до нас более ранние письма к этой корреспондентке, которые позволяют выделить их встречи из ряда обычных великосветских знакомств Гюго и обязывают к большему вниманию. Эта русская дама была княгиня Софья Петровна Голицына. К сожалению, мы знаем о ней не много, и вообще весь этот «русский эпизод» в биографии Гюго заключает в себе много темных мест.

Дочь камергера Петра Федоровича Балк-Пóлева Софья Петровна Голицына (1806—1888) с 1824 г. была замужем за кн. А. М. Голицыным⁶⁵ (1792—1863), флигель-адъютантом, впоследствии (с 1846 г.) витебским, моголевским и смоленским генерал-губернатором и, наконец (с 1853 г.), сенатором⁶⁶. В 20-х и 30-х годах С. П. Голицына блистала в светском обществе Петербурга, но нередко отлучалась в Париж и жила здесь подолгу. В Петербурге она слыла одной из первых красавиц; ее прозвали здесь «Ревеккой», по имени героини вальтер-скоттова романа «Айвенго», и «Багряницей»—«по пристрастию к ярким цветам и некоторой торжественности в обстановке»⁶⁷. В 1836 г., в один из ее приездов в Россию, П. А. Вяземский встретил ее однажды на многолюдном балу у австрийского



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ГЮГО, ПОСВЯЩЕННОГО С. П. ГОЛИЦЫНОЙ
 Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

посланника в Петербурге и писал об этом А. Я. Булгакову: «Сюда приехала Голицына-Балк, парижская красавица, слишком красавица, даже багряница: много блеску и что-то царственное, иудейская царица...»⁶⁸ Голицына не чуждалась литературы и искусства; в ранней молодости, как мы узнаем из двух обращенных к ней посланий салонного стихотворца кн. П. И. Шаликова, она сама писала стихи⁶⁹. Но опыты стихотворства, повидимому, скоро были оставлены Голицыной,—она предпочла играть роль вдохновительницы поэтов. Ей посвящено стихотворение Н. М. Языкова (1845), которое поэт написал, по уверению Д. Н. Свербеева, по одному лишь его приглашению, «никогда ее не видав и не имея о ней никакого понятия»:

Я слышал, что вы и прекрасны, как роза,
 И милы, как роза, утеха полей,
 Что жизни полдунной и скука и проза
 Чуждаются вас, как полдневных лучей

Чуждается полночь; что так же прекрасны
 Вы сердцем, как прелестью вы расцвели,
 Что чувства и мысли в вас тихи и ясны,
 Как вешнее небо, веселье земли...⁷⁰

Когда и при каких обстоятельствах познакомился с Голицыной В. Гюго, мы не знаем; предположительно это знакомство можно отнести к 30—40-м годам. Живя в Париже, Голицына, подобно другим представительницам русской знати, имела обширные знакомства в ученом и литературном мире; в альбоме ее и сохранившихся бумагах есть много свидетельств того внимания, которое оказывали ей парижские литературные знаменитости. Рядом с автографическими письмами Ламартина и Сальванди мы находим здесь ряд стихотворений, написанных по ее просьбе или ей посвященных. Среди всех этих стихов Марселины Деборд-Вальмор, Леона де Вайи («Chanson parolitaine»), Ж.-П. Вьенне, Теофиля Феррьеера и многих других сохранились стихи и записки В. Гюго. Первая записка⁷¹ заключает в себе лишь несколько слов, смысл которых остается не вполне ясным:

Перевод:

Пришлите мне ваш. Увы! Почему у меня нет черных волос.

В.

Скорее всего следует предположить, что речь здесь идет о портрете Гюго, о котором просила Голицына и который, очевидно, был ей послан в сопровождении этой записки, содержащей, в свою очередь, просьбу о присылке ее портрета.

Другой автограф—альбомные стихи. Судя по почерку, их можно отнести к началу 40-х годов⁷².

À MADAME LA PRINCESSE SOPHIE DE GALITZIN
 Mon vers se hâte et vole à celle qui l'appelle.
 Elle fait de bien loin rêver mon cœur charmé.
 Quand l'esprit est si grand, l'âme doit être belle.
 Si c'est un tel bonheur d'être compris par elle,
 Que serait-ce donc d'être aimé?

Victor Hugo

Это поэтическое полупризнание в любви отошло уже в далекое прошлое— миновало около тридцати лет,—когда Голицына, ставшая для Гюго почти «незнакомкой», вновь напомнила о себе. В августе 1868 г. в Брюсселе умерла жена Гюго, и Голицына, узнав об этом, не замедлила выразить старому другу свое сочувствие, послав ему письмо (оно остается неизвестным). В ответном письме Гюго писал⁷³.

Перевод:

Брюссель, 13 сентября [1868 г.]

Ваша душа, сударыня,—прекрасная и великая душа. Ваши слезы осушают мои слезы. Отныне незнакомый друг превращается в друга предпочитаемого. Это ваше сердце посылаете вы мне; растроганный, я его принимаю. Я плачу, но та, которая умерла, тоже великая душа, вам улыбается.

У ваших ног.

Виктор Г.

С. П. ГОЛИЦЫНА

Портрет маслом неизвестного
художника, 1840-е гг.

Местонахождение подлинника неизвестно



Был ли этот ответ началом их возобновившейся переписки? Мы не можем этого сказать с уверенностью, но до нас дошло еще одно письмо Гюго к Голицыной, которое, как будто, это подтверждает. К сожалению, оно не датировано. Стих, который приводит Гюго в начале письма, взят из его «Châtiments» («Ultima verba», 1853), где поэт, не желая помириться с империей Луи-Наполеона, написал знаменитые слова, столько раз цитированные и Герценом: «Если останутся десять французов в изгнании, я буду в их числе; если останется один, то этот изгнанник буду я. Я не возвращусь иначе, как в свободную Францию». Мы знаем, действительно, что поэт был непреклонен; он отказался вернуться на родину после общей амнистии (15 августа 1859 г.) и, подобно Эдгару Кине, Луи Блану, Шара и другим, выступил с протестом, обнародованным тотчас же вслед за этой амнистией; мы знаем, что Гюго отказался воспользоваться и второй амнистией—1869 г. К 1859 или 1869 г. относится нижеследующее письмо Гюго, посланное им Голицыной в ответ на ее приглашение вернуться во Францию? Сходство почерков и прозрачной голубой бумаги, на которой написаны это письмо и письмо из Брюсселя, приведенное выше, заставляет нас принять последнее предположение. Оно написано, вероятно, в 1869 г.⁷⁴

Перевод:

19 сентября [1869 г.?]

Вспомните этот стих:

Et, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.

И вы, сударыня, столь же благородная, как и добрая, вы будете первая, кто мне скажет: нет, не возвращайтесь! Какими оковами является долг, если он сильнее вашего приказания! Вы—очаровательны. Все, что вы говорите, имеет совершенную прелесть сердечности. День, в который я

возвращусь во Францию,—если вы еще будете там,—какой это будет радостный день для меня!

Я принесу тогда повиновение вашему тонкому и гордому уму. Это ничего не будет стоить моей совести, и я положу к вашим ногам, сударыня, свое долгое изгнание. Целую вашу руку.

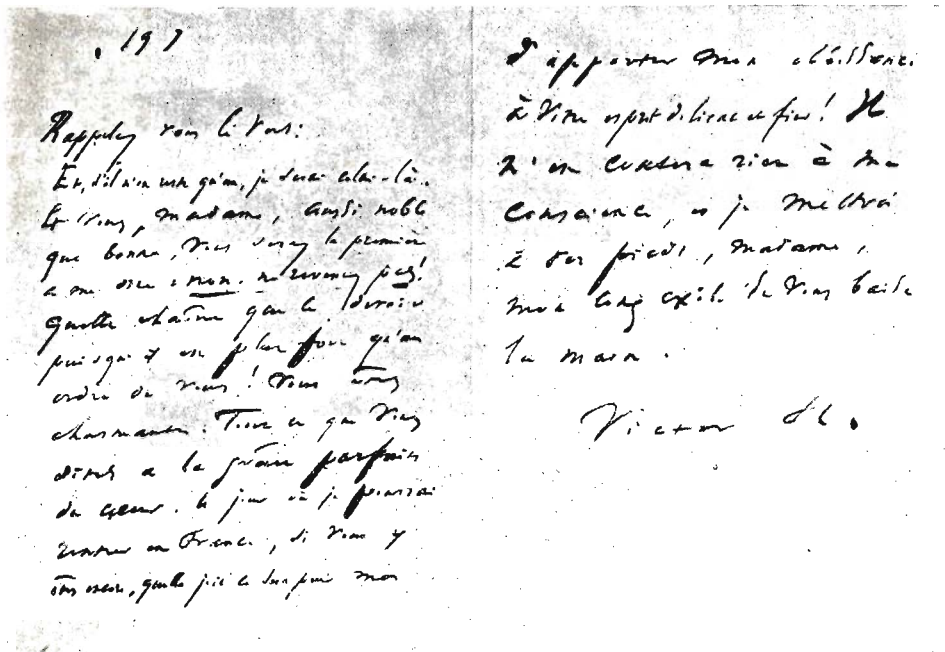
Виктор Г.

О дальнейшей переписке и возможных встречах Гюго с Голицыной мы ничего не знаем⁷⁵. Но знаем зато, что Гюго вернулся, действительно, только в освобожденную Францию—через год после этого письма.

О брюссельской жизни Гюго существует интересный русский источник: воспоминания о встрече с ним М. А. Загуляева. Автор этих воспоминаний, затерявшихся на страницах малоизвестного журнала, был в свое время довольно примечательной фигурой литературного Петербурга, и его рассказы о встречах и беседах с Гюго заслуживают внимания.

М. А. Загуляев (1834—1900), по свидетельству А. С. Суворина, «был сыном офицера, выслужившегося из солдат, но мать его была урожденная княжна Мышецкая»⁷⁶. О юных годах этого довольно известного впоследствии писателя, публициста и переводчика, равно как и о том, откуда он вынес превосходное знание французского языка и увлечение французской культурой, у нас очень мало данных. Известно, что он был офицером морской артиллерии и что рано почувствовал склонность к литературной работе; первые его статьи появились в конце 50-х годов в «Морском Сборнике», а затем и в «Сыне Отечества»⁷⁷. Вскоре он бросил военную службу и всецело отдался журнальной деятельности; в первой половине 60-х годов он служил библиотекарем в департаменте министерства народного просвещения, одновременно сотрудничая в «Сыне Отечества», «Библиотеке для Чтения», «Русском Мире», «Голосе», «Journal de St.-Pétersbourg» и других изданиях⁷⁸. Специальностью Загуляева вскоре сделались обозрения иностранной политической жизни; он, впрочем, охотно писал также на литературные и театральные темы. Современники его вспоминают, что фельетоны его об иностранной жизни и литературе «читались очень бойко и ожидались читателями „Голоса“ с нетерпением». В обществе петербургских литераторов и журналистов Загуляев «довольно резко выделялся и своею внешностью и своей манерой говорить»: «одетый всегда с иголочки, вытянутый в струнку, в высшей степени корректный в обращении и в выражениях, Загуляев скорее походил на дипломата, нежели на публициста и фельетониста. Его называли не иначе, как «русский француз» или «француз из „Голоса“»⁷⁹. Рьяный почитатель Франции и французов, он любил, при каждом удобном случае, ссылаться на пример Франции и в своей публицистической деятельности пропагандировал французский буржуазно-демократический строй. Архив М. А. Загуляева, хранящийся в Институте литературы Академии наук СССР, свидетельствует об обширности связей его владельца с русскими и французскими писателями и политическими деятелями⁸⁰. «Очень был хороший человек,—свидетельствует о нем А. С. Суворин,—превосходный работник, никогда не изменявший своим принципам; любил говорить о своей дружбе с Гамбеттой и французскими знаменитостями. Аккуратности и точности был необыкновенной»⁸¹. Западные знакомства Загуляева укрепились благодаря его поездкам за границу и, в особенности, благодаря его сотрудничеству в брюссельской либеральной газете «Indépendance Belge», петербургским корреспондентом которой он состоял до 1870 г. Эта газета

пользовалась тогда большим влиянием во всей Европе, главным образом, благодаря ее обширным и очень интересно составленным парижским корреспонденциям. Условия, в которых находилась в конце 60-х годов французская печать, подчиненная системе карательной цензуры с ее предостережениями, приостановками изданий и запрещением уличной продажи, заставляли все фракции антидинастической оппозиции сосредоточивать свою полемику в газетах, издававшихся на французском языке вне пределов Франции. «Indépendance Belge» являлась самым влиятельным и наиболее распространенным органом этой полемики. «Все, что не решились бы печатать французские газеты времен Второй империи,—вспоминает сам Загуляев,—находило себе приют в Брюсселе».



АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО К С. П. ГОЛИЦЫНОЙ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 1869 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

сельском издании, которое вследствие этого имело массу подписчиков во Франции. Очень была распространена „Indépendance Belge“ и в России, хотя мои петербургские корреспонденции сплошь и рядом подвергались у нас цензурным помаркам»⁸².

В конце 1868 г. обстоятельства, связанные с постоянным сотрудничеством Загуляева в этой газете, заставили его отправиться на несколько дней в Брюссель. Эта поездка была его первым непосредственным соприкосновением с политическим Западом накануне краха Второй империи. Двадцать лет спустя Загуляев подробно описал и свое знакомство с членами редакции «Indépendance Belge» и свои встречи с французскими эмигрантами⁸³, для которых Брюссель являлся в то время основным организационным центром политической борьбы со Второй империей, уничтожения которой они добивались, всячески подрывая ее, впрочем, иллюзорную мощь. В самом деле, к концу 60-х годов уже явственно обозначились

первые признаки того кризиса, который должен был привести Францию Наполеона III к поражению при Седане; в общем складе ее внутривосточной и гражданской жизни уже появились весьма заметные для внимательного глаза роковые признаки разложения. Естественно то любопытство, с которым Загуляев, попав в Брюссель, приглядывался к французским эмигрантам, в среде которых он оказался тотчас же по своем приезде в бельгийскую столицу. Редактором-издателем «*Indépendance Belge*» был Леон Берарди, «уроженец Марселя, искренний ненавистник Наполеона III»⁸⁴. Берарди был в это время одним из самых видных и влиятельных журналистов Европы. По свидетельству Загуляева, Берарди «собирал в своей гостиной министров, посланников, знаменитых писателей, живописцев, музыкантов и т. п. Глава тогдашнего либерального (а следовательно, и вольномыслящего) бельгийского министерства Фрер-Орбан встречался дружески в этой гостиной с папским нунцием Печчи (будущим папой Львом XII),... Виктор Гюго соперничал в остротах с клерикалом Дюмортье, одним из основателей независимости Бельгии, знаменитый теоретик музыки Фетис спорил с покойным князем Орловым о Рихарде Вагнере, а бельгийский Рафаэль, живописец Лейс, приходил в наивный ужас от развиваемых бархатным голосом и в утонченно-изящных выражениях теорий знаменитого Армана Барбеса, главы красных французских республиканцев...».

Секретарем редакции «*Indépendance Belge*» был Камилл Беррю, один из «мужей изгнания», описанных Шарлем Гюго в его книге, носящей это заглавие («*Les hommes de l'exil*»). «Веселый, сердечный и отважный» Беррю, как его аттестует Виктор Гюго в «*Histoire d'un crime*»⁸⁵, по словам близко познакомившегося с ним Загуляева, «представлял собою крайне интересный и симпатичный образчик тех добродушно-искренних французских республиканцев 1848 г., которые никогда не называли императора Наполеона III иначе, как „се coquin de Bonaparte“ [этот мошенник Бонапарт], утверждали, что Франция не может быть спасена иначе, как гибелью на гильотине „двухсот тысяч бонапартистов“, и не в состоянии были бы обидеть мухи в обыкновенное время, по своему безграничному мягкосердечию, хотя ни минуты бы не задумались сложить свои головы в уличном бою на баррикадах, если бы для этого представился случай».

Именно через посредство Камилла Беррю Загуляев познакомился и с Виктором Гюго. Об этом знакомстве Загуляев рассказал дважды: в одном из своих фельетонов в «Новом Времени» за 1885 г., и в своих «Воспоминаниях журналиста», напечатанных тремя годами позднее⁸⁶; в основном эти рассказы совпадают, но в более поздней редакции обставлены некоторыми новыми подробностями. У Загуляева осталось в памяти, что весь Брюссель 1868 г. был «одержим сильнейшим припадком „гюгопоклонства“, начавшимся со времени появления романа „*Les Misérables*“ и не ослабевшим даже после малого успеха „*Les travailleurs de la mer*“. Фотографические портреты Гюго виднелись в витринах всех книжных и эстампных лавок. На каждом шагу попадались вывески в роде „*Au petit Gavroche*“, „*Au gourdin de Jean Valjean*“ и т. п. На маленькой площади des Martyrs, перед домом, в котором жил Гюго, постоянно можно было встретить нескольких иностранных туристов, глазевших на окна его квартиры. Гюго принимал все это, как должное, и, окруженный толпою поклоняющихся ему родственников и друзей, почти постоянно позировал». В редакции «*Indépendance Belge*» Загуляева предупредили, что «великий поэт становится поло-

жительно невыносим», разыгрывая роль «политического титана», однако, по всеобщему мнению, среди брюссельских друзей Гюго был лишь один человек, в уютной квартирке которого «знаменитый изгнанник» держал себя иначе и «давал волю своему настоящему характеру добродушного старика и веселого собеседника»: это был Камилл Беррю, в присутствии которого «становились просто невозможными всякое притворство, всякая позировка».

«Виктор Гюго любил его искренно,—вспоминает Загуляев,—и, кажется, побаивался его ни перед чем не останавливавшейся откровенности. В небольшом кабинете Камилла Беррю на соборной площади св. Гудулы „политический титан“ становился снова простым смертным, не „вещал“, а разговаривал, выслушивая внимательно своих собеседников, позволяя противоречить себе и даже расспрашивая о разных малоизвестных ему вещах, от чего он обыкновенно воздерживается, из боязни поколебать свою сыздавна установившуюся во Франции репутацию громадной и всесторонней начитанности. Позднее мне приходилось встречаться и беседовать с Виктором Гюго еще несколько раз и при других условиях, но никогда и нигде уже не видал я его таким, каким явился он мне впервые, в скромной квартирке милейшего Камилла Беррю. Покойный хозяин этой квартиры (скончавшийся 22 июля 1878 г.) был чуть ли не единственным из приятелей поэта, не находившим никакой выгоды льстить ему и поклоняться его гению. Он искренно, горячо любил Гюго-человека и высоко ценил его, как одного из самых опасных противников Второй империи, которую сам Беррю ненавидел всюю своею душой. От него одного, из всех друзей Гюго, доводилось мне слышать не раболепные хвалы знаменитому писателю, а искреннюю оценку его качеств и недостатков, на которую не решался даже сам Анри Рошфор, нуждавшийся в то время в материальной поддержке Виктора Гюго и дружный с его вторым сыном Франсуа».

Эта интересная страница была опущена в расширенной редакции «Воспоминаний» Загуляева. Она любопытна для нас, между прочим, и тем, что устанавливает факт его не нескольких позднейших встреч и бесед с Гюго, повидимому, уже в Париже, если принять во внимание собственное заявление Загуляева, что он провел в Брюсселе «несколько дней» в декабре 1868 г. Зато во второй редакции своего рассказа Загуляев более подробно повествует об обстоятельствах своего первого визита к Гюго в Брюсселе и приводит много любопытных деталей о его семье и друзьях.

Виктор Гюго жил тогда в доме № 33 на площади Мучеников (Place des Martyrs). Загуляев вспоминает, что он «не без сердечного трепета поднимался по лестнице» упомянутого дома в сопровождении Камилла Беррю, взявшегося познакомить его «без церемоний» с знаменитым поэтом. В кабинете Гюго Загуляева поразило, прежде всего, то, что здесь собрано было все, что могло свидетельствовать о политической роли, которую писатель играл до государственного переворота 2 декабря 1851 г. Загуляев нашел этому объяснение в том своеобразном положении, какое Гюго занимал в Брюсселе в конце 60-х годов. Непримиимый враг и обличитель Наполеона III, Гюго, по наблюдению Загуляева, был «не особенно желанным гостем для бельгийского правительства, не желавшего ссориться с императором французов». Но, с другой стороны, «популярность, которою пользовался знаменитый писатель в Бельгии, особенно со времени появления его романа „Les Misérables“, была так велика, что ни министерства,

ни сам еще недавно воцарившийся король Леопольд II не смели открыто выражать свое неудовольствие. Гюго мастерски пользовался выгодами такого исключительного положения. Он поочередно щеголял то крайним радикализмом своих республиканских убеждений, то своим званием кавалера бельгийского ордена Леопольда 1-й степени, дававшего ему право приезда к брюссельскому двору и почестей, равных почестям, воздаваемым высшим туземным сановникам. Были случаи, когда к полицейскому комиссару, являвшемуся искать в его квартире какого-нибудь политического преступника, выдать которого требовало настойчиво и с угрозами французское правительство, Гюго выходил в ленте и звезде вышеупомянутого ордена, и бедный полицийент, смущенный таким величием, уходил ни с чем, униженно извиняясь в причиненном беспокойстве». В связи со всеми этими наблюдениями Загуляев рассказывает острый анекдот, за достоверность которого ручается, впрочем, только то, что он напечатал его дважды в почти тождественной форме.

«Надо заметить,—пишет Загуляев,—что вообще Гюго не пренебрегал, при случае, пощеголять разными высокими знаками отличия, которых у него набралось множество с той поры, когда Июльская монархия возвела его в звание пэра Франции. Никаких орденов он, правда, никогда не носил, но в его кабинете, как будто засунутая в угол, а между тем всегда бросающаяся в глаза, стояла невысокая витрина, вся наполненная звездами, крестами и лентами орденов всевозможных национальностей. Любопытно, что в этой коллекции фигурировали, между прочим, звезда и лента нашего русского ордена св. Анны. Когда я спросил однажды Гюго, каким образом получил он этот орден, знаменитый писатель рассказал мне следующее: „Около 1846 г. покойный император Николай Павлович, решившись, наконец, восстановить добрые отношения с королем Людовиком-Филиппом, стал осыпать всевозможными любезностями государя французов“ и, между прочим, в ответ на пожалование многим русским сановникам ордена Почетного легиона 1-й степени, прислал королю несколько патентов „en blanc“ на русские ордена высших степеней, предоставляя Людовику-Филиппу раздать их по своему собственному усмотрению. Случилось это как раз в то время, когда французское правительство, гонясь за популярностью, особенно ухаживало за Виктором Гюго. Один из патентов на анненскую ленту, имевшийся в распоряжении короля вместе с орденскими знаками, был надписан на имя Гюго и вручен ему. Знаменитый поэт уже собирался отправить в Петербург благодарственное письмо, когда русский посланник, узнав о происшедшем, бросился к министру иностранных дел и упросил его отговорить Гюго от подобного шага, который мог бы вызвать серьезные осложнения, потому что покойный император Николай I всегда считал крайне опасным революционером автора „Hernani“, „Marion Delorme“ и „Le Roi s’amuse“. Гюго согласился не посылать уже написанного им письма, а звезду и ленту русского ордена присоединил к своей коллекции других иностранных орденов... Полагаю, что я был не первый русский, которому знаменитый писатель говорил по этому случаю:

— Вот и подите же! Как это ни странно, а меня сделал анненским кавалером 1-й степени не кто другой, как *votre terrible empereur Nicolas*. Все случается на свете, *mon jeune ami!*».

Содержания других своих бесед с Гюго Загуляев не приводит, но зато в другом месте своих воспоминаний подробно описывает семейную обстановку писателя и его посетителей.

«Знаменитый поэт занимал целый небольшой дом, выходящий фасадом на поперечную сторону площади, к которой обращена спиною театрально-эффектная статуя „Освобожденная Бельгия“. Оба его сына жили вместе с ним. Старший—Франсуа Гюго, известный переводчик Шекспира, был холост, младший—Шарль—только что женился на хорошенькой дочери одного бельгийского сенатора, за которой взял очень богатое приданое. В кружках поклонников Виктора Гюго шопотом рассказывали, что именно из-за этого приданого второй сын поэта помирился с необходимостью венчаться в католической церкви, так как этого настоятельно требовал отец его невесты, усердный католик и консерватор по своим политическим убе-



М. А. ЗАГУЛЯЕВ

С фотографии 1896 г.

ждениям. Милейший Камилл Беррю говорил по этому поводу, смеясь всем животом и пародируя известное изречение Генриха IV—„Paris vaut bien une messe“: „Что прикажете делать, мильон франков стóит католического обряда венчания!“.

Франсуа Гюго вел в Брюсселе, как, впрочем, и повсюду, куда бросала его судьба, веселую и в то же время трудовую жизнь литературного цыгана. Проводя целые дни за письменным столом, он отдыхал от работы не иначе, как посвящая ночи кутежам в дружеской компании. Когда спал этот человек, трудно сказать, и нет ничего удивительного, что его бурная жизнь была так коротка. В то время, о котором я говорю, постоянным товарищем его ночных оргий был Анри Рошфор, только что перебравшийся из Парижа в Брюссель для беспрепятственного продолжения своего знаменитого „Фонаря“.

Виктор Гюго, сколько я мог заметить тогда, не очень-то долюбивал остроумного памфлетиста, но так как с каждым днем становилось все оче-

виднее и очевиднее, что Рошфор нашел лучшее средство поколебать Наполеона III и Вторую империю своими беспощадными насмешками, часто впадавшими в несомненную клевету, то автор „*Les Châtiments*“ и „*Napoléon le Petit*“ все-таки оказывал очень радушный прием приятелю своего старшего сына. Анри Рошфор, впрочем, догадывался об истинных чувствах к нему Гюго, и мне довелось от него слышать однажды фразу: „*Au fond, il me hait très cordialement, le vieux bonze!*“.

Брюссельская квартира Виктора Гюго считалась официально главным штабом французской эмиграции, но нетрудно было заметить, что многие из членов этой эмиграции чувствовали себя не совсем ловко в этих изящных апартаментах, куда являлись часто и такие французские эмигранты других, враждебных республиканцам партий, какими были в то время генералы Ламорисьер и Шангарнье. Гюго любил проповедывать эклектизм в деле вражды к „клятвопреступнику“, как он называл Наполеона III. Доктринеры республиканской партии, не протестуя открыто против подобной терпимости, чувствовали, однако же, себя несравненно лучше в небольшой столовой и крошечном кабинете моего друга Камилла Беррю, куда никогда не заглядывали эмигранты легитимистской и орлеанистской партий).

На этом заканчивается та часть воспоминаний Загуляева, которая касается непосредственно Виктора Гюго. В дальнейшем он рассказывает о своем знакомстве с Рошфором и Франсуа Гюго, повествует о своей встрече со всеми «главными вождями республиканской партии»—Феликсом Пиа, Арманом Барбесом, Шельшером (*Schœlcher*), которые как раз явились в Брюссель из Англии по случаю ожидавшейся в Париже манифестации на могиле Бодена, упоминает и о том, что Виктору Гюго плохо удавалось группировать их вокруг себя,—но все эти воспоминания, интересные сами по себе, не относятся непосредственно к Виктору Гюго. Воспоминания заключает рассказ о вечере в таверне Теньера, где Загуляеву удалось присутствовать при любопытной сцене «совещания французских эмигрантов с посланцами парижских республиканцев», и об обеде у Франсуа Гюго, где Загуляев познакомился с Леоном Гамбеттой.

В дневнике Е. А. Штакеншнейдер (запись от 28 ноября 1870 г.) приведен рассказ о неожиданной встрече с М. А. Загуляевым в Петрозаводске, куда он был выслан из Петербурга за напечатание в «*Indépendance Belge*» фельетона по поводу ноты Горчакова о Черноморском флоте. Этой высылке предшествовал обыск в его квартире. По словам Загуляева, производивший обыск прокурор окружного суда Баженов «отворил мой стол, стал рыться в бумагах и письмах. Я показал на ящики в коридоре, также наполненные бумагами... Тоже не нашли ничего, потому что нечего было найти. Баженов же вынул из пачки писем письмо Гарибальди, в котором он разрешал редакции „Отечественных Записок“ переводить его романы, и письмо В. Гюго, которое ничего, собственно, не заключало, так, общие фразы, как, например: „*Votre belle Russie*“. „Вот эти письма я представлю куда следует,—сказал он,—и будьте совершенно покойны и успокойте вашу жену. Ручаюсь вам, что дурных для вас последствий из-за всего этого не выйдет никаких...“⁸⁷ Слова прокурора оправдались не вполне. Загуляеву, правда, скоро разрешили вернуться в Петербург, обязав его отказаться от сотрудничества и даже сношений с иностранной прессой. Приобретенные же к «делу» письма Гарибальди и Виктора Гюго пропали бесследно: они не находятся и в той части архива М. А. Загуляева, которая хранится в Институте литературы Академии наук СССР.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Герцен, Сочинения, ред. М. К. Лемке, XIV, 198—199 (ниже сокращенные ссылки обозначают всюду это издание). Ср. с этим язвительную характеристику Гюго как политического деятеля, сделанную Н. Г. Чернышевским в статье 1863 г. «Рассказ о крымской войне»: «До февраля 1848 г. В. Гюго не знал, какой у него образ мыслей в политике, ему не приходилось думать об этом, а впрочем, он был прекраснейший человек и отличный семьянин, добрый, честный гражданин и сочувствовал всему хорошему» и т. д. (Чернышевский, Полное собрание сочинений, П., 1918, X, (2), 95—96). Отрицательную оценку творчеству Гюго Чернышевский дает также в письмах к родным 1877 и 1883 гг. («Чернышевский в Сибири. Переписка с родными», II, 157; III, 227).

² См. об этом выше, в гл. II настоящей работы; к приведенным там данным прибавим еще указание на то, что, задумывая в 1838 г. свою автобиографию («Моя жизнь»), эту первую редакцию «Былого и дум», Герцен решает озаглавить ее так, как это сделал Гюго в «Notre-Dame» (кн. VIII, гл. V)—«Ананке»: «помнишь, в „Notre-Dame“ это слово было вырезано у Клода Фролло; оно значит fatalité».—Герцен, III, 132; ср. еще стихотворение «Осело пох» Гюго и название одной из глав «Былого и Дум».

³ Герцен, V, 155. В письме к Н. Х. Кетчеру (7 февраля 1839 г.) Герцен сообщает: «Во всем множестве выходящих книг ужасная пустота,—я разлюбил даже Гюго» (II, 239), что не помешало ему еще долгие годы цитировать многие из его стихов. См., например, III, 186; X, 31; XIII, 380 и др.

⁴ Арсеньев К. К., В. Гюго как политический деятель.—«Вестник Европы», 1876, IV, 637 и сл.

⁵ Герцен, XIV, 191—192.

⁶ Герцен, XIV, 199; ср. еще отзыв Герцена о джерсийском журнале «L'Homme», издателем которого был Ш. Рибероль.—Герцен, IX, 454.

⁷ Арсеньев К. К., *op. cit.*, 638—639.

⁸ Перевод Бенедикта Лифшица из его антологии «Французские лирики XIX и XX вв.», Л., 1937, 36. Главным источником этого стихотворения, как показал Virgile Pinot (L'Histoire dans «L'Expiation». La retraite de Russie.—«Revue d'Histoire Littéraire de la France», 1911, XVIII, 827—837), является книга графа Сегюра, Histoire de Napoléon et de la Grande Armée en 1812, P., 1827. Ср. в «Châtiments» (1853) характеристику России и ее политического строя, включенную в стихотворение «Carte d'Europe»:

Peuple russe, tremblant et morne, tu chemines;
Serf à Saint-Petersbourg, ou forçat dans les mines.
Le pôle est pour ton maître un cachot vaste et noir;
Russie et Sibérie, oh tsar! tyran! vampire!
Ce sont les deux moitiés de ton funèbre empire;
L'une est l'oppression, l'autre est le Désespoir.

⁹ Хотя еще из Брюсселя, в начале 1852 г., вскоре же после своего успешного бегства из Парижа, Гюго мог посылать во Францию письма своей жене через посредство Киселевой, знакомой ему по светским салонам Парижа, и рассказывал в этом письме, что он «провел у нее восхитительный вечер» и что она свела его с Жиранденом, которого он еще не видел.—Hugo, Correspondance, 1836—1882, P., 1898, 130.

¹⁰ Гершензон М. О., Герцен и Запад.—«Былое», 1907, IV; перепечатано в книге «Образы прошлого», М., 1912, 247.

¹¹ Огарева-Тучкова Н. А., Воспоминания, «Academia», Л., 1929, 407.

¹² Необходимо, однако, здесь же предупредить возможность некоторых ошибочных датировок первых встреч писателей.

Сохранилось письмо Герцена с описанием процесса сына Гюго Шарля-Виктора, литератора и публициста, привлеченного к суду за статью в «L'Événement» о смертной казни. На этом процессе, состоявшемся 11 июня 1851 г., Гюго выступал в качестве официального защитника своего сына и произнес свою знаменитую речь, содержание которой и излагает Герцен в своем письме к сыну (Герцен, Сочинения, ред. М. Лемке, VI, 191). Лемке в «Хронологической канве» для биографии Герцена (*ibid.*, XXII, 254) ошибочно допускает, что Герцен присутствовал на этом процессе. Это неверное допущение повторяют и другие комментаторы, напр. С. А. Переселенков в издании «Воспоминаний» Н. А. Огарева-Тучковой, «Academia», Л., 1929, 515.

Таким образом, предположение о возможной встрече Герцена и Гюго в 1851 г. придется отвергнуть.

Тот же Лемке публикует (не делая, впрочем, из этой публикации никаких выводов)

афишу одного из интернациональных собраний эмигрантов в Лондоне—чартистского митинга 27 февраля 1855 г. в память «великого революционного движения 1848 года» (i b i d., VIII, 140—142). Афиша называет в числе других участников митинга—Гюго и Герцена. Последний, действительно, присутствовал и выступал на собрании, но Гюго приехать в Лондон не удалось и, таким образом, и эта возможная встреча двух писателей не состоялась.

Известно, наконец, намерение Гюго специально приехать в апреле 1855 г. для встречи с Герценом в Chalmersdaley-Lodge, Richmond, в графстве Surrey, где жил тогда автор «Былого и дум». Об этом намерении мы узнаем из письма самого Герцена к М. К. Рейхель от 8 апреля 1855 г.: «В. Гюго нам комплименты и прочее такое делает, и сам едет в Шалмандей-Лоджу» (Г е р ц е н, op. cit., VIII, 175). Но и это свидание, повидимому, не состоялось. Во всяком с л у ч а е, в итинерарии Гюго за 1855 г. мы не находим никаких следов какой-либо его поездки в Англию (см. Tableau synoptique des séjours et voyages de Victor Hugo в каталоге «Les séjours de Victor Hugo», Maison de Victor Hugo, P., 1935).

¹⁸ Г е р ц е н, VIII, 195, 223, 225.

¹⁴ I b i d., VIII, 409.

¹⁵ I b i d., VIII, 174. Подлинные французские тексты писем Гюго к Герцену до сих пор остаются неопубликованными. Письма известны нам только в русских переводах самого Герцена (письма от 25 июля 1855 г., 17 января 1859 г. и 8 февраля 1863 г.) и М. Гершензона (письма от 15 марта 1857 г., 13 апреля 1858 г., 15 июля 1860 г. и 16 мая 1864 г.). Переводы М. Гершензона («Былое», 1907, IV), а также неполный герценовский перевод письма от 25 июля 1855 г. были проверены и исправлены по французским подлинникам, хранящимся в архиве семьи Герцена, М. К. Лемке и вошли в качестве комментария в редактированное им собрание сочинений Герцена. Приводимые нами тексты писем Гюго к Герцену заимствованы из этого издания.

¹⁶ «L'Etoile Polaire sur la mort de J. Worcell». Traduit du russe, Londres, 1857.

¹⁷ Г е р ц е н, VIII, 504.

¹⁸ «La France et l'Angleterre», Trübner L., 1858 (ср. «Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига, 1820—1870»). Ред. С. Я. Штрайха, «Academia», М.—Л., 1930, II, 83—84). Впрочем, это могла быть также изданная в том же году брошюра Герцена: «La conspiration Russe de 1825, suivie d'une lettre sur l'émancipation des paysans en Russie», par Iskander, London, Tchorzewski, 1858.

¹⁹ Г е р ц е н, IX, 221.

²⁰ I b i d., XIV, 762; ср. замечания Н. С р е т е н с к о г о в статье «Герцен и западная художественная литература».—«Сборник статей по вопросам культуры», Ростов н/Д., 1928, 121—122.

²¹ Г е р ц е н, XIII, 37.

²² Г е р ц е н, XIV, 795—796. «Былое и думы» в переводе Н. Д е л а в а и назывались: «Le Monde Russe et la Révolution».

²³ Г е р ц е н, IX, 80.

²⁴ «Голос из России», кн. IV; цитирую по в т о р о м у изданию (London, 1858), 31—49.

²⁵ «П. Л. Лавров о самом себе».—«Вестник Европы», 1910, № 10, 97.—Во второй половине 50-х годов стихотворения эти пользовались популярностью в русском обществе и ходили по рукам во множестве рукописных списков.

²⁶ См., например, письмо П. Л. Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер от 26/14 апреля 1872 г.: «Сейчас, возвращаясь с почты, захватил „L'Année terrible“ [Гюго]. Взглянул туда, сюда: все это делано, очень уж фигурно, очень уж старо. А вот подле другой старик Мишелэ начинает новый труд. Как припомнишь: тридцать лет тому я сдал экзамен в офицеры и ехал в последний раз в лагерь. Мой покойный брат прислал мне из-за границы в подарок деньги, и я на них купил себе сочинения именно этих двух стариков. Теперь я уже очень не молод, а они все в первых рядах, и кто сменит их?» («Письма П. Л. Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер». — «Голос Минувшего», 1916, № 9, 120). Тогда же написана Лавровым статья «Два старика».—«Новое Время», 1872, № 110, от 27 апреля. Эпизод, о котором рассказывает Лавров, произошел в 1842 г., когда ему было 19 лет.

²⁷ См. ниже, гл. IV, прим. 34-ое.

²⁸ «Колокол», 1863, № 156 от 15 февраля, 1301; Г е р ц е н, XVI, 64—65.

²⁹ Публикуем это неизданное письмо Гюго благодаря любезности M-me C. Daubray (Париж), сообщившей его вместе с другими черновыми рукописными заметками Гюго 60-х годов, относящимися к России.

³⁰ Г е р ц е н, XVI, 64.

³¹ H u g o, Œuvres complètes («editio ne varietur»), «Actes et paroles». Pendant l'exil (1852—1870), II, P., 1883, 323—324. Воззвание Гюго датировано здесь 11 февраля

1863 г., что неверно, если принять во внимание, что при письме к Герцену Гюго послал его уже 8 февраля, а при письме к Лакруа—10 февраля. Ср. здесь же «Au membres du meeting de Jersey pour la Pologne», Hauteville-house, 27 mars 1863.

³² «Всемирный Труд», 1869, II, 166, 167, 168.

³³ Герцен, XVI, 204. Через год, 18 мая 1864 г., Герцен получил еще одно письмо от Гюго.—Герцен, XVII, 169.

³⁴ Сообщением об этой неизданной рукописной помете из архива Гюго мы обязаны M-me С. Daubray. Вот самый русский анекдот, который рассказывает Гюго, не упоминая о своем источнике: «Il y a un tel possible dans la cruauté de l'homme qu'on trouve toujours là de l'inattendu. Une femme esclave russe, portant une théière pleine, est heurtée au passage par l'enfant de sa maîtresse, la comtesse***, la théière tombe, l'enfant est échaudé par le thé bouillant; la comtesse fait venir le plus jeune des fils de l'esclave et verse la même quantité d'eau bouillante sur ce petit enfant. Dans les récents massacres du Liban, la cuisse d'une femme a servi de billot pour couper la tête de son enfant. Comme il faut de l'humanité on a guéri à l'hôpital l'entaille de la hache». См. Reliquat de «William Shakespeare» [1864] в новом изд. соч. Гюго (Edition de l'Imprimerie Nationale).

³⁵ Речь, несомненно, идет о Жюльетте Друэ, которая, впрочем, никогда не была гурвернанткой в семье Гюго. См. о ней ниже, прим. 38-е.

³⁶ Огарева-Тучкова Н. А., Воспоминания, «Academia», Л., 1929, 407—409.

³⁷ Пятковский А. П., Две встречи с Герценом.—«Наблюдатель», 1900, III, 237.

³⁸ Неразлучная спутница жизни Гюго—Жюльетта Друэ (1806—1877). Ранние ее годы мало известны: сирота, она прошла суровую школу жизни от монастыря, где ее воспитывали из милости, до ателье молодого парижского скульптора Прадье, которому она служила натурщицей. В конце 20-х годов, после разрыва с Прадье, Друэ становится актрисой, но, окруженная поклонниками, среди которых был и какой-то «русский князь», продолжает жить жизнью богемы. Вскоре, несмотря на сценические успехи, Друэ стала близка к полному падению: именно ей посвятил Гюго свое столько раз переводившееся и на русский язык стихотворение: «Oh! N'insultez jamais une femme qui tombe» («Chants du crépuscule», 1835). Моральная и материальная поддержка, оказанная ей Гюго, превратила Друэ в его преданного друга; оставив сцену, она всю свою жизнь провела возле Гюго, принятая в семью и окончательно узаконенная здесь со смертью его жены (1868). О Жюльетте Друэ см.: Fleischmann Н., Une maîtresse de V. Hugo, P., 1902; Guimbaud L., V. Hugo et Juliette Drouet.—«La Contemporaine», 10 mars 1902; Séché L., Juliette Drouet.—«Revue de Paris», 1903, 1.

Тхоржевский Станислав—поляк-эмигрант и лондонский типограф Герцена, находившийся в постоянных сношениях с французскими эмигрантами из круга Гюго. См. о нем «Вольное Слово», 1882, № 46.

³⁹ Герцен, XXI, 424. Подробный рассказ об этом посещении Герценом Виктора Гюго находим в «Воспоминаниях» Н. А. Огаревой-Тучковой: «В половине седьмого мы отправились пешком к Виктору Гюго. Много испытывший тяжелых утрат, поэт-эмигрант тогда еще был сравнительно счастлив,—вскоре после нашего свидания он схоронил обоих сыновей [Шарль Гюго умер в 1871 г., Франсуа—в 1873 г.]. Обед был очень оживлен; Виктор Гюго рассказывал о своем многолетнем пребывании на острове Джерси, где через несколько лет ему удалось ввести вместо денег употребление расписок, чем он мечтал ослабить со временем непобедимую до сих пор силу денег; он давал, например, расписки булочнику (за хлеб); тот, нуждаясь в сапогах, передавал расписку сапожнику, а последний передавал ее за товар и т. д. без всяких затруднений. „Ведь нам не деньги нужны, а разные предметы торговли“,—говорил с жаром Виктор Гюго. В конце обеда разговорились о России. Я сказала, что Виктора Гюго давно знают и чтут в России не менее, чем в других странах, и вспомнила, что мой отец был одним из самых горячих его почитателей, между прочим за то, что Гюго первый говорил печатно об уничтожении смертной казни, и это тогда, когда никто об этом не помышлял. Мой отец был прав, говоря, что Виктор Гюго должен быть весьма гуманен. Я думаю, и теперь в Джерси помнят, как поэт-изгнанник собирал на рождественскую елку бедных детей, наслаждался их неподдельным восторгом и, кроме лакомств, раздавал им еще и игрушки».—Огарева-Тучкова Н. А., Воспоминания, 408—409. Описание рождественской елки на о. Гернси (а не Джерси) см. «Œuvres complètes de Victor Hugo» («editio ne varietur»), «Actes et paroles». Pendant l'exil, II, Notes, 562—564, где по этому поводу приведена и выписка из «Gazette de Guernesey» от 29 декабря 1866 г.

⁴⁰ О П. В. Долгорукове см. вступительную статью С. В. Бахрушина в издании «Петр Владимирович Долгоруков. Петербургские очерки 1860—1867 гг.» М., «Север», 1934. Из этой статьи заимствованы наши цитаты.

⁴¹ «Revue Hebdomadaire», juin, 1935.

⁴² «Надежда—в Республике».—Тексты этих записей любезно сообщены редакции «Литературного Наследства» М-me С. Daubray.

⁴³ Враждебная позиция Долгорукова по отношению к французскому правительству также имеет свою историю. Еще в 1861 г. одна из его брошюр, выпущенная в Лейпциге («La question russe-polonaise et le budget Russe»), была запрещена во Франции; проигрыш Долгоруковым судебного процесса, начатого против него в Париже гр. С. М. Воронцовым, Долгоруков приписал также давлению со стороны французского правительства, желавшего, якобы, угодить Петербургу. Долгоруков покинул Париж и начал войну и против бонапартистской Франции. В своем Брюссельском «Листке» он не щадил Наполеона III, называя его «паяцем-мазуриком», «самодержавно управляющим Францией», «хищником» и «клятвopеступником», правительство которого «держится страхом, подкупом и целой сетью мер, основанных на призыве к чувству подлости и низости». Когда этот «Листок» был запрещен к обращению во Франции, Долгоруков с удовольствием отметил на страницах своего журнала, что «Листок» имеет честь быть запрещенным как в Российской империи, так и в России западной, известной обычно под именем Французской империи». По поводу «слуха о новом сближении России с Наполеоном» Долгоруков спрашивал в том же «Листке» (1863): «Неужели в Петербурге еще не знают Наполеона? Неужели семилетний опыт не показывал... что на Бонапарта никогда и ни в чем положиться нельзя, что он всегда всех обманывал и всегда каждого обманет» («Листок, издаваемый кн. П. Долгоруковым», 1863, № 12; ср. Герцен, XVI, 66—67). Все эти настроения с наибольшей памфлетической силой выразились в «La France sous le régime Bonapartiste». Извещая читателей своего «Листка» о выходе в свет этой книги, Долгоруков объяснил побуждения, которые заставили его взяться за перо. «Во-первых,—писал он,—нынешнее позорное состояние Франции служит назидательным уроком для всех друзей свободы и просвещения, а во-вторых, мы имеем, как известно читателям, свои причины желать выставить в ее полной истине всю мерзость нынешнего положения во Франции вообще и судебной власти в особенности» («Листок, издаваемый кн. П. Долгоруковым», 1864, № 19).

⁴⁴ Герцен, XV, 194; ср. XVIII, 291.

⁴⁵ Банкет этот подробно описан в брошюре Frédéric (Gustave), Souvenirs du banquet offert à V. Hugo par M. M. Lacroix, Verboeckhoven et C^{ie}, Bruxelles, 1862.

⁴⁶ Герцен, XV, 263—265.

⁴⁷ Герцен, XV, 466.

⁴⁸ Цее В. А., Последние дни цензуры в министерстве народного просвещения.—«Исторический Вестник», 1911, IX, 962—964. Здесь же приведены любопытные замечания министерства внутренних дел, которое указывало А. В. Головнину, что «в разговоре сенатора и епископа развиты основные мысли материализма», и прибавляло при этом, что «такое популяризирование идей материализма уступает только одному роману Евг. Сю „Mystère du peuple“ [sic!], который признан вреднее всех атеистических сочинений Штрауса и других, запрещенных во Франции и Германии. Такой же демократизм господствует и в романе Гюго, как и в романе Сю». Попытки выпустить «Отверженных» в 1866 г. с исключениями наиболее «опасных» мест, были тщетны; начатая в 1880 г. в журнале А. С. Суворина «Еженедельное Новое Время» публикация романа была приостановлена. К. Головин поэтому ошибается, когда утверждает, что написанная им для официальной «Северной Почты» 1862 г. статья об «Отверженных» не была напечатана потому, что, якобы, «после только что изданных крестьянских положений даже официальным органам было велено казаться либеральными, а с либеральной точки зрения критика романа Гюго не могла быть допущена» («Мои воспоминания», СПб. 1908, I, 113). См. также заметку Н. П., Гюго и русская цензура.—«Бирюч Петроградских Гос. Театров», 1919, XI—XII, 106—107.

⁴⁹ Штакеншнейдер Е. А., Дневник и записки, ред. И. Н. Розанова, «Academia», 1934, 311, 315.

⁵⁰ Гроссман Л., Три современника, М., 1922, 78; его же, Поэтика Достоевского, М., 1925, 46; ср. его же, Жизнь и труды Ф. М. Достоевского, «Academia», 1935, 118, 169, 224, 262, 282, 284.

⁵¹ Достоевская А. Г., Дневник 1867 г., М., 1925.

⁵² Соловьев В. С., Воспоминания о Достоевском.—«Исторический Вестник», 1881, III, 616. Свод высказываний Достоевского о Гюго см. в «Письмах» Достоевского, ред. А. С. Долинина (Л., 1928, I, 467); ср. еще Комарович В., «Мировая Гармония» Достоевского.—«Атеней», Л., 1926, II, 119—120.

⁵³ Достоевский, Письма, ред. А. С. Долинина, М.—Л., 1934, III, 206, [264. О восторженном отношении Достоевского к «Misérables» см. еще свидетельство Почин-

ковской.—«Исторический Вестник», 1904, II, 488—492. См. также в «Дневнике Писателя» за 1876 г.

⁶⁴ Достоевский Ф. М., Материалы и исследования, ред. А. С. Долинина, Л., 1935, 91, 359. Об отражении в «Братьях Карамазовых» некоторых моментов из «Misérables» см. у В. Комаровича, «Die Urgestalt der Brüder Karamasoff», München, 1928, 503, где проведена достаточно убедительная параллель между сыщиком у Гюго—Жавером и Смердяковым, а также между епископом и ролью старца Зосимы. В спорной статье Цейтлина А. Г., «Преступление и наказание» и «Les Misérables».—«Литература и Марксизм», 1928, V, 20—58, сделан ряд бесполезных сравнительных наблюдений над романами Гюго и Достоевского. Напомним также указание Л. П. Гроссмана на связь «Легенды о великом инквизиторе» и поэмы Гюго «Христос в Ватикане» из цикла «Légendes des Siècles» («Библиотека Достоевского», Одесса, 1919, 118—120) и замечание В. В. Виноградова о беспорочном отражении этой сцены из «Последнего дня осужденного» Гюго в эпизоде самоубийства Кириллова в «Бесах» («Эволюция русского натурализма», Л., 1929, 140—152). Наконец, укажем на статью А. М. Бема в «Mélanges dédiés à la Mémoire de Prokop M. Haskovec par ses amis et ses élèves» (Врно, 1936, 44—64), посвященную доказательствам того, что в двух рассказах Мышкина в «Идиоте» также отразился «Последний день осужденного».

⁶⁵ Боборыкин П. Д., Столицы мира, М., 1911, 163—164. См. также замечание П. Д. Боборыкина в его книге «Роман на Западе за две трети века», СПб. 1900, 162: «За границей у него [Гюго] меньшая популярность и меньше признание, за исключением—прибавим мы—русской публики 60-х годов относительно „Мизераблей“».

⁶⁶ «Каторга и ссылка», XIII, 154; XV, 90—91; XXIV, 38; XLIII, 159.

⁶⁷ См. Le Breton, La pitié sociale dans le roman: l'auteur des «Misérables» et l'auteur de «Résurrection».—«Revue des Deux Mondes», 1902, 1 avril, 889—916 и русский отклик: «Столетие со дня рождения Гюго. Параллель между „Misérables“ и „Воскресением“».—«Вестник Европы», 1902, январь («Из общественной хроники»). Отношение Л. Толстого к Гюго нуждается в специальном обследовании. В книге «Что такое искусство» Л. Толстой писал: «Если бы от меня потребовали указать в новом искусстве на образцы по каждому из этих родов искусств, то как на образцы высшего, вытекающего из любви к богу и ближнему... я указал бы из новых на „Разбойников“ Шиллера, из новейших на „Les pauvres gens“ V. Hugo и его „Misérables“». Л. Толстой всегда считал Виктора Гюго великим мастером в прозе (см., например, письмо к П. И. Бирюкову от 1 июня 1885 г.; ср. запись «Дневника» от 26 февраля 1909 г.: «Читал В. Гюго. Прекрасно—проза, но стихи—не могу») и не раз выступал в качестве его переводчика. Так, в 1908 г. Толстой перевел два произведения Гюго—«Неверующий» («Un athée» из «Postscriptum de ma vie») и «La guerre civile», названное Толстым «Сила детства». По свидетельству Н. Н. Гусева, «обе эти вещи Толстой не мог читать вслух без слез». В свой «Круг чтения» Толстой включил «Les pauvres gens» в переводе В. Микулич (для второго издания он сам проредактировал этот перевод) и отрывок из «Отверженных» о епископе Мириэле. Сюжет рассказа «Архиерей и разбойник» в «Книге для чтения» Толстого заимствован из «Отверженных» и передан Толстым. См. Гусев Н. Н., Два года с Толстым, М., 1928, 114.

⁶⁸ «Русская Старина», 1888, VIII, 350.

⁶⁹ Книга Ленца «Aus dem Tagebuche eines Livländers. Moskau, Constantinopel, Burgos, Madrid. Das Violin-Conzert von Beethoven in St.-Petersburg und die Fasten-Musiken» (Wien, 1850) и продолжение ее, печатавшееся в отрывках в петербургской немецкой газете, отсутствует в русском переводе; лишь небольшие фрагменты из нее напечатал П. И. Бартенев в «Русском Архиве» (1878, I, 436—469; II, 255—259) под заглавием «Приключения лифляндца в Петербурге». Ленцу же принадлежит: «La société des concerts fondée par M. le général Alexis Lvoff», St.-Petersbourg, 1854. Ср. «Catalogue de la section des Russica», St.-Petersbourg, 1873, 717. См. о нем еще «Русская Старина», 1908, VI, 485, 504—505; 1907, IV, 183; «Русская Музыкальная Газета», 1908, №№ 3 и 6 (здесь и его портрет).

⁷⁰ Lenz (W.), Beethoven et ses trois styles, St.-Petersbourg, Bernard, 1852, 2 vols; То же, Bruxelles, Stapleaux, 1854, 2 vols.; P., Lavinée, 1855, 2 vols; 2-me édition, P., Lavinée, 1866; последнее французское издание: Edition nouvelle avec avant-propos et bibliographie des ouvrages relatifs à Beethoven par M. D. Calvocoressi, P., Legoux, 1909; немецкое издание в двух томах (Cassel, 1855) и с тремя дополнительными (Hamburg, 1860, Hoffman & Campe, 5 Bände).

⁷¹ Lenz (W.), Die grossen Pianofortevirtuosen: Liszt, Chopin, Tausig, Henselt aus persönlicher Bekanntschaft, Berlin, 1872. В Рукописном отделении Публичной библиотеки в Ленинграде сохранились адресованные Ленцу письма Шопена, Листа, Берлиоза, Балзака и Сю.

⁶² «Приключения лифляндца в Петербурге».—«Русский Архив», 1878, I, 441. О знакомстве Ленца с Бальзаком и публикацию письма Бальзака к нему см. в настоящем издании, 346—347.

⁶³ B a l z a c (H. de), Correspondance, P., 1876, II, 87, 94.

⁶⁴ Подлинник письма—в Рукописном отделении Публичной библиотеки в Ленинграде. На конверте написано: «Via London. Son Excellence Mr. le Conseiller d'état actuel W. de Lenz. Maison Geliasschwill. Rue de l'Espérance, St.-Petersbourg». В. В. Ленц, действительно, жил тогда на углу Надеждинской улицы и Ковенского переулка, в доме Гелияшвили, по одной лестнице с А. Н. Серовым (см. З в а н ц о в К., А. Н. Серов в 1857—1871 гг.—«Русская Старина», 1888, VIII, 349—350).

⁶⁵ «Русский Архив», 1870, 1876 и «Русская Старина», 1873, VII, 100.

⁶⁶ «Остафьевский Архив», СПб. 1908, III, 437. От этого брака у нее был сын кн. Н. А. Голицын (1834—1871).

⁶⁷ Записки кн. Н. С. Голицына.—«Русская Старина», 1881, I, 39; «Род князей Голицыных. Сост. кн. Н. Н. Голицын», СПб. 1892, 166—167, 356, 375. К стр. 335 этого издания приложен и портрет С. П. Голицыной, по оригиналу (масло), находившемуся в основанном ее мужем приюте в г. Витебске; этот портрет написан в 1847 г. См. еще «Материалы для полной родословной росписи кн. Голицыных, собранные кн. Н. Н. Голицыным. Корректурное издание», Киев, 1880, 178, и Г о л и ц ы н Н. Н., Библиографический словарь русских писательниц, СПб. 1889, 69.

⁶⁸ «Русский Архив», 1879, II, 243.

⁶⁹ Ш а л к о в П. И., Ответ на послание С. П. Б.-П...ой и ответ на другое послание С. П. Б.-П...ой.—«Новости Литературы», 1822, I, 190 и II, 47.

⁷⁰ Я з ы к о в Н. М., Полное собрание стихов, ред. М. К. Азадовского.—«Academia», 1934, 602, 841, со ссылкой на «Записки» Д. Н. С в е р б е е в а, М., 1905, II, 96. Стихотворение Языкова «Кн. С. П. Голицыной» было дважды напечатано в 1845 г.

⁷¹ «Альбом С. П. Голицыной».—Архив Института литературы АН СССР, Ленинград.

⁷² Т а м же. Стихотворение вошло в посмертный сборник Виктора Гюго «Toute la lyre». Приводим эти стихи в переводе М. Т а л о в а:

Меня зовешь, и стих, плененный красотой,
К тебе торопится. Я погружен в мечты.
Ум сочетается с прекрасною душою.
Какое счастье—быть понятым тобою,
Но тот счастливее, кого полюбишь ты!

⁷³ «Альбом С. П. Голицыной».—Архив Института литературы АН СССР, Ленинград.

⁷⁴ Т а м же.

⁷⁵ После смерти своего мужа (1863) Голицына продолжала жить в Париже, выйдя вторым браком (в 1873 г.) за графа Эдуарда Гейнингер д'Эрисвиль-и-Гудневиль (ум. 1886). Она умерла 10 февраля 1888 г. в Париже. («Род кн. Голицыных», СПб. 1892, 166—167).

⁷⁶ «Дневник А. С. Суворина», М.—П., 1923, 237.

⁷⁷ А р н о л ь д Ю., Воспоминания, вып. III, М., 1893, 154—155, 176; «Письмо из провинции».—«Весельчак», 1858, XXXVII и XXXIII.

⁷⁸ Приложение к газете «Новое Время», 1896, № 7220, от 6 апреля; «Русские Ведомости», 1900, № 94; «Вестник Европы», 1900, V, 416.

⁷⁹ Л и б р о в и ч С. Ф., На книжном посту, П.—М., 1916, 21—22.

⁸⁰ См. публикацию Т. Г р и ц а, Письма Жана Ришпена к М. А. Загуляеву, в настоящем томе «Литературного Наследства»; см. также вступительную заметку Б. Л. М о д з а л е в с к о г о, К описанию альбома жены М. А. Загуляева (с 1860 г.) Франциски (Фанни) Германовны Загуляевой, в альманахе «Литературная Мысль», Л., 1924, II, 239; М и к у л и ч В., Встречи с писателями, Л., 1929, 140, 148, 219.

⁸¹ «Дневник А. С. Суворина», 237.

⁸² «Север», 1888, XXIII, 14.

⁸³ «На Западе». Воспоминания журналиста. Люди, события, виды.—«Север», 1888, №№ 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33.

⁸⁴ О Леоне Берарди и других упоминаемых Загуляевым лицам см. S a i n t - F e r r é o l (Amédée), Les proscrits français en Belgique, P., 1871, vols 1—2.

⁸⁵ H u g o (Victor), Histoire d'un crime, II, 46. См. еще В е р г у (Camille), Le revers d'une médaille. Avec une lettre autographe de V. Hugo, Bruxelles, 1878.

⁸⁶ «Отовсюду».—«Новое Время», 1885, № 3246, от 12 марта; «Север», 1888, № 26.

⁸⁷ Ш т а к е н ш н е й д е р Е. А., Дневник и записки. Редакция, статья и комментарий И. Н. Розанова, «Academia», 1934, 415.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОПЯТЬ В ПАРИЖЕ

ГЮГО И РУССКИЕ ТУРИСТЫ В ПАРИЖЕ.—П. В. АННЕНКОВ СЛУШАЕТ РЕЧЬ ГЮГО НА СТОЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ ВОЛЬТЕРА.—ЗАПИСКА ГЮГО К КН. Е. А. ТРУБЕЦКОЙ.—ВИЗИТ К ГЮГО КН. М. УРУСОВОЙ.—ПОРТРЕТ ГЮГО, ПОДАРЕННЫЙ Е. А. ЧЕРКАССКОЙ.—КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ С. Ф. ШАРАПОВА О ВИЗИТЕ К ГЮГО.—ГЮГО И И. С. ТУРГЕНЕВ: ИСТОРИЯ ИХ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ.—ГЮГО И ТУРГЕНЕВ НА ПЕРВОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНГРЕССЕ В ПАРИЖЕ.—ПИСЬМО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.

Ко второй половине 70-х годов Париж был наводнен русскими. Одни бывали здесь наездами, другие жилали подолгу. Тут были туристы, которых влекла во французскую столицу давняя традиция,—их было, разумеется, большинство,—тут были старые русские «парижане», потерявшие почти всякую связь с Россией, тут были и люди, недавно или только что приехавшие из России, новые эмигранты, которые стремились в Париж для того, чтобы за рубежом продолжать русское дело, русскую революционную борьбу с царизмом. Русские «изгнанники» резко противопоставляли себя официальной русской «колонии»—посольству и группировавшейся около него знати; туристы старались не замечать ни тех, ни других, все свое внимание сосредоточивая на изучении парижской жизни. Среди парижских впечатлений, впечатления от искусства, театра, литературы издавна составляли одну из приманок для русских путешественников; не удивительно, что во французскую столицу приезжали почти все крупные писатели, без различия направлений и вкусов. Здесь по несколько раз побывали Достоевский и Салтыков-Щедрин, Некрасов и Анненков, Боткин и Глеб Успенский; П. Д. Боборыкин жил здесь подолгу, а И. С. Тургенев со второй половины пятидесятых годов находился в Париже почти постоянно.

Одной из достопримечательностей литературного Парижа являлся Виктор Гюго. С тех пор, как он после восемнадцати лет изгнания возвратился в Париж (5 сентября 1870 г., на другой день после свержения Наполеона III) и зажил здесь открытым домом, он превратился почти в легендарную личность. Избранный в 1874 г. сенатором, Гюго, несмотря на свои преклонные годы, вовсе не искал уединения. Все знали, что он окружен преданными друзьями, всеобщим вниманием и почетом; Гюго можно было увидеть и в театре и на предобеденной прогулке; наиболее настойчивым удавалось проникнуть и в его салон.

30 мая 1878 г. Гюго произнес большую речь на торжественном заседании по случаю столетнего юбилея Вольтера. В числе присутствовавших на этом торжестве был П. В. Анненков, который в тот же день писал М. М. Стасюлевичу: «Сейчас только приехал со 100-летнего юбилея Вольтера в зале театра Gaîté, под председательством В. Гюго. Описывать восторг, слезы и крики при ослепительных антитезах Викт. Гюго и при биографии юбиляра, сделанной Дюганель... не стану, но масса народа, не попавшего в театр и 3 часа стоявшего густою толпою под дождем, чтобы только хлопнуть людям, устроившим праздник, на который они не попали, при выходе—это черта единственно и исключительно парижская»¹. Перед нами—один из наиболее частых случаев туристского любопытства к Гюго. Но заветной мечтой многих русских, попадавших в Париж, было, однако, не только увидеть и услышать издали прославленного французского поэта, но и беседовать с ним, получить его автограф, передать ему свидетельства популярности его в России. По этому поводу среди путешествен-

ников циркулировали различные рассказы. «Великого старика мне случилось часто видеть... в сенате,—замечает один из них,—и окружавшее его какое-то обаяние заставляло меня всегда, встречаясь с ним, инстинктивно приподнимать шляпу. Да и кто бы из нас (я разумею только русских) не сделал этого!»²

Попасть в салон Гюго на Rue de Clichy (поэт жил здесь с 1874 по 1878 гг.), где по вечерам собирался весь цвет литературного Парижа, считалось делом трудным, но не безнадежным. «Мне втолковали,—сообщает один русский путешественник, стремившийся поехать к Гюго,—что проникнуть к поэту было чрезвычайно трудно. В его салоне собирается цвет французского литературного и демократического мира. Там толпятся старики—деятели революций вроде Араго, Мадье де Монжо и др.; наконец, там сосредоточивается истинный центр всей ныне заправляющей партии, не политический и деловой центр (это у Л. Блана и Гамбетты), а скорее центр умственный, идеальный. Все эти господа приходят к гениальному старцу, чтобы отвести душу, чтобы как будто почерпнуть какого-то электричества в этом „мировом сердце“»³.

Тем не менее, через посредство бесчисленных друзей и «признанных» учеников Гюго, свидания с ним добивались многие. К дому Гюго находили тропу офранцузившиеся русские аристократы, которые нередко считали своим долгом побывать у него, совершенно так же, как некогда их деды заглядывали в Ферне. Что Гюго поддерживал связи с русской знатью, показывает следующая неизданная записка его к княгине Трубецкой, вероятно, Е. Э. Трубецкой, известной основательнице парижского политического салона. За что ее благодарил Гюго, нам остается неизвестным. Записка написана на печатном бланке французского сената и заключает в себе всего лишь несколько слов⁴.

Перевод:

Сенат. Версаль.

10 декабря 1877 г.

Я глубоко взволнован и тронут. Припадаю к вашим стопам, княгиня.
Виктор Гюго

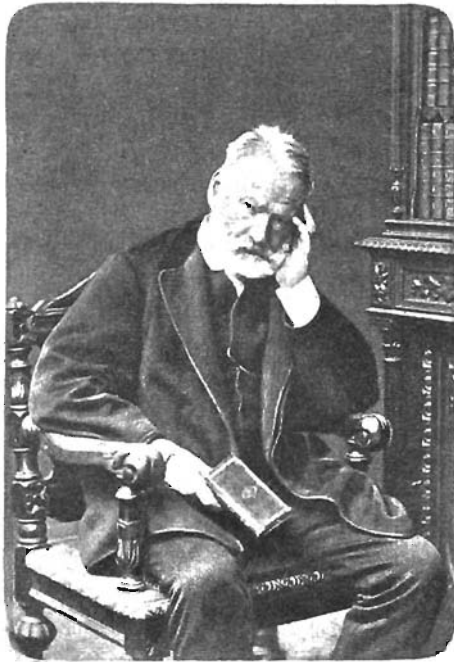
Е. Э. Трубецкая была лицом хорошо известным в литературно-политических кругах Парижа. Но иногда Гюго приходилось принимать у себя и совсем неизвестных ему людей. В неизданных еще «Воспоминаниях» Э. К. Липгарта рассказывается, что жившая в Париже княгиня Мария Урусова добилась аудиенции у Гюго, несмотря на то, что чувствовала к нему антипатию; с ее стороны это было одно тщеславие и любопытство к парижской «достопримечательности»⁵. Еще одно свидетельство знакомства Гюго с представительницей все того же круга русской аристократии дает сохранившийся портрет писателя, подаренный им княгине Е. А. Черкасской (рожд. Васильчиковой). Под портретом имеется автографическая запись двустипшия Гюго из стихотворения «Le Retour de l'Empereur» («Légende des Siècles») и подпись:

La France est la tête du Monde,
Cyclope dont Paris est l'œil.

Victor Hugo⁶

К сожалению, нам ничего не известно более об этом русском знакомстве Гюго, и мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах Е. А. Черкасская получила от писателя этот портрет.

Среди русских посетителей Гюго находились и такие, которые, при случае, не прочь были использовать свой визит к знаменитому писателю в целях саморекламы, подобно тому, как это сделал в 40-х годах Греч. Любопытным образчиком именно этого последнего рода могут служить корреспонденции «Нового Времени» за 1878 г., подписанные псевдонимом «Parisien», под заглавием: «У Виктора Гюго»? Они принадлежат С. Ф. Ша-



*La France est la tête du Monde,
Cyclope dont Paris est l'œil.
Victor Hugo*

ВИКТОР ГЮГО

Портрет с автографом, подаренный писателем Е. А. Черкасской
Фотография Валлери, 1872—1874 гг.

Институт мировой литературы им. Горького, Москва

рапову (1855—1911), умеренно-либеральному в те годы публицисту, впоследствии именовавшему себя «неославянофилом», издававшему собственные газеты и периодические сборники и, кроме того, много писавшему по вопросам сельского хозяйства. В конце 70-х годов, когда ему было двадцать с небольшим лет, Шарапов, побывав уже в Боснии и Герцеговине, пристроился парижским корреспондентом «Нового Времени» и посылал туда свои фельетоны—интервью с французскими политическими и литера-

турными деятелями—Луи Бланом⁸, Гюго, критические разборы новых книг (например, «L'Année terrible», В. Гюго) и т. д. Развязность тона всех этих статей, наклонность к самовосхвалению показались забавными многим их читателям, зачастую и не догадывавшимся об их авторе. Посмеялись над ними и хорошо знавшие, кто скрывается под псевдонимом «Parisien». М. Е. Салтыков-Щедрин, например, весьма язвительно отзывался и об этих корреспонденциях Шарапова о Гюго и о самом Шарапове в письме к автору «Писем из деревни» А. Н. Энгельгардту, тому самому, о котором впоследствии Шарапов написал целый труд⁹. «Вы прислали ко мне Шарапова с плохой комедией,—писал Щедрин (27 сентября 1881 г.).—Он прежде в „Новом Времени“ был в услужении, а теперь при Аксакове блудодействует. Я очень даже рад, что комедия его оказалась плохой, а то бы не отвязаться от него. Он Виктору Гюго надоел, тоже затесался, насилиу отделались, а потом в „Новом Времени“ описывал, как его брусникой с г... там кормили». Справедливой поэтому представляется догадка С. А. Макашина¹⁰, что именно Шарапов и его корреспонденции о Викторе Гюго и Луи Блане дали Щедрину некоторый материал для создания в очерках «За рубежом» гротескного образа «Ивана де Подхалимова», репортера газеты «И шило бреет», который, между прочим, для первого своего знакомства с неким «влиятельным лицом» тотчас же сообщил ему, что «Виктор Гюго скупердяй, а Луи Блан—старая баба» и что «он у всех был, мед-пиво пил»... В фельетоне Шарапова «У В. Гюго», действительно, уделено много внимания бытовому материалу; Шарапов с большим удовольствием вдаётся во все детали домашней жизни поэта, подробно описывает ужин у Гюго, к которому был приглашен, и знаменитые «сиропы», которыми его там потчевали. Впрочем, рядовому русскому читателю длинные фельетоны о встречах с В. Гюго должны были показаться интересными именно потому, что здесь много говорилось о домашней жизни «великого старца», его привычках и образе жизни. Прямо рассчитанное на такого читателя «Живописное Обзорение», несомненно, удовлетворяло особый читательский спрос, когда помещало на своих страницах пересказ анекдотов о Гюго из книги Гюстава Риве «В. Гюго у себя дома»¹¹. Впрочем, сам Шарапов рассчитывал и на большее, подробно описывая свой визит к Гюго, а не только на сообщение, по личным наблюдениям, бытовых подробностей жизни знаменитого писателя. Визит его на улицу Клиши состоялся, благодаря посредничеству Поля Мёриса¹², романиста и некогда плодовитого драматурга, который почти оставил литературную деятельность ради «служения» своему учителю В. Гюго и почти стусеивался в его тени.

«Полю Мёрис,—сообщает Шарапов,—это один из сотрудников „Rappel“’я, которому Гюго поручил издание своей книги „Histoire d'un crime“ (заключение ее, замечу мимоходом, еще только пишется). Я познакомился с ним, чтобы прочитать книгу, если можно, в корректуре, и очень близко с ним сошелся»¹³. Близкое знакомство с П. Мёрисом было, разумеется, лучшей рекомендацией для того, чтобы попасть на вечерний прием к Гюго. И Шарапов, естественно, добился этого без большого труда.

«Скажу без всякого самохвальства,—„скромно“ замечает Шарапов,—Гюго несколько интересовался мной, благодаря, вероятно, тому обстоятельству, что мои „двадцать с чем-то“ делали меня безусловно юнейшим из всей компании, а мое положение как специального корреспондента большой газеты, да еще корреспондента политического, причисляло меня целиком

к компании „старших“. Разговаривая с Гюго в гостиной, Шарапов «молчал, вслушиваясь внимательно в слова поэта». Их разговор коснулся политически-злободневного тогда «восточного вопроса» и русско-турецкой войны 1878 г. Шарапов записал эту беседу так:

«— Скажите мне,—говорил поэт,—неужели у вас там,—я беру, конечно, интеллигенцию,—неужели не боятся того „décadence“, который неизбежно следует после войны?»

— Эта война была начата при совершенно исключительных обстоятельствах, maître,—отвечал я.—У нас была национальная идея, кото-

A m. Сервет

Victor Hugo

PARIS

PAR

VICTOR HUGO

PARIS

(Introduction au livre PARIS-GUIDE)

PARIS

LIBRAIRIE INTERNATIONALE

10, BOULEVARD MONTMARTRE, 10

Au coin de la rue Lefebvre

A. LACROIX, VERBOECKHOVEN ET C^e, ÉDITEURS

A BRUXELLES, A LEIPZIG ET A LIVOURNE

1867

Tous droits de traduction et de reproduction réservés.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГЮГО ПИСАТЕЛЮ КРЕПЕ НА БРОШЮРЕ „ПАРИЖ“

„Париж“—отдельный выпуск предисловия Гюго к путеводителю „Paris—guide“, изданному по случаю международной выставки 1867 г.

Собрание В. А. Десницкого, Ленинград

рая только-что начинает переходить в жизнь; на пути приложения этой идеи вряд ли нация может остановиться, даже и опьяненная рядом успехов.

— Да ведь идея, если она даже и была (заметьте, читатель, разницу со словами Луи Блана), несется только единицами. Масса застывает мимовольно. Вот Франция: масса с ее инстинктами служила до самой последней эпохи даже здесь почвой для реакции. Теперь идеи уже насквозь начинают проникать в эту массу... теперь ее не остановить... Но у вас, насколько я знаю, идеи составляют достояние очень и очень немногих, почти совершенно изолированных от общества людей...

— Но ведь если раз уже существует идея,—начал я,—она сама собой будет расти, бороться, пока, как вы, maître, говорите, не проникнет насквозь в массу и не восторжествует...

— До этого еще остается слишком много работы, слишком много. Я говорю о славянской идее, которая всплыла на вид и в последнее время поднята, пожалуй, вами. Да... Идея, глубоко верная в своей сущности, только она слишком проста и ничуть не нова... Вы увидите, что в будущем вся восточная Европа будет представлять одну громадную конфедерацию с ярко либеральным устройством. Все нации переживают одинаковые стадии, ибо это закон истории. Запад Европы жил раньше востока. На этом западе раньше всех жила Франция; она перешла эпоху блеска монархии в его кульминационном пункте. Она пережила чудовищную революцию, насквозь сломавшую все старые основы. Затем освободившийся от прежних оков народный дух вылился в цезаризме. Франция прошла триумфальным шествием по всему миру, но это была временная форма; народный дух искал новую, более состоятельную; предстояла вновь борьба. А между тем, труженики мысли, светочи человечества уже работали, и идеи для этих будущих форм народной жизни созрели и окрепли; им предстояло лишь бороться и проникать в жизнь. Если первый цезаризм был даже велик, второй вышел уже анахронизмом, смешным, но, вместе с тем, жестоким, вредным... Франция прошла и эту эпоху; новая форма была уже готова—идея существовала, она даже победила. Нация выбрала эту лучшую форму и влилась в нее; но она не остановилась, потому что еще далеко не все сделано, еще впереди громадная дорога. Республика сделала только одно с той минуты, как она стала твердой: она очистила поле. Пусть идеи прокладывают себе дорогу и тихо, убеждением, пропагандой, перестраивают старый мир... Так и славяне,—они пройдут те же стадии и придут к тому же, тою же самой дорогой; все условия будут те же, потому что все человечество идет одной дорогой.

— Я замечу, maître, что для славян вопрос усложняется. Франция была единой национальностью, или, по крайней мере, скоро и беспощадно поглотила свои побочные ветви. У славян много национальностей, и каждая перешла тот предел, до которого возможно поглощение, каждая хочет жить отдельной жизнью, хотя и чувствует свою общую связь. Затем географическое положение, чересполосица с чуждыми в настоящую минуту, враждебными национальностями,—совершенно другой характер расы. Я хочу только сказать, что дорога к этой поставленной вообще для всего человечества цели будет совершенно иная.

— Другой характер изменяет, естественно, путь, но это не существенно... Вы находитесь в периоде какого-то брожения, и что из него выйдет—нельзя сказать, ваш народ еще не понят и не изучен... Впрочем, ваша идея все же, как крайняя историческая цель современного порядка, строго верна... и вы к этому придете...

Я заметил на это, что вижу в национальностях силу, направляющую общечеловеческое движение на Востоке на совершенно иные пути; я отчасти горжусь тем, что, может быть, и на нашу долю выпадет не только, как немцам, пользоваться готовыми идеями, но при недостатке „предвиденных случаев“ работать и самим. Я до такой степени люблю эту Россию будущего, создающую свои идеи, при недостатке готовых, и создающую самостоятельно на новой, совершенно иной почве, что я готов даже увле-

каться, готов даже думать, что этот новый кодекс будет ничуть не ниже кодекса, выработанного западной цивилизацией...».

Шарапов записал свою беседу с Гюго под свежим впечатлением. Его корреспонденция датирована 9/21 февраля, а посещение Гюго, как он указывает, состоялось накануне—8/20 февраля вечером. Это обстоятельство заставляет со вниманием отнестись к его записям. Конечно, официозно-патриотическая позиция Шарапова в отношении «восточного вопроса» и русско-турецкой войны 1878 г., а также легко уловимый развязно-саморекламный тон всего рассказа, над чем так зло посмеялся Щедрин, заставляют с осторожностью относиться к ряду слов, которые корреспондент «Нового Времени» приписал Гюго. И тем не менее, записям Шарапова нельзя в целом отказать в известной доле непосредственности, правдоподобия и документального интереса.

Отмеченные выше встречи Гюго с русскими, жившими в Париже в 70-х годах, в большинстве случаев были случайными, из числа тех, которые быстро исчезают из памяти и не оставляют в ней серьезных следов. В интернациональной толпе своих поклонников, нередко утомляемый их вниманием и любопытством, писатель забывал их имена и лица, просьбы, с которыми они к нему обращались, слова, которые они ему говорили. Иных из этих случайных посетителей салона на Rue de Clichy, добившихся доступа в «святилище», могли обмануть словоохотливость Гюго и его предупредительная любезность хозяина, которые они принимали за доказательство особого внимания к себе. На самом деле, однако, бывало иначе: природная общительность и, действительно, свойственное Гюго тщеславие помогали ему прикрывать предупредительной вежливостью и внешне подчеркнутым вниманием его личную незаинтересованность в беседах со всеми этими случайными посетителями. Совсем по-иному относился он к тем лицам, которые действительно нуждались в его помощи, которые были ближе к нему по своим идейным устремлениям. Такими были, например, представители русской революционной эмиграции, которых он нередко брал под свою защиту, за которых возвышал свой голос и своим авторитетом среди которых—авторитетом политического борца и международного трибуна—он гордился. Через Анри Рошфора, Альфреда Наке и других деятелей оппозиции и либеральных депутатов с Гюго, в той или иной мере, связаны были и Кропоткин, и Лавров, и многие другие деятели русского освободительного движения. Мы приведем ниже несколько случаев активного вмешательства Гюго в русскую политическую жизнь 70—80-х годов, его выступления в печати в защиту русских революционеров; все эти воззвания, призывы и обращения в значительной степени вызваны были той близостью к Гюго живших в Париже русских эмигрантов, которые, нередко сохраняя к нему двойственное отношение, все же считали возможным прибегать к его помощи.

Любопытно, однако, что с представителями русской литературы в собственном смысле слова Гюго общался всего менее. Со смертью Герцена (1870), с которым Гюго дружил все же, по преимуществу, как с одним из вождей русской эмиграции и демократии, порвались непосредственные связи, которые могли соединять Гюго с русским литературным миром. Из русских писателей Гюго лично знал немногих и, видимо, не очень начитан был в русской литературе, которая как раз в эти годы начала привлекать к себе все обострявшееся внимание Франции и Европы. Гюго никогда не встречался ни с Достоевским, ни с Львом Толстым—писателями,

которые, по собственным признаниям, испытали на себе сильное идейное и художественное влияние автора «Les Misérables». Правда, он лично был знаком с И. С. Тургеневым, да в 1878 г. на литературном конгрессе видел нескольких представителей русской литературы, случайно оказавшихся в Париже. Но взаимоотношения его с Тургеневым были сильно похожи на антипатию, а литературный конгресс, естественно, не мог ввести Гюго в курс русских литературных дел.

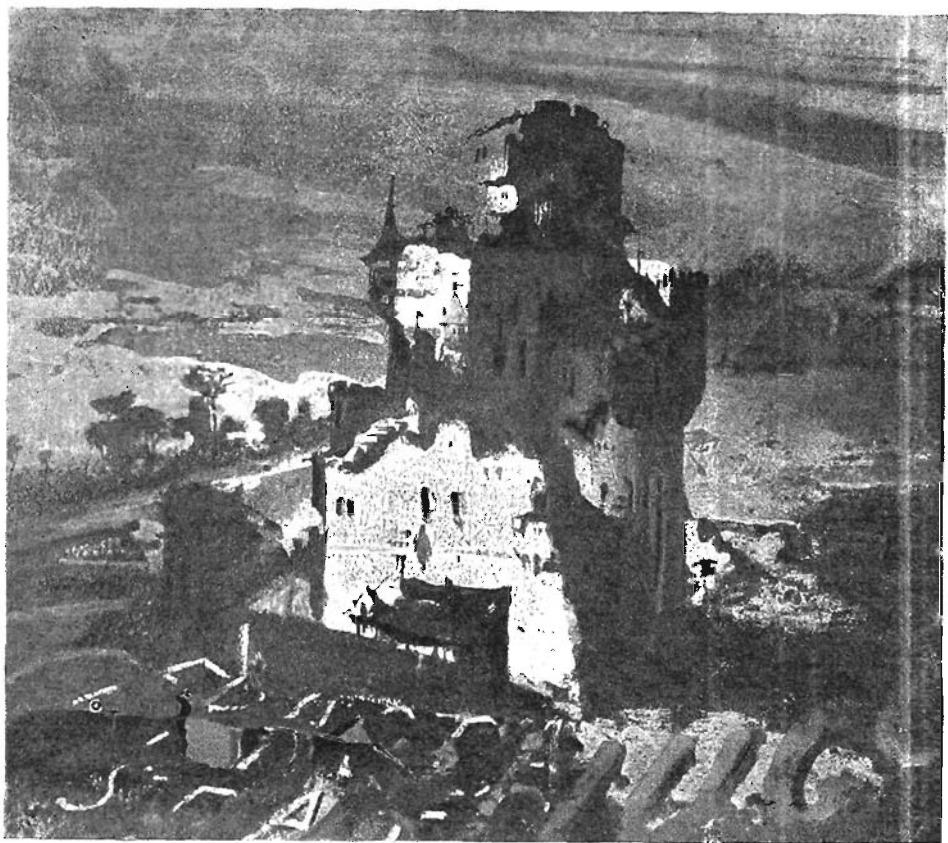
Знакомство Гюго с Тургеневым было неизбежно с тех пор, как последний,—уже прославленный всей европейской печатью писатель,—окончательно поселился во Франции, проводя зиму в Париже, лето—в Буживале и только изредка отлучаясь в Россию. История их личных встреч нуждается в предварительных пояснениях.

Творчество Гюго Тургенев, несомненно, хорошо знал с юношеских лет, но никогда не чувствовал к нему никакого пристрастия. Германофильская закуска юношеского романтизма Тургенева была естественной преградой к тому восторженному отношению к Гюго, какое питала к нему русская молодежь 30-х годов. Отношение Тургенева к лирике и драматургии Гюго не изменилось и во второй половине 40-х годов, во время его первых приездов в Париж. Быть может, уже в это время Тургенев имел случай лично видеть Гюго—в театре и, во всяком случае, слышал о нем рассказы от людей с ним знакомых. В фельетонах первых книг «Современника» за 1847 г. («Современные заметки»),—если они действительно принадлежат Тургеневу,—в числе прочих парижских новостей рассказано, например, о первом представлении в Одеоне (в декабре 1846 г.) новой драмы Понсара «Agnès de Méranie» и упомянуто, что в числе «литературных, ученых и государственных знаменитостей» в театре находился и «Виктор Гюго с семейством»; в другой фельетон занесен слух об академических выборах, о выдвигаемой в академики кандидатуре Бальзака, против которой «решительно вооружились все, исключая Ламартина и Виктора Гюго»; в третьем фельетоне автор решительно ополчается против «нелепой» парижской моды, устраивать чтения в салонах; между тем, ими увлекаются повсюду—«у г-жи Рекамье, у Виктора Гюго, у Лакретеля, у Августина Тьерри...»¹⁴ Впрочем, эти новости были у всех на устах и ни в какой мере не определяют личного отношения Тургенева к Гюго. Неоднократно и подолгу живя в Париже, Тургенев до конца 50-х годов не сближался с французскими литераторами и, повидимому, ни с одним из них знаком не был¹⁵; отзывы его о французской литературе были резки и раздражительны; напомним известное письмо Тургенева к С. Т. Аксакову из Парижа от конца 1857 г., где он, характеризуя французскую литературу этого времени, в которой «капли нет поэзии», упоминает и о литературных светилах старшего поколения: «Сквозь этот мелкий гвалт и шум пробиваются, как голоса устарелых певцов, дребезжащие звуки Гюго, хилое хныканье Ламартина, болтовня зарапортовавшейся Жорж Занд...»¹⁶ Очередные поэтические сборники, выпускавшиеся Гюго в изгнании, обычно вызывали у Тургенева лишь негодование; правда, позднее Тургенев признавал «необычайную» лирическую силу Гюго, ссылаясь при этом на «Châtiments»¹⁷, но чаще отзывы его были просто беспощадны: «Читали вы „Chansons des rues et des bois“ par V. Hugo?—спрашивал Тургенев П. В. Анненкова в письме от 10 декабря 1865 г.—Господи боже мой, до чего может дойти безобразие и мерзость упадка? Может ли какое бы то ни было рвотное сравниться с этим? Век, в котором такие гады выползают на свет—уже не имеет ни-

чего общего с художеством. Я давно не испытывал такого негодования»¹⁸. Вскоре Тургенев жаловался И. П. Борисову, что он «страдает» от чтения «Отечественных Записок»: «Там есть перевод безобразных „Тружеников моря“ г-на Гюго... о! о! о!»¹⁹ Надо думать, что, беседуя однажды с А. Ф. Писемским о Гюго, Тургенев давал последнему не более высокую оценку. Писемский, между прочим, в юности сам бывший большим поклонником Гюго, вспомнил эту беседу во время работы над своим романом «Люди сороковых годов» и просил Тургенева (письмо от 17 июля 1868 г.): «Напишите мне и то место из Виктора Гюго, которое вы мне приводили о летящей Славе, именно то место, где поэт говорит, что Слава летит, выставивши титьки вперед»²⁰. Тургенев отвечал на это: «Стихи В. Гюго, на которые вы намекаете, находятся в его „Châtiments“, а именно:

...L'Empereur surhumain
Devant qui, gorge au vent, pieds nus, les Renommées
Volaient, clairs en main»²¹.

Но „Châtiments“ появились в 1862 г. [sic!], и, стало быть, цитировать эти стихи в 30-х годах было бы анахронизмом. В то время особый шум производили „Les Orientales“. Вы что-нибудь оттуда возьмите...»²²



ПЕЙЗАЖ СО СТАРИННЫМ ЗАМКОМ

Рисунок В. Гюго

Литературный музей, Москва

В таком почти полном отрицании Гюго со стороны Тургенева были свой смысл и своя программа, которую нельзя объяснить одним лишь различием их художественных воззрений, тем, например, «хладнокровием и объективизмом», которые «никогда не покидали Тургенева и не допускали его до потери сознания реализма вещей» и в которых, по мнению одного из французских критиков, кроется причина того факта, что «он не ставил особенно высоко человека, признанного величайшим гением французской поэзии нашего века»²³. Это различие в эстетических взглядах восходит к основам мировоззрения и общественно-политических убеждений. Тургенев недаром остался вполне равнодушным к таким крупным созданиям Гюго, какими были «Les Misérables» в области романа и «Légendes des Siècles» в области поэзии. Иные из русских «западников» 60-х годов не напрасно упрекали Тургенева за пристрастную недооценку этих произведений, как и всей, впрочем, французской литературы этой эпохи, так отчетливо сказавшуюся в декларативных заявлениях предисловия Тургенева к русскому переводу романа Максима Дю-Кана «Утраченные силы» (1868). «Вкус француза тонок и верен, особенно в отрицании,—писал здесь Тургенев,—но жизненную правду и простоту он ощущает как-то вскользь и неясно, в красоте он прежде всего ищет красоты и, при всей своей физической и моральной отваге, он робок и нерешителен в деле поэтического создания... или уже, как В. Гюго в последних его произведениях, сознательно и упорно становится головою вниз... Уж кутить, так кутить! „Шакеспепар“, мол, так и поступает...»²⁴ Почти то же И. С. Тургенев говорил и десять лет спустя А. Луканиной по поводу виденной им инсценировки «Les Misérables»: «Какая это ложь!—воскликнул он.—Везде ложь, от начала до конца все фальшиво, все высказываемые чувства от первого до последнего... Хоть бы эта сцена, где священник отдает Жан Вальжану подсвечники. А это, например: Жан Вальжан приходит, чтобы убить его, и не убивает потому, что на лице его видит слияние двух светов: света луны и внутреннего духовного света! Нет, в нашей литературе вы этого не найдете. Наш вымысел беден, мы часто скучны, но мы не настолько отдаляемся от жизненной правды, как французы»²⁵. В другой раз, в беседе с той же А. Луканиной, Тургенев «бранил Запад, сравнивал Л. Толстого с Виктором Гюго, говорил, что Толстой гениален, а Гюго—только напыщенный ритор»²⁶.

При анализе этих отрицательных точек зрения Тургенева на творчество Гюго нельзя не учесть и возможных влияний на русского писателя той литературной среды, которая окружала его в эпоху его парижской жизни. Ни знакомство с Мериме, принципиальное «гюгофобство» которого хорошо известно со слов того же Тургенева (см., например, его речь на пушкинском празднике в Москве в 1880 г.), ни его многолетняя дружба с Флобером не должны были ни в чем изменить издавна сложившееся отношение Тургенева к «ритору» Гюго. Флобер, правда, оставался почитателем Гюго до конца своей жизни и, по свидетельству П. Д. Боборыкина, «любил громовым голосом нараспев цитировать его стихи»²⁷, но Тургенев стоял на своем и даже в дружеских письмах к автору «Мадам Бовари» позволял себе некоторые бутады против «кумира» своего друга²⁸. Сближение Тургенева с группой связанных с Флобером младших реалистов, напротив того, означало, что и в отношении к Гюго и во многих других вопросах Тургенев приобретал себе союзников и единомышленников. В последние годы Империи популяр-

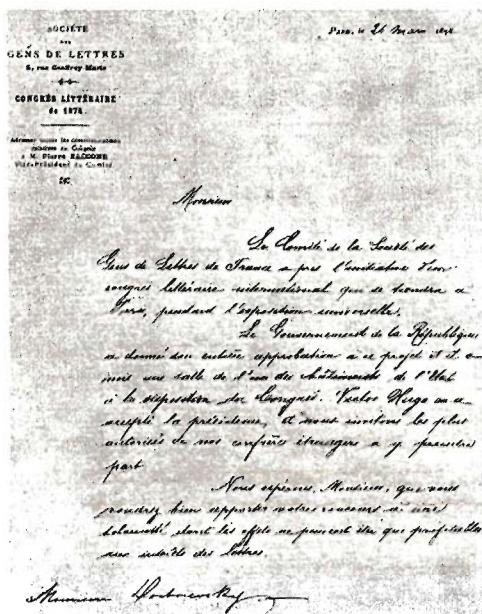
ность Гюго во Франции была, по преимуществу, основана на политической злободневности его антиправительственных стихов. Парижская публика, вспоминает Боборыкин, «пришла в приятное возбуждение, когда драма В. Гюго „Эрнани“ была заново разрешена цензурой и поставлена на театре Французской комедии. Не столько восхищались драмой, сколько радовались тому факту, что запрет был снят с пьесы Виктора Гюго, который продолжал все так же беспощадно клеймить „маленького Наполеона“ и в стихах и в прозе...». «В Латинском квартале любили декламировать стихи из „Châtiments“ Виктора Гюго и читать его памфлет „Napoléon le Petit“, но и тогда уже в некоторых кружках довольно критически относились к его риторической прозе и постоянно подвигнутенному гиперболическому тону»²⁹. В «кружке пяти» 70-х годов, куда вместе с Тургеневым входили Флобер, А. Додэ, Э. де Гонкур и Золя, подобные критические настроения звучали увереннее и громче. Литературная молодежь, по свидетельству Боборыкина, выступала уже «врагами всякого фразистого и слащавого романтизма, находила, что беллетристика страдает фальшью, не считала своими авторитетами ни Ж. Занд, ни В. Гюго...»³⁰ Тургенев вполне разделял эти взгляды; в спорах о Гюго он неизменно был на стороне молодых; его, как и Э. Гонкура, возмущала «канонизация» Гюго, ставшего во французской критике и французском общественном мнении 70-х годов предметом жертвенного культа и поклонения; подобно Э. Золя, Тургенев был сильно настроен против тех, кто из имени Гюго делал своеобразное «табу», не допускавшее в печати ни справедливой критики, ни, во многих случаях, законного порицания.

С этой стороны очень характерно отношение Тургенева к тем нападкам на Гюго Эмиля Золя, какие последний позволил себе на страницах русского журнала. В марте 1877 г. Золя писал М. М. Стасюлевичу, что он к концу месяца вышлет для «Вестника Европы» «корреспонденцию обычного размера», в которой «займется Виктором Гюго» по поводу только что появившейся второй серии «Легенды веков»³¹. В назначенное время статья Золя была прислана в Петербург и, хотя и была напечатана в апрельской книжке «Вестника Европы»³², но сильно обеспокоила Стасюлевича своим резким тоном и своей непочтительностью к маститому французскому поэту. Золя писал здесь, что вторая серия «Легенды веков»—это попрежнему присущее Гюго «декоративное искусство и напыщенность», но,—прибавлял он,—«достаточно одного дуновения правды, чтобы смести с лица земли всю эту театральность, *mise en scène*»; «потомство отвернется от средневекового *bric-à-brac*, не имеющего даже за собой исторической правды. Оно будет изумляться, что мы относились без смеха к этому колоссальному скоплению ошибок и пустяков». Золя находил, что Гюго «столько принял славы при жизни, что может умереть завтра позабытым не жалуясь»; он не верил и в «потомство Гюго»: «Он унесет романтизм с собой, как пурпурный лоскут, из которого скроил себе королевскую мантию... Романтизм отжил; остается один великий поэт, но он не в силах преградить путь натуралистическому движению в литературе...» Сдержанного в своих суждениях и неизменно корректного в своих оценках людей Стасюлевича смущала не столько декларативность этих заявлений, сколько горячность самих нападений Золя. Он тотчас же запросил мнение Тургенева. Ответ Тургенева не замедлил и был самым успокаивающим. «Знайте,—писал он,—что все литераторы здесь—все без исключения, разделяют мнение Золя насчет последних двух томов «Легенд», но, разумеется, сказать этого

не смеют, pour ne pas attenter à une gloire nationale—и, лежа ничком, поют (печатно) хвалебные гимны, но на словах не стесняются. Не такой же он идол у нас,—да и нет причин так трепетно благоговеть»³³. Тургенев не мог высказаться яснее; он был, несомненно, одним из первых, кто рукоплескал Золя за его «отважную» попытку и, несомненно, разделял большинство высказанных в «Парижском письме» суждений, в особенности в их отрицательной части. Так, или приблизительно так, относились к Гюго и упоминаемые Тургеневым «все литераторы», под которыми, очевидно, нужно разуметь прежних участников «артистических» обедов, его тесный парижский дружеский кружок. Любопытно, что близкий к Тургеневу в эти годы П. Л. Лавров в своей статье, присланной из Парижа в Россию и помещенной без подписи в «Отечественных Записках» за тот же 1877 г., дал, в общем, также отрицательную оценку «Легендам веков»; по его мнению, в двух только что появившихся томах заслуживают внимания всего лишь «стихотворений пять»; в остальных его неприятно поражают «невообразимые метафоры и сближения», случаи, когда «недурные начала стихотворений» «кончаются самую деревянную моралью»; «затем начинаются длиннейшие стихотворения с тысячу раз повторенной мыслью, которые признать художественными произведениями никоим образом нельзя...»³⁴ Тургенев должен был сочувственно отметить и этот отзыв, но тем сильнее возмущал его «заговор молчания» парижской прессы. В «Рассказах о Тургеневе» К. П. Ободовского есть эпизод, который подтверждает, что Тургенев долго не мог забыть упомянутой выше статьи Золя и постоянно осуждал отношение к Гюго французской печати. «Особенно излюбленные писатели,—говорил Тургенев,—объявлялись „табу“, причем всякое покушение не только развенчать их, но даже отнестись с некоторой критикой к их писаниям считалось преступлением. К таким „табу“ принадлежал Виктор Гюго. Популярность его во Франции была так велика, что малейшее критическое отношение к нему грозило полным отлучением провинившегося от святилища литературы». В качестве примера того, как велика была эта популярность и как велик был в то же время страх впасть в такое преступление, Тургенев рассказал о том, «как одна дама хотела перевести на французский язык письма Золя, посылаемые им в „Вестник Европы“. В этих письмах Золя позволял себе иногда относиться критически к Гюго. Когда известие о том, что его письма будут переведены на французский язык, дошло до Золя, последний, по словам Тургенева, пришел в ужас, так как если бы во Франции узнали, что он позволил себе сказать о Гюго что-либо, не подходящее к общему восторженному тону, то его перестали бы читать, а это, конечно, не замедлило бы отразиться самым печальным образом на его бюджете, бывшем в то время далеко не в том блестящем состоянии, как ныне. Чтобы избавиться от грозившей ему беды, писатель уплатил переводчику значительную сумму с тем, чтобы перевод его писем не появлялся в печати»³⁵. Этот рассказ имеет все признаки анекдота, но его рассказчиком был Тургенев, и это делает его интересным потому, что мы находим в нем выражение тех самых взглядов на Виктора Гюго, о которых говорят нам и другие свидетельства.

После всего сказанного нетрудно предположить, что и личные встречи обоих писателей были редки и случайны. В один из своих последних приездов в Петербург сам Тургенев вспоминал, что у Гюго он был «раз или два»³⁶. Зять Гюго Локруа, почти не расстававшийся со своим тестем, вспоминает, что только однажды он видел Тургенева в гостиниой Гюго на

улице Клиши; по его словам, это было в 1874 г. «Большой диван разделял комнату на две неравные части и образовал около камина нечто вроде „bien retiro“, в котором хозяин Гюго проводил почти все свое время. Он сидел в углу, около экрана, в своей привычной позе, со склоненной слегка головой и скрещенными руками. Если бы не блеск, вспыхивавший по временам в его глазах, то его можно было бы принять за человека, погруженного в сладкую дремоту. В нескольких шагах от него разговаривали три человека: Иван Тургенев, Гюстав Флобер и Теодор де Банвиль. Перед этой группой четырех фигур, освещенных неровным светом камина, я невольно пожалел, что тут не было какого-нибудь знаменитого портретиста, какого-нибудь Франца Гальса или Рембрандта. Тургенев—север-



Le Congrès s'ouvra dans la première nuit
 de nos de bien parler sans brosser et joint
 le programme qui a été adopté dans la dernière
 réunion du Comité et dit que nous nous senty
 fait plaisir votre addition mais nous
 comptons de voir plusieurs une autre affaire
 de déloger au Congrès.

Pour l'épave qui nous représente
 ce notre appel, je vous prie Monsieur, de
 vouloir bien agréer. L'expression de nos
 sentiments de haute considération

Le Président du Comité
 Louis Deland

ПРИГЛАШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНГРЕСС В ПАРИЖЕ, ПРИСЛАННОЕ ОТ ИМЕНИ ГЮГО Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ 26 МАРТА 1878 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

ный гигант, прямой, неподвижный, со своими волосами, как бы покрытыми снегом, был целой головой выше Флобера, тоже высокого, с лысой головой и висящими усами. Крепко сложенный, с широкой грудью, автор «Эммы Бовари» казался созданным для того, чтобы выносить на своих плечах тяжесть постройки „Саламбо“; между ними, переходя от одного к другому, живой, свежий, суетился розовый, гладко выбритый Теодор де Банвиль, этот фокусник божественных рифм, вечно розовый клоун Олимпа»³⁷. Это воспоминание не дает ничего, кроме зрительного впечатления: Локруа забывает предупредить своих читателей, каковы были отношения Тургенева и Гюго, и ничего не говорит о самой беседе, увлекаясь живописностью нарисованной им картины. Из дневника бр. Гонкуров мы знаем о другом визите Тургенева к Гюго и можем точно фиксировать его дату: 5 марта (22 февраля) 1876 г.³⁸ На этот раз в гостиной на улице Клиши находились Флобер, Тургенев, Гонкуры, Gouzien и некий неизвестный молодой человек.

Страница дневника Гонкуров не менее живописна, чем приведенное выше воспоминание Локруа, но она более содержательна. Сначала беседа идет на политические темы: «Гюго говорит о соблазне красноречия Тьера, состоящего, по его словам, из вещей, которые многие знают лучше его, и большого количества ошибок в языке, причем все это преподнесено самым противным голосом; и, тем не менее, через каких-нибудь полчаса все это вас захватывает, интересуется, влияет на вас...». Затем в столовой, за ужином, Гюго беседует о Микель Анджело, Рембрандте, Иордансе, Рубенсе. «Мы оставались одни весь вечер, не нарушенный приходом какого-нибудь политического деятеля, и болтали об искусстве и литературе. В одиннадцать часов все поднялись и ушли...»³⁹

Через два года Гюго и Тургеневу пришлось встретиться не в интимной обстановке уютного салона, а на торжественном заседании первого международного литературного конгресса. Это было вскоре после открытия парижской выставки 1878 г.

Конгресс этот созван был по инициативе Общества писателей («Société des gens de lettres»), которое справедливо рассудило, что выставка привлечет в Париж много иностранцев и что этим обстоятельством можно будет воспользоваться для устройства литературного конгресса. «Еще в мае,—вспоминает один из русских участников конгресса,—на выставку съехалось множество писателей, знаменитых и незнаменитых, всех оттенков и направлений, всех стран и всех народов. Рядом с Виктором Гюго, прогуливавшимся по Елисейским полям и Булонскому лесу в открытой коляске с одной молодой русской дамой, в том же Булонском лесу можно было встретить поэта-лауреата Теннисона, Гамерлинга, Кардуччи, Тургенева. Предполагалось, что все эти корифеи европейских литератур непременно примут участие в конгрессе и придадут ему необыкновенный блеск»⁴⁰. Надежды эти оправдались плохо; к серьезным практическим результатам и международным соглашениям, выработка и заключение которых были поставлены в числе важнейших задач конгресса, он не привел; тем не менее, общественное внимание привлечено было к конгрессу большое, и о его заседаниях широко оповестили газеты всей Европы.

На конгрессе этом присутствовала и русская делегация. В состав ее входили И. С. Тургенев, на первом же заседании «par acclamation» и благодаря любезности Э. Абу выбранный вице-президентом конгресса (президентом был Виктор Гюго), далее М. П. Драгоманов, М. М. Ковалевский, Л. А. Полонский, В. В. Чуйко и Б. Чивилев. Торжественное заседание состоялось в театре Châtelet. Публики собралось здесь множество, и произошло «некоторое столпотворение вавилонское». «В два часа,—вспоминает В. В. Чуйко,—совершили свой вход президент Виктор Гюго и члены бюро. В. Гюго поместился впереди посередине, а в глубине сцены—члены бюро. Тут, между прочим, я заметил Жюля Симона, Анри Мартена, иностранных делегатов. Из наших—Тургенева и Боборыкина». Первую речь произнес Абу. «Затем... встал В. Гюго. Он взял в руку огромный манускрипт (бумагу такого огромного формата мне никогда еще не случалось видеть— нечто вроде египетского папируса), весь исписанный нервным, очень крупным почерком, столь хорошо известным Европе, и стал читать. Оказалось, что В. Гюго никогда не произносил своих речей, а читал их. Виктор Гюго был маленького роста, сутуловатый, и на нем был надет подержанный фрак. Волосы и борода совершенно седые и коротко обстриженные; глаза маленькие, но еще блестящие и бойкие, тем не менее, годы (в 1878 г. Гюго

было семьдесят шесть лет) оставили на великом поэте значительные следы; в движениях, в жестах—во всем был виден старик, хотя бодрый старик. Говорил он громко, отчетливо, отрывисто, почти не употребляя никаких ораторских приемов, к которым французы постоянно прибегают; читал он свою речь почти постоянно поднимая глаза кверху»⁴¹. А вот и другое русское воспоминание—П. Д. Боборыкина, который именно на этом конгрессе имел случай впервые присмотреться к Гюго. «Ему было уже под восемьдесят лет; но говорил он еще зычным, несколько картавым голосом, с интонациями старых актеров. Лицо с седыми, как лунь, волосами уже носило явственные следы старчества; но держался он еще довольно бодро и речь свою читал все время стоя»⁴². Резюмировать речь Гюго, отмечает Чуйко, почти невозможно, но все же он подробно записал и ее и свои впечатления.

«Перед вами поминутно сменяется одна величавая картина другой; мистические определения, глубокие сопоставления, великое чувство свободы, братства, любви, с некоторой условной формой напыщенности—вот красноречие Виктора Гюго. И заметьте странность: всегда, когда говорил Гюго, являлась какая-то религиозная обстановка. Этот маленький седой человек сразу образовывал вокруг себя центр. Благодаря своему общему виду, своему глубокому звучному голосу, блестящим метафорам, необыкновенному богатству и блеску своих поэтических эффектов, он являлся как бы пророком... К нему так и относились: почтение и уважение, которыми он был окружен, едва ли можно себе представить. Все знаменитости Франции и Европы (вернее, всего мира) ходили, так сказать, на задних лапках перед ним: каждый хотел пожать ему руку, сказать два слова, услышать от него приветствие. Он привык к этому и со своей старческой флегмой произносил банальные фразы, почти неизбежные в подобных случаях.

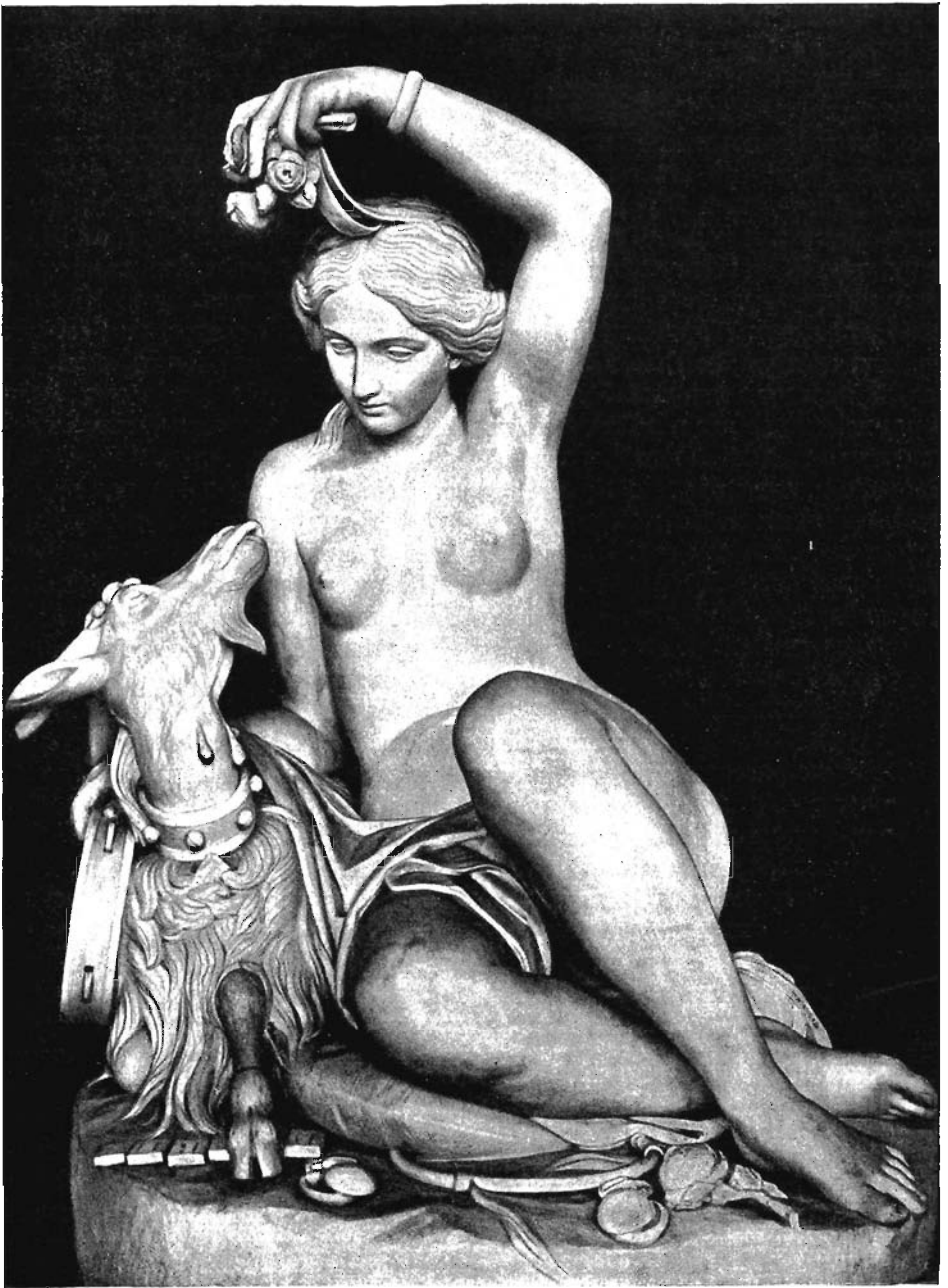
Но возвратимся к его речи. Уже самое начало ее было мистично и напоминало прием поэтического пророка. „Величие знаменательного года, в котором мы находимся, заключается в том, что, несмотря на крики и шум, *imposant une interruption majestueuse aux hostilités étonnées*, он дает слово цивилизации“. Я принужден был оставить текст вводной фразы без перевода, до такой степени она туманна и не поддается передаче на другом языке: ее нельзя перевести. „Об этом годе можно сказать: *c'est une année obéie* (опять непереводаемая фраза). То, что этот год хотел сделать, он сделал. Он заменил прежний порядок вещей—войну новым—прогрессом. Он сломил препятствия. Угрозы еще слышны, но братство народов уже улыбается. Дело 1878 г. будет неистребимо. В нем нет ничего временного, преходящего. Этот славный год, благодаря парижской выставке, провозглашает союз промышленности; благодаря годовщине Вольтера—союз философии; благодаря литературному конгрессу—союз литератур; широкая федерация труда во всех формах; величественное здание человеческого братства, имеющее в основании крестьян и работников, на вершине—ум“. Далее Виктор Гюго назвал литературный конгресс конвентом литератур. „Двухмиллионная армия,—прибавил он,—исчезает,—но «Илиада» остается“. Затем он коснулся принципа литературной собственности и указал на практическое решение этого вопроса,—решение, которое он проповедывал с 1836 г. И, наконец, воззвал к примирению всех народов. Весь этот мистический идеализм, облеченный в удивительную по своему совершенству форму слова, привел в неистовый восторг французскую и международную публику».

Затем говорил И. С. Тургенев. Речь его была краткой и посвящена

была, главным образом, выяснению влияния французской литературы на русскую. Он взял наудачу три эпохи русского литературного развития и подчеркнул, какое значение для каждой из них имел „французский гений“. Великое имя Мольера встречается на заре зарождающейся русской цивилизации; столетие спустя за Мольером последовал в России Вольтер, за Вольтером—еще через столетие—Виктор Гюго; „à Voltaire a succédé Victor Hugo...“ „Двести лет назад, не понимая вас, мы стремились к вам; сто лет позднее мы были вашими учениками; теперь вы нас принимаете, как своих товарищей“. Свою речь Тургенев закончил приветствием по адресу Парижа и Франции—„этих провозвестников великих идей и великодушных стремлений“»⁴³.

По свидетельству того же Чуйко, речь Тургенева «имела несомненный успех, можно даже сказать, самый блестящий успех после речи Гюго, который встал и пожал Тургеневу руку». Великий старец был, несомненно, польщен, едва ли сознавая при этом, что Тургенев должен был произнести его имя скрепя сердце; в благотворности влияния Гюго на русскую литературу он, как мы видели, едва ли был убежден. Публике понравился комплимент Тургенева президенту конгресса, хотя комплимент этот, на самом деле, был не более чем вынужденным выражением вежливости. Русским же делегатам конгресса, как впоследствии и многим органам русской печати, не понравился этот слишком комплиментарный, расшаркивающийся тон и чрезмерное склонение головы перед западной литературой и цивилизацией. Споры об этом пошли тут же, в присутствии Тургенева. М. П. Драгоманов рассказывает, что «тотчас после заседания в буфете театра Châtelet, куда повели меня русские знакомые для представления Тургеневу, некоторые из русских литераторов заметили ему, что он уж слишком много авансов дал французам.—Да ведь они другого языка не понимают,—оправдывался Тургенев,—и никаких иностранных литератур не ценят и не знают,—и тут же рассказал анекдот... о том, что В. Гюго в разговоре с ним смешал драмы Шиллера и Гёте»⁴⁴. Это было как бы реваншем за ту слишком неумеренную похвалу, которую Тургенев позволил себе только что высказать в глаза самому Виктору Гюго.

Едва ли случайно, что анекдот, на который лишь намекает Драгоманов, получил, со слов Тургенева, очень широкое распространение. Очевидно, он рассказывал его много раз, в различных аудиториях. Существует ряд его вариантов. В записи Д. Н. Садовникова анекдот имеет следующий вид: «Относительно невеликих познаний его [Гюго] достаточно указать на те излюбленные исторические имена, которые он постоянно приводит в своих стихах. Его любимцы: Цезарь, Данте, Шекспир, Эсхил, несколько других и какой-то Галгакюс постоянно. Один из élèves спросил его раз: „Mon maître, что это за Галгакюс? Вы часто упоминаете о нем!“. „Галгакюс—право, не знаю, но это хорошо звучит“,—ответил Гюго. Да наконец (продолжал Тургенев), мое первое знакомство с ним довольно оригинально. Надо вам сказать, что он ненавидит Гёте. „Что такое Гёте? Что написал он? Единственная вещь—это «Валленштейн»—и только“; я скромно замечаю: „Mon maître, «Валленштейн»—ведь произведение Шиллера, а не Гёте“. „Ну да, да, это безразлично: он мог написать такую вещь“»⁴⁵. Этот же рассказ Тургенева об ошибке Гюго приведен в заметке «И. С. Тургенев на вечерней беседе в Петербурге 4 марта 1880 г.»⁴⁶ и в «Воспоминаниях о Тургеневе» И. Я. Павловского⁴⁷. Существует и еще одна его редакция—английская: этот анекдот о Гюго со слов Тургенева рассказывает Оскар



ЭСМЕРАЛЬДА С КОЗОЙ ДЖАЛИ
Работа Ф. Солари, мрамор, 1860 г.
Эрмитаж, Ленинград

Браунинг в его «Жизни Джордж Элиот». В октябре 1878 г., следовательно, через несколько месяцев после литературного конгресса в Париже, Тургенев ездил в Англию и, между прочим, побывал в деревенском доме писательницы Элиот, в Сикс-Майл-Боттом близ Нью-Маркета. Среди гостей присутствовал и будущий биограф Элиот—Оскар Браунинг. «В гостиной,—пишет он,—Тургенев рассказал историю о В. Гюго и его большом невежестве. Однажды Тургенев спросил у Гюго, кто был Галган, которого он зачислил в ораторы одной из поэм. „Не имею представления,—ответил Гюго,—но это прекрасное имя...“ Тургенев заговорил с ним о Гёте. „Да,—сказал Гюго,—я восхищаюсь Гёте, я читал его „Валленштейна“». После замечания Тургенева, что «Валленштейн» принадлежит Шиллеру, а не Гёте, Гюго сказал: «Я никогда не читал строчки этих господ, но знаю их произведения так же хорошо, как будто я их написал сам». Другой раз Гюго сказал Тургеневу: «Что касается меня, то я смотрю на Гёте так же, как смотрел бы Христос на Мессалину»⁴⁸. Нетрудно узнать здесь тот самый анекдот, который Тургенев с таким удовольствием рассказывал через несколько лет и в Петербурге. Galgacus, действительный герой многих произведений Гюго⁴⁹, по ошибке памяти Оскара Браунинга назван Galgan'ом; упоминание о Христе, естественно, не могло появиться в русских печатных редакциях анекдота. Тургенев, однако, несомненно, дорожил им, если сам содействовал его международному распространению. Через посредство «Воспоминаний» И. Я. Павловского анекдот стал известен и французским читателям. Павловский же взял его из русского источника—из «Воспоминаний о Тургеневе» Е. М. Гаршина, в которых этот анекдот приукрашен еще одной колоритной подробностью.

По воспоминаниям Е. М. Гаршина, относящимся к 1881 г., Тургенев однажды в Петербурге «целый вечер оживленно, необыкновенно изящно и остроумно рассказывал, между прочим, удивительные анекдоты о В. Гюго, когда речь зашла об этом великом французском поэте. Иван Сергеевич говорил о поразительном тщеславии величайшего поэта Франции и, вместе с тем, приводил примеры его крайнего невежества, особенно по части иностранных литератур». Излагается все тот же анекдот о Гёте. «Вообще Ив. Сергеевич отзывался не очень лестно о степени образованности и начитанности Гюго и даже горячо оспаривал сделанное кем-то из нас замечание, что Гюго хорошо знает Шекспира». О тщеславии же Гюго, продолжает Е. М. Гаршин, Тургенев «рассказывал вещи совсем необычайные, даже для анекдота. Так, например, однажды в салоне у Гюго собравшиеся его посетители один перед другим превозносили его гениальность и, между прочим, подняли вопрос о том, что улица, где он живет, должна быть непременно названа Rue de Hugo. Но при этом кто-то высказал замечание, что эта слишком малолюдная улица не может служить достойным напоминанием великого поэта, что этой чести заслуживает более заметное место в Париже; и тут гости поэта стали перебирать одно за другим самые многолюдные и замечательные места Парижа, поднимая все выше и выше, пока, наконец, один молодой человек не воскликнул с энтузиазмом, что самый город Париж должен считать за честь получить имя великого поэта. Тогда Гюго, и раньше соглашавшийся с мнениями своих поклонников, несколько задумался, затем, обратившись к молодому человеку, сказал глупокомысленно: «*Ça viendra, mon cher, ça viendra!*»⁵⁰ По французскому тексту «Воспоминаний» Павловского этот рассказ Тургенева с удовольствием процитировал известный биограф Гюго и его недоброжелатель Эдмон Бире⁵¹.

В том же году, когда Тургенев в Петербурге рассказывал этот самый злой из его неистощимых анекдотов о Гюго, Париж чествовал своего писателя, устроив демонстрацию перед его домом и забросав цветами всю улицу перед его окнами. Гюго принял, как должное, этот очередной знак общенародного ему поклонения. В числе демонстрантов были дети, общественные деятели, писательские депутации. Звали и Тургенева, но он хмуро отказался, сославшись на свое нездоровье. «Ноге моей лучше,— писал он М. М. Стасюлевичу,—но я все еще не выхожу из дому»; это был превосходный предлог для того, чтобы отказаться от участия в демонстрации: «Впрочем,—прибавлял Тургенев,—я и здоровый бы в ней не участвовал. Хорошо французам нянчиться со своим идолом... а нам-то с какой стати»⁵².

Так на протяжении двух десятилетий неприязненно складывались отношения двух великих писателей. Им не суждено было понять и оценить друг друга. Тургенев никогда не смог примириться со «звучной бессодержательностью» автора «Легенды веков»; фантастическая мечтательность и высокие взлеты его гения, с точки зрения Тургенева, страдали отсутствием логики, чувства правдоподобия и были слишком многословны. Гюго, в свою очередь, едва ли питал большую симпатию к прославленному и на его родине русскому романисту. Мы не знаем даже, читал ли он его романы, как не знаем вообще, обширны ли были его познания в русской литературе. Телеграмма Гюго на имя Тургенева с приветствием по случаю открытия памятника Пушкина в Москве была с его стороны в большей степени вызвана склонностью к международному представительству, чем знаком внимания к памяти родоначальника русской литературы. О своем влиянии и авторитете в России он много раз слышал и от своих русских гостей, и от своих русских корреспондентов, но достаточно ли конкретно представлял он себе русских писателей и русские книги, в которых это влияние, действительно, могло сказаться всего сильнее и ярче? Читал ли Гюго Достоевского? В этом можно сомневаться. Но достоверно известно, что Гюго слышал его имя и должен был считать его в числе своих русских почитателей. В первой половине мая 1879 г. Достоевский получил приглашение на второй после парижского литературный конгресс, который должен был состояться в Лондоне. С помощью Л. В. Жаклар (Жорвин-Круковской) Достоевский сочинил ответ на это приглашение, адресовав его на имя президента конгресса Виктора Гюго. Французский черновик этого ответа сохранился в бумагах писателя. «Господин президент—писал Достоевский.—Вы оказываете мне большую честь своим приглашением на международный конгресс, устраиваемый по инициативе наших парижских сотоварищей. Воздвигаемая вами цель слишком близка интересам литературы, чтобы я не считал себя обязанным ответить на ваш зов. Помимо этого меня особенно влечет к литературному торжеству, которое должно открыться под председательством Виктора Гюго, этого великого поэта, чей гений оказывал на меня с детства такое мощное влияние»⁵³.

Этот ответ, который, без сомнения, знал Гюго, должен был удовлетворить его больше, чем натянутое приветствие Тургенева на предшествующем конгрессе. Характерно, что когда в июне 1879 г. лондонский конгресс открыл свои заседания, отсутствовавший на нем Достоевский был единогласно избран членом почетного комитета Международной литературной ассоциации, президентом которой состоял Гюго.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ М. М. Стасюлевич и его современники», СПб. 1912, III, 356. Ср. Hugo, Œuvres complètes («editio ne varietur»), «Actes et paroles». Depuis l'exil, III, 71—88.

² «Новое Время», 1878, № 736 от 17 марта.

³ «Новое Время», 1878, № 711 от 19 февраля.

⁴ Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Об Е. Э. Трубецкой см. «Весть», 1867, № 58; Герцен, Сочинения, XIX, 380; Долгоруков в П. В., Петербургские очерки. 1860—1867, М., 1934, 279; Lolié (Frédéric), Frère d'Empereur. Le duc de Morny et la société du Second Empire, P., 1909, 241—242.

⁵ Липгарт Эрнест Карлович (1847—1932)—художник-рисовальщик и гравёр-офортист, учился во Флоренции, а затем у Г. Жаке и Ж. Лефёвра в Париже, где неоднократно выставлял свои работы в годичных салонах. В своих неизданных еще «Воспоминаниях» (рукопись их, на французском языке, хранится в архиве Гос. Эрмитажа; текст сообщен редакции «Литературного Наследства» О. И. Бич) Э. К. Липгарт, между прочим, рассказывает следующее о своем участии в книге, изданной в честь Гюго, «Le livre d'or de Victor Hugo» (P., 1883):

«Лоперт и Десо предприняли издание роскошной книги в честь Виктора Гюго и обратились к художникам, которые вдохновились каким-нибудь его произведением. Их картины и статуи должны были быть воспроизведены в этом издании, называвшемся «Золотая книга Виктора Гюго». Тем из художников, у кого не было готовых композиций, было предложено издателями выбрать из произведений поэта сюжет по своему вкусу, чтобы воспроизвести его в книге при помощи гелиографуры. У меня попросили заставки, концовки, несколько портретов пером для помещения среди текста и, наконец, пригласили такую же, как своего рисовальщика, поместить композицию вне текста, наряду с модными знаменитостями,—меня, почти неизвестного. Я выбрал „Марион де Лорм“, объявляющую своей старой няне, что она любит Дибье, который не богат, не красив и не знатен—только потому, что она его любит. Моя жена и позировала для Марион, а наша старая бретонка изображала няню. Портрет моей жены удался и поражал сходством. После я написал эту картину гризалью для репродукции, которая вышла очень хорошо. Издатели мои отправили меня с рекомендацией к одному доктору, имя которого я забыл, поклоннику Гюго, составившему коллекцию всех портретов и шаржей великого человека. Поэтому вы можете себе представить, какую гримасу сделал этот господин, когда я попросил его дать мне изображения Гюго в разных его политических фазах: легитимиста, бонапартиста, орлеаниста и республиканца. Он колебался между желанием выбросить меня за дверь и желанием удовлетворить меня—и остановился на последнем, рассудив, что я работаю все же во славу его идола. Как хотите, я удивляюсь ему, но все, что он сделал и написал, мне глубоко антипатично».

⁶ «Франция—голова мира, циклоп, глаз которого—Париж». Портрет (он сделан фотографом Vallery в 1872—1874 гг.) сохранился в «Альбоме кн. Е. А. Черкасской», находящемся ныне в архиве Института мировой литературы им. М. Горького в Москве.

⁷ P a g i s i e n [С. Ф. Шарапов], У Виктора Гюго.—«Новое Время», 1878, №№ 711 (от 19 февраля), 712 (20 февраля), 736 (17 марта).

⁸ «Новое Время», 1878, №№ 693 и 695.

⁹ Шарапов С. Ф., А. Н. Энгельгардт и его значение для русской культуры и науки, СПб. 1893. Приводимый ниже отрывок из неизданного письма М. Е. Салтыкова сообщен мне С. А. Макашиным, поделившимся со мной и другими материалами и соображениями относительно Гюго и русской литературы, за что пользуюсь здесь случаем выразить ему искреннюю признательность.

¹⁰ Щедрин Н. (М. Е. Салтыков), Собрание сочинений, Л., 1936, XIV, 567—568.

¹¹ Тарже Н., Письма из Парижа.—«Живописное Обозрение», 1879, № 1, 23 и сл.; № 2, 44 и сл.

¹² Близость Поля Мёриса к семье Гюго продолжалась уже тридцать лет, когда он познакомился с Шараповым: осенью 1848 г. Мёрис был одним из редакторов журнала «L'Événement»—этого «семейного» журнала Гюго, в 1869 г. принял участие в издании журнала «Rappel», в котором заведывал литературным и театральным отделами.

¹³ Книга «Histoire d'un crime», действительно, издана была в Париже в 1877—1878 гг. в двух томах (у Calmann-Lévy), под наблюдением Поля Мёриса.

¹⁴ «Фельетоны сороковых годов», «Academia», 1930, 236, 240, 279, 294.

¹⁵ Клеман М. К., И. С. Тургенев, Л., 1936, 189—192.

¹⁶ «Вестник Европы», 1894, II, 498.

¹⁷ Садовников Д. Н., Встречи с Тургеневым.—«Русское Прошлое», 1923, III, 107.

¹⁸ «Наша Старина», 1915, I, 77—82.



ЭСМЕРАЛЬДА



ФЕБ

Персонажи романа «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго
Статуэтки фарфорового завода Миклашевского, 1850-е гг.
Музей керамики, Кусково

¹⁹ «Шукинский Сборник», М., 1909, вып. VIII, 376.

²⁰ П и с е м с к и й А. Ф., Письма, ред. М. К. Клемана и А. П. Могиланского, Л., 1936, 232, 683. По свидетельству К. П. Барсова, А. Ф. Писемский, еще будучи студентом четвертого курса, перевел драму В. Гюго «Анжело» (см. «Русские Ведомости», 1881, № 38).

²¹ «...Император — сверхчеловек, пред которым — грудь на ветер, с обнаженными ногами, — славы летят с трубами в руках». — «Châtiments», Nox, III, 2—5.

²² «Новь», 1886, XII, № 23, 185. Тургенев, в свою очередь, допускает ошибку в хронологии: «Châtiments» вышли не в 1862, а в 1853 г.

²³ Ж., И. С. Тургенев и французская литература (письмо из Парижа). — «Новости», 1883, № 177, от 27 сентября.

²⁴ Т у р г е н е в И. С., Сочинения, ГИХЛ, М.—Л., 1933, XII, 284.

²⁵ «Северный Вестник», 1887, II, 44. Запись Луканиной датирована 30 марта 1878 г. Речь идет об инсценировке романа, сделанной (1878) Полем Мёрисом под наблюдением В. Гюго и в сотрудничестве с сыном Гюго Шарлем.

²⁶ «Северный Вестник», 1887, III, 78.

²⁷ Б о б о р ы к и н П., Столицы мира. Тридцать лет воспоминаний, М., 1911, 194.

²⁸ «Северный Вестник», 1896, XI, 138.

²⁹ Б о б о р ы к и н П., op. cit., 163, 166.

³⁰ I b i d., 174.

³¹ «М. М. Стасюлевич и его современники», СПб. 1912, III, 615, 617.

³² З о л ь Э., Парижские письма. XXIII. — «Вестник Европы», 1877, апрель, 847—876.

³³ «М. М. Стасюлевич и его современники», III, 123.

³⁴ «Лирики тридцатых и сороковых годов». — «Отечественные Записки», 1877, VIII, 374—414. См. также Л а в р о в П., Этюды по западной литературе, П., 1923, 86; «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников». Собрал и комментировал М. К. К л е м а н, Л., 1930, 37. Впоследствии П. Л. Лавров на страницах русской печати говорил о критических выступлениях Э. Золя против В. Гюго («Этюды», 126). Нет сомнения, что П. Л. Лавров обращался к Тургеневу за некоторыми разъяснениями относительно биографии Гюго. Работая над статьей «Сент-Бёв, как человек» (напечатана в «Отечественных Записках», 1881, I, 201—228; II, 435—464, за подписью П. У....в), Лавров спрашивал у Тургенева об известном романе между Сент-Бёвом и женой В. Гюго. Тургенев писал по этому поводу Лаврову: «Мне приходится выразить удивление, что вам такой громогласный факт остался неизвестным. Сент-Бёв сделал великого В. Гюго рогоносцем — что было тем обиднее поэту, что Сент-Бёв был его другом и отличался безобразием. Маленькая дочь была, однако, не продуктом г-жи Гюго и присочинена Сент-Бёвом для красоты слога: он был замечательнейший болтун и детей никогда не имел» («Минувшие Годы», 1908, VIII, 26).

Гюго, как мы уже упоминали (см. гл. III, прим. 26-е) был одним из любимых писателей П. Л. Лаврова в эпоху его юности. Критически-сдержанное отношение к Гюго возникло у Лаврова лишь в 70-х годах, когда он жил за границей; о произведениях Гюго этого времени Лавров отзывался теперь без прежнего энтузиазма, а иногда и сурово: «все это деланно, очень уж фигурно, очень уж старо» (письмо к Е. А. Штакеншнейдер от 31/12 июля 1872 г.) Лавров, противопоставляя Гюго деятелям Парижской коммуны, прямо называет его «фразером» («Голос Минувшего», 1916, IX, 128). Однако, ни эмиграция, ни Парижская коммуна, ни приобщение Лаврова к идеям революционного социализма не смогли вытравить у него интереса к В. Гюго. Лавров продолжал внимательно следить за всеми этапами его литературной деятельности и очень часто откликался на них в своих работах. Любопытно, что ни одному иностранному писателю Лавров не уделил столько внимания, как Гюго, посвятив ему ч е т ы р е специальных статьи: три из них («Два старика», 1872 г., «Лирики тридцатых и сороковых годов», 1877 г., «Иностранная литературная летопись», 1881) перепечатаны в книге «Этюды по западной литературе», П., 1923; четвертая — «Заметки о новых книгах», написанная по поводу «La légende des Siècles», 1883, помещена в «Вестнике Народной Воли», Женева, 1883, № 1, отд. II, 24—26, за подписью П. Л. и представляет особый интерес. «Конечно, почти всякий читатель „Вестника Народной Воли“ несколько удивится, прочтя в нем название этой книги [«La légende des Siècles»], — пишет здесь Лавров. — С какой стати в издании русских социалистов-революционеров говорить о Гюго?» Отвечая на этот вопрос, Лавров констатирует, что, «восхищаясь Шекспиром и Лермонтовым, Гейне и Тургеневым, молодежь наша осталась реалистической в своих вкусах, и романтические антиязы Гюго, который пережил все поколение французских романистов, не было никогда по вкусу нашим русским читателям. То идолопоклонство перед ним, которое господствует во французской литературе, нам совсем непонятно, особенно в приложении к старческим произведениям, где недостатки его романтизма

стали еще резче, длинноты еще утомительнее, а достоинства проявляются еще реже». «Но,—продолжает Лавров,—именно потому, что большинство читателей „Вестника Народной Воли“, вероятно, и не подумают заглянуть в новые томы стихотворений восьмидесятилетнего романтика, мне кажется полезным указать им на некоторые места, которые могут, при случае, служить цитатами или эпиграфами, под которыми иной читатель, быть может, с удивлением прочтет имя Виктора Гюго». Приведенный далее подбор стихотворных цитат из Гюго чрезвычайно характерен; Лавров рекомендует «с пользой перелистывать» отдел, озаглавленный Гюго «Круг тиранов», и некоторые другие стихотворения сборника, в которых сильные ноты социального протеста. «Выписывая эти строки,—заканчивает свою статью Лавров,—я несколько опасаясь, как бы русская цензура задним умом не запретила подданным Александра III читать стихотворения Гюго. Что же: это было бы любопытно сообщить Европе».

³⁵ О б о д о в с к и й К. П., Рассказы о Тургеневе.—«Ист. Вест.», 1893, II, 362.

³⁶ «И. С. Тургенев на вечерней беседе в Петербурге 4 марта 1880 г.».—«Русская Старина», 1883, октябрь, 208.

³⁷ Ж., И. С. Тургенев и французская литература.—«Новости», 1883, № 177.

³⁸ К л е м а н М. К., Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, «Academia»; 1934, 244.

³⁹ *Journal des Goncourt*, V (1872—1877), P., 1891, 267—268.

⁴⁰ Ч у й к о В. В., На конгрессах.—«Труд», 1892, № 11, 382.

⁴¹ Ч у й к о В. В., На конгрессах, 386, 389—391; ранее то же воспоминание, в несколько иной редакции, занесено в статью Ч у й к о В. В., В. Гюго (Опыт литературного портрета).—«Наблюдатель», 1885, июнь, 168—169. Об этом конгрессе вспоминали также и другие его русские участники—М. П. Драгоманов (см. ниже, прим. 44-е), М. М. Ковалевский («Минувшие Годы», 1908, № 8) и многократно П. Д. Боборыкин в своих статьях о Тургеневе («Новости», 1883, № 144, от 25 августа; «Русские Ведомости», 1908, № 194). Все речи Гюго на конгрессе напечатаны в собрании его сочинений, см. «Actes et paroles», Depuis l'exil («editio ne varietur»), 89—119.

⁴² Б о б о р ы к и н П., Столицы мира, М., 1911, 194.

⁴³ С р. Т у р г е н е в И. С., Сочинения, ГИХЛ, М.—Л., 1933, XII, 222—223. В. В. Стасов, отзываясь на эту речь Тургенева в заметке «По поводу одного русского на французском конгрессе» писал: «Пожалуй, присутствовавшие принуждены были подумать, что вот дескать, у русских было три эпохи, и всякий раз тот или другой француз задавал тон русской литературе... Но ведь этого никогда не бывало: ни Мольер, ни Вольтер, ни В. Гюго никогда у нас никаких последствий не имели».—С т а с о в В. В., Сочинения, СПб., 1894, III, 1433—1435 («Новое Время», 1878, № 821).

⁴⁴ Д р а г о м а н о в М. П., Воспоминания о знакомстве с И. С. Тургеневым, Казань, 1906; «Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», Л., 1930, 166—167.

⁴⁵ С а д о в н и к о в Д. Н., Встречи с И. С. Тургеневым.—«Русское Прошлое», 1923, III, 107—108.

⁴⁶ «Русская Старина», 1883, X, 208—209.

⁴⁷ P a v l o v s k y I., Souvenirs sur I. Tourguéneff, P., 1883; русск. перев.—«Русский Курьер», 1884, № 150.

⁴⁸ B r o w n i n g (Oscar), Life of George Elliot, L., 1890.

⁴⁹ Имя Galgacus, действительно, часто встречается у Гюго. Уже в ранней оде 1822 г. (I, 11, 4) он пишет:

 Sa dévorante armée avait dans son passage
 Asservi les fils de Pélage
 Devant les fils de Galgacus.

Личность этого Galgacus не вымышлена автором. Гюго, вероятно, знал его из Тацита, который этим именем называет одного из каледонских вождей, сражавшихся с Агриколой в Британии во времена Веспасиана. В самых неожиданных сочетаниях имя Галгакуса встречается и в «L'Année terrible» (Prol., 14: «Kosziusko surgit des os de Galgacus») и в «Actes et paroles» (3, 54: «On ne vous intimide pas, Allemands. Vous avez eu Galgacus contre Rome et Koerner contre Napoléon»). Ср. еще «Depuis l'exil», I, 54—55. О Galgacus в восприятии Гюго см. Schiebries (Fr.), Victor Hugo's Urteile über Deutschland, Königsberg, 1914, 29—30, 69, 83.

⁵⁰ Г а р ш и н Е. М., Воспоминания о Тургеневе.—«Исторический Вестник», 1883, XIV, 381—382.

⁵¹ B i r é (Edmond), Victor Hugo après 1830, P., 1890, II, 237—238.

⁵² «М. М. Стасюлевич и его современники», III, 192.

⁵³ Г р о с с м а н Л., Жизнь и труды Ф. М. Достоевского, «Academia», 1935, 281—282, 284.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

ОТНОШЕНИЕ К ГЮГО РУССКОЙ ПЕЧАТИ В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЕГО ЖИЗНИ.—ГЮГО И ЕГО РУССКИЕ КРИТИКИ, ПЕРЕВОДЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ.—ГЮГО—ЧЛЕН ПСКОВСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ.—АВТОГРАФЫ И ПОРТРЕТЫ ГЮГО, ПОСЛАННЫЕ ИМ В РОССИЮ.—ПИСЬМО К ГЮГО А. П. ФИЛОСОВОЙ.—ГЮГО И В. Н. АНДРЕЕВСКАЯ.—ОТВЕТ ГЮГО ТИФЛИССКОЙ ГИМНАЗИСТКЕ.—ГЮГО И „НАРОДОВОЛЬЦЫ“.—ОТКЛИКИ ГЮГО НА РУССКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.—СМЕРТЬ ГЮГО И РУССКАЯ ПРЕССА.—ДОНЕСЕНИЯ РУССКОГО ПОСЛА В ПАРИЖЕ О ПОХОРОНАХ ГЮГО.—НЕКРОЛОГ ГЮГО В „ОБЩЕМ ДЕЛЕ“.

В отношениях к Гюго русской печати и общества в 70-х годах, естественно, не могло быть единодушия. Радикальная пресса попрежнему им очень интересовалась, официальная или близкая к правительственным кругам, напротив, всячески старалась ослабить его авторитет у читателя. Участились попытки доказать, что он пережил свою славу, явственнее становились усилия сделать правительственный нажим на общественное мнение. После окончательного возвращения Гюго во Францию его политические выступления, его роль крупнейшего демократического писателя Франции, хранителя заветов демократии и гуманизма в современной ему литературе, наконец, почти официальный «культ Гюго», установившийся в Третьей республике,—все это, безусловно, обращало на себя внимание русских правительственных кругов. Необходимо было создать впечатление, что авторитет и влияние Гюго сильно преувеличены, что его международная популярность обязана не литературным его произведениям, но политической борьбе, и тем самым зачислить его в ряды «небезопасных» иностранных писателей. В большой статье 1875 г., написанной по поводу первого тома «Actes et paroles», «Русский Вестник» выполнял именно эту задачу; он старался доказать, что слава Гюго—вся в прошлом, что период «высокого поэтического творчества» сменился у него полным падением, что, «кинутый в водоворот политической жизни», Гюго мало-помалу «утратил то художественное отношение к жизни, из которого вышли самые поэтические его создания». Статья носит характерное заглавие: «Политическая жизнь Гюго», и целиком направлена на то, чтобы утвердить читателя в мысли, что «политические страсти разрушили артистическое равновесие его духа и привили ему ту болячку красного радикализма, ту привычку к необузданному злоупотреблению фразой, тот нестерпимо напряженный ораторский экстаз, которые заели его поэтический талант»¹. Риторизм и щеголяние фразой, как мы уже знаем, вызывали неодобрение и со стороны тех, кто видел в Гюго борца и народного трибуна, но едва ли кто-нибудь решился бы серьезно утверждать, что даже эти присущие ему недостатки не сыграли своей роли и в России, что следы их не сказались и в русской литературе. Едва ли кого-либо удалось бы убедить в том, что Гюго всегда пользовался незначительной популярностью в России и что он не оставил никаких следов в русской мысли, литературе и искусстве. А между тем, именно это проповедывал «Русский Вестник». «Большинству нашей публики,—писали здесь,—В. Гюго известен только по его последним, сравнительно очень слабым произведениям. Многие только по имени знают в настоящее время его лучший роман „Церковь парижской богородицы“; другие романы того же романтического периода его творчества по большей части не были у нас переведены и никогда не пользовались известностью. Как поэта и драматического писателя у нас знают его еще менее. Ни одна из его пьес никогда не давалась на нашей французской сцене и, если не ошибаемся, никогда не была переведена, по

крайней мере, достойным образом. Не более посчастливилось у нас и его стихотворениям. Около десятка их было переведено нашими поэтами, главным образом, из книги „Созерцания“, тогда как во французском издании поэзия В. Гюго занимает целых одиннадцать томов. В последнее время с его стихотворениями случилось то же, что и с его романами: стали переводить позднейшие и слабейшие, из книги „Страшный год“, наполненной нестерпимой риторикой и фразерством, тогда как лучшие художественные произведения (в книгах „Оды и баллады“, „Восточные стихотворения“, „Осенние листья“, „Лучи и тени“ и др.) остались совершенно неизвестными русской публике. Оттого у нас на В. Гюго смотрят с некоторым пренебрежением, как на цветистого фразера, полного диких метафор и напряженного экстаза». Эта длинная характеристика заканчивается фразой, выдающей основную причину всех приведенных выше странных утверждений и сознательных передежек: «Надо сознаться, что в последнее время Гюго сам сделал очень много для того, чтобы поколебать свою литературную репутацию»¹.

Трудно было бы, конечно, ожидать от «Русского Вестника» половины 70-х годов другого отзыва о книге («Actes et paroles»), содержащей в себе гневные ораторские выступления против «тирании» русского самодержавия, разоблачения по поводу восточной войны 1854 г., страстные призывы в защиту поляков и приветствия польским повстанцам 1863 г. Но нелепо было доказывать, что романы Гюго «никогда не пользовались у нас известностью»; безнадежно было утверждать, что «не более посчастливилось у нас и его стихотворениям», тем более, что в 70-х годах редкая книжка толстого журнала обходилась без перевода какого-либо из его стихотворений. Оговорку автора, что у нас «стали переводить позднейшие и слабейшие», нетрудно опровергнуть по существу. Отрицать, однако, наличие интереса в русских читателях к позднейшим произведениям Гюго автор статьи не решился также и потому, что все его усилия направлены были на разрушение именно этого интереса.

Всякая новая книга Гюго, вышедшая в Париже, тотчас же привлекала к себе внимание и в России. В редакциях журналов заботились о том, чтобы своевременно оповестить о них своих читателей и перевести то, что было возможно. Н. А. Некрасов пишет М. Е. Салтыкову из Парижа (май 1896 г.): «Я приехал в Париж, когда уже первая часть романа Гюго вышла, и я думаю, что вы были в этом своевременно извещены»². Речь идет о романе «Человек, который смеется», переведившемся для «Отечественных Записок». Кстати, этот роман одновременно печатался в разных русских журналах под различными заглавиями: во «Всемирном Труде» (1869)—под заглавием «Аристократы»; в «Деле» (1869) он назван был «Смех сквозь слезы», в газете «Голос»—«Зубоскал». Обилие переводов и переводчиков, разноименность заглавий романа и посредственность многих, слишком поспешно изготовленных русских его изданий вызвали даже насмешки в «Искре», где помещена была эпиграмма на переводчиков Гюго³; во «Всемирном Труде» интересную пародию поместил П. П. Каратыгин («Зубоскал») ⁴.

Появление «Страшного года» у нас также не прошло незамеченным. Весною 1872 г. Некрасов писал А. А. Буткевич, предлагая ей ехать в Карабаху: «Купим „L'an[née] terrible“ Виктора Гюго и будем перелагать в русские стихи дордгой»⁵. М. Е. Салтыков, живя за границей, оповестил Некрасова о новом произведении Гюго, которое ему только что пришлось

ВИКТОР ГЮГО

Гравюра Фредерика Регамэ 1873 г. с автографом писателя от 30 мая 1884 г.

Обрамление портрета сделано по рисунку Гюго

Литературный музей, Москва



держат в руках; он сообщал из Ниццы (10 ноября 1875 г.): «В. Гюго написал „20 лет изгнания“. Я читал вступление (очень обширное): рядом с прекрасными вещами пропасть пустяков. Да и в цензурном смысле неудобно»⁶. В одном из писем В. М. Гаршина (Е. С. Гаршиной, от 8 апреля 1874 г.) есть следующие строки о романе «93-й год»: «Вот „Quatre-vingt treize“ — этой штуки я осилить не могу. Первый томик прочел, а за остальные даже и не берусь; читал только куски романа в фельетонах „Голоса“ и, судя по ним, осудил и самый роман. Уж такая гюговщина! Впрочем, ведь он очень стар, ему теперь 73 года»⁷. Для нас в данном случае несущественны различия в оценках произведений Гюго со стороны русских читателей; важнее подчеркнуть единство их продолжающегося интереса ко всякой новой книге, на которой стоит его имя. В. Гаршин, не долюбивавший французской поэзии, но знавший Гюго с детства, писал В. А. Фаусеку: «Ламартин — болтуница ужасный, Мюссе все тужится быть умным и изящным... Гюго же, хоть и враль, да зато уж и мастер. Может быть, вам попадет как-нибудь под руку „Les Orientales“: не забудьте там посмотреть „Les Djinnes“ — это такой, я вам скажу, турдефорс стихотворства...»⁸ Не случайно, конечно, и П. Л. Лавров печатает в России без подписи свою статью «Лирики тридцатых и сороковых годов» (1877), в которой дает анализ и «Восточных стихотворений» с их «знаменитыми» «Джиннами», «которые начинаются чисто музыкальным изображением тишины», и других ранних сборников Гюго в сопоставлении с его же «Легендами веков»⁹. Безусловно, Гюго был в России жив и действенен как поэт и в 70-х годах, и на переводах его стихотворений пробовали у нас свои силы лучшие из тогдашних переводчиков. Напомним здесь Г. Е. Благовосветлова, этого своеобразного «западника» среди «шестидесятников»; годы пребывания его за границей (1857—1860) превратили его в большого любителя иностранной жизни; жгучую ненависть к русской отсталости он соединял с преклонением перед европейским прогрессом и нередко впадал в культурнический восторг перед блеском иностранной цивилизации¹⁰. Окружающие не без основания считали его знатоком иностранной литературы, и эту репутацию

он охотно поддерживал, уделяя в своих журналах («Русское Слово» и «Дело», 1863—1884) достаточно большое место для переводов иностранных авторов и всячески поощряя сотрудников к переводческой деятельности. «Он великолепно понимал дух произведений Теннисона, Мура, Лонгфелло, Барбье, Гюго, его любимых поэтов»,—так отзывается о Благосветлове П. В. Быков. «Вспоминается мне,—продолжает Быков,—как после усиленной черной работы мы—Благосветлов, Шелгунов, Бажин и я—сидели в редакции „Дела“ и вели разговор о сборнике Гюго „Les Orientales“». Шелгунов похвалил переводы, сделанные из этой книги Шеллером.—Есть итальянская поговорка: „Il traduttore è traditore“ [переводчик—изменник],—выразился Благосветлов,—и Александр Константинович—переводчик в таком духе... У него в переводах—вранье... Завязался спор. Иные из присутствовавших, в том числе Шелгунов, возражали. К Шелгунову присоединился и я, оспаривая мнение Благосветлова. Он послал к себе за книгой Гюго и затем нашел в „Деле“ перевод Шеллера „Горе паши“. Благосветлов читал куплеты подлинника, я—перевод. Он оказался блестящим. Сравнили еще несколько стихотворений—и Шеллер был оправдан»¹¹.

Мы не станем вдаваться в оценку всех русских переводов из Гюго, появившихся в то время под покровительством Благосветлова или по собственному почину переводчиков; многие из них, естественно, носят на себе следы устарелой поэтической техники и лишены большого переводческого мастерства; но если их взять в определенной исторической перспективе, вне эстетических требований, которые внушила нам более поздняя эпоха русского переводческого искусства, то многие из них покажутся вполне удовлетворительными, по крайней мере, по своим стремлениям передать дух подлинника. Переводы эти очень многочисленны и принадлежат переводчикам весьма различного дарования и технического умения: назовем, для примера, Ю. В. Доппельмайер, А. К. Шеллера-Михайлова, П. И. Вейнберга, В. П. Буренина, М. П. Розенгейма, А. П. Барыкову, О. Н. Чюмину и др. Переводы сделаны из сборников разных лет: нередки переводы из «Orientales», «Chants du crépuscule», но столь же часто попадаются переводы и из «Châtiments», «L'Année terrible», вплоть до «Quatre vents de l'esprit»¹². Именно наличие в русской литературе большого «переводного запаса» из произведений Гюго позволило уже в XIX в. издать в составе русских «собраний сочинений» Гюго несколько томов его стихотворений.

В России охотно читали также политические статьи Гюго, его мемуары и речи. Либеральный «Вестник Европы» уделял им большое внимание. Почти одновременно с упомянутым выше разбором первого тома «Actes et paroles» в «Русском Вестнике», в «Вестнике Европы» (1876, апрель) появилась большая статья К. К. Арсеньева: «В. Гюго, как политический деятель», дававшая оценку двум томам этой книги Гюго («Avant l'exil» и «Pendant l'exil»). Через год Арсеньев напечатал в том же «Вестнике Европы» (1877, август) еще одну статью—«В. Гюго по возвращении его во Францию» по поводу третьего тома «Actes et paroles» («Depuis l'exil»). Статьи эти были причиной острой полемики с ним В. В. Стасова в нескольких статьях «Нового Времени». Стасов выступил против Арсеньева с обвинениями в том, что тот «обезобразил, окарикатурил личность одного из величайших людей современной Европы». В. Гюго,—по мнению Стасова,—«одна из гениальнейших, благороднейших и симпатичнейших

Maurillebourg

29 juillet 1873

je suis très heureux de
l'honneur que me fait
la Commission arché-
ologique de Pskov en
m'associant à ses
travaux. S'accepte
et je remercie.

Yugoslav

Russie

Богусшевскому



Monsieur le Baron Nicolas
de Bogoushevsky
PSK



личностей не только нашего века, но и всех времен и народов, человек, который начал с проповеди ординарнейших предрассудков и потом всю жизнь не переставал все только расти и расти; человек, сбрасывавший с себя одно заблуждение за другим, один предрассудок за другим, человек, в продолжение десятков лет все только выраставший и крепнувший, скоро ставший истинным трибуном своего народа, на кафедре общественных и народных собраний, и в то же время в каждой своей драме, романе, лирическом стихотворении, памфлете; человек, сосредоточивавший на себе постоянно упования и страстные надежды со стороны громадных народных масс своего отечества, человек, не только никогда не устававший, никогда не покладывавший рук в народном деле, но и теперь, 75 лет от роду, продолжающий все с новою силой возвещать все, что только есть светлого, великого, правдивого и глубокого)... «И такого-то человека вы нашли нужным нарисовать наполовину невинным дурачком, наполовину комическим, нелепым краснобаем!» Возникла полемика. К. Арсеньев отвечал В. В. Стасову, что он имел в виду «не обвинить В. Гюго, а только характеризовать его в главные эпохи его жизни», что он «хотел попробовать отнестись к нему со спокойным анализом» и т. д. Но и эти признания не помогли делу: Стасов выступил с новыми обвинениями Арсеньева и, вместе с тем, с новым панегириком любимому писателю; французский народ, по его словам, «страстно любит В. Гюго, потому что слышит в нем свою родную силу, чувствует в нем одного из лучших и необыкновеннейших сыновей своих, своего трибуна, своего вдохновенного пророка и гениального апостола правды, света и новой жизни»¹³.

Ежедневная пресса вообще внимательно следила за Гюго; в органах самых противоположных направлений можно было встретить и анекдоты о Гюго, и беседы с ним какого-нибудь ловкого русского корреспондента, и переводы его речей. В Россию попадали также газеты, издававшиеся Гюго и его семьей,—их завозили сюда побывавшие в Париже русские путешественники; они обращались среди публики не вполне легальным образом¹⁴.

Итак, официальные русские круги ошибались, когда думали, что они могут повредить популярности Гюго в России, или утешали себя надеждой, что ее вовсе не существует. О действительных размерах ее красноречиво говорят и факты иного порядка: переписка и архивные документы, еще не бывшие в печати.

Архив Виктора Гюго, вероятно, хранит в себе много неопубликованных писем русских почитателей поэта; о некоторых из них мы знаем по его ответным письмам, бережно сохранявшимся долгие годы у адресатов. Гюго получал их отовсюду: из Москвы и Петербурга, Харькова и Пскова. Писали Гюго люди всех возрастов, и поводы для их непосредственного обращения к поэту были, естественно, самые различные: иных соблазняла перспектива получить автограф знаменитого современника; другие писали из желания лично засвидетельствовать любимому автору свой собственный читательский восторг и благодарность; писали из стремления стать выразителями «кружкового» или «общественного» мнения, писали потому, что выражением этого мнения хотели обрадовать поэта, как доказательством широты его влияния и идейного могущества, писали, наконец, с просьбой о моральной поддержке, как ученики к учителю и великому другу. Виктор Гюго гордился тем, что подобные письма шли к нему со всех концов мира, и потому почти всегда на них отвечал.

В нашем распоряжении есть, во всяком случае, по одному образцу таких писем каждой категории, которые позволяют составить себе представление об обширности «русской» корреспонденции Гюго.

В 1873 г., с острова Гернси, Гюго прислал письмо в Псков¹⁵.

Перевод:

Hauteville-house, 29 июля 1873 г.

Я тронут честью, оказанной мне Псковской археологической комиссией, избравшей меня своим членом. Принимаю это с благодарностью.

Виктор Гюго

Адрес на конверте: Россия. Псков
Г-ну барону Николаю Богушевскому

Письмо это адресовано барону Николаю Константиновичу Богушевскому (1851—1891), псковскому помещику, археологу и историку¹⁶. Богушевский учился в Оксфорде, Кембридже и Гейдельберге, много путешествовал, а в имении своем близ с. Покровского (б. Псковской губ.) сосредоточил свои исторические и археологические коллекции. Он был любителем исторических штудий и занимался историей России, в особенности же псковскими древностями; некоторые из его исторических работ были напечатаны в Англии. С дилетантским интересом к истории Богушевский сочетал настоящую страсть коллекционера—собирателя автографов и портретов; с этой стороны Богушевский был хорошо известен на Западе—французским, немецким и английским антиквариатам¹⁷. В конце 70-х и начале 80-х годов коллекция Богушевского в с. Покровском, на пополнение которой он тратил много энергии и средств, достигла нескольких тысяч номеров и, действительно, заключала в себе много раритетов; к сожалению, в 1884 г. пожар уничтожил большую ее часть, но дальнейшее собирание коллекции продолжалось вплоть до смерти ее владельца¹⁸. Несомненно, избрание Гюго в члены Псковской археологической комиссии,—с которой у него не могло быть никаких отношений и к существованию которой он должен был быть совершенно безразличен,—нужно рассматривать как удобный предлог для получения Богушевским ответного благодарственного письма. Автограф был получен, приобщен к коллекции,—и на этом, нужно думать, сношения между Гюго и псковским помещиком и коллекционером прекратились.

Аналогичного происхождения, вероятно, гравированный портрет Гюго с дарственной надписью Ф. Ф. Фидлеру и датой 18/30 мая 1884 г. Известный петербургский педагог Ф. Ф. Фидлер (1859—1917) с конца 70-х годов обратил на себя внимание переводами русских поэтов на немецкий язык, но в еще большей степени—своей коллекцией автографов, которую собирал много лет любовно и упорно; это был настоящий литературный музей, в котором автографы и портреты писателей хранились рядом с разнообразными бытовыми реликвиями, предметами домашнего обихода, служившими некогда знаменитым владельцам. Портрет Гюго попал сюда не случайно, но лишь благодаря настойчивости и собирательской страсти его обладателя, получившего его непосредственно из рук самого писателя в 1884 г. Об этом свидетельствует сохранившаяся на обороте портрета помета его владельца: «Собственноручная подпись Виктора Гюго. Получена от него 18/30 мая 84 г. Фидлер. Студент фил[олог]»¹⁹.

В 1875 г. Виктор Гюго прислал свой портрет с автографом Анне Павловне Философовой в ответ на ее просьбу об этом. А. П. Философова

(1837—1912), известная общественная деятельница, близкая к кругам радикальной молодежи и весьма популярная в либеральных кругах Петербурга, была в 70—80-х годах восторженной вдохновительницей русского женского движения. По ее инициативе в 1870 г. были созданы первые общеобразовательные женские курсы в Петербурге, а в 1878 г.—высшие женские Бестужевские курсы²⁰. Она была в дружбе и переписке со многими русскими писателями. В середине 70-х годов у нее завязалась переписка с И. С. Тургеневым²¹; она хотела познакомить его с «новыми русскими людьми», которых он не мог изучать, живя за границей, и с этой целью доставила ему в Париж огромный портфель с разнообразными материалами, которые должны были, по ее мнению, заставить Тургенева узнать и полюбить молодое поколение русской интеллигенции. Это было в пору работы его над «Новью». Из всех этих материалов, однако, больше всего поразил Тургенева дневник самой А. П. Filosoфовой,—поразил, как он сам ей писал об этом (в письме от 6—18 августа 1874 г.), «своей честной правдивостью и неподдельным энтузиазмом». Наряду с Тургеневым, она так же преклонялась перед Достоевским и была с ним в деятельной переписке²². Чисто юношеский энтузиазм и горячность, с которой высказывались ее чувства, не раз ставили ее в неловкое положение, но она не замечала укоризненных взглядов со стороны и мало заботилась о том, что иной раз «компрометировала» этим своего мужа В. Д. Filosoфова, занимавшего крупную должность главного военного прокурора в Петербурге. В 1879 г. над Filosoфовой стряслась беда. 2 апреля этого года «грязнуло соловьевское покушение» на Александра II. «Всего курьезнее,—вспоминает один из современников,—что ночь перед покушением он [Соловьев] провел в доме у Анны Павловны Filosoфовой...». Filosoфову постигло наказание, хотя и не особенно строгое: она была выслана за границу, но, по ходатайству Лорис-Меликова, возвращена оттуда через полтора года²³.

В бумагах Filosoфовой сохранилась копия французского письма, посланного ею Виктору Гюго в ответ на присылку портрета; на нем русская приписка: «Письмо, написанное Виктору Гюго после присылки его портрета,—при этом вспоминается момент возвращения его после ссылки с острова Гернси, когда его встретил общий крик народный (с свойственным чутьем), воскликнувший: *Vive Jean Valgeant*» [sic].

Перевод:

23 октября 1875 г.

Maître,

Как вас благодарить? Не буду даже пытаться сделать это. Я брожу туда и сюда по всему дому в поисках места, где бы я могла поместить сокровище, мною полученное. Конечно, этот прекрасный портрет найдет у нас очень почетное место, но какой бы пьедестал мы для него ни воздвигли, он не найдет такого, какое оригинал занимает в наших сердцах. Да, учитель, мы все являемся вашими неоплатными должниками, потому что более полувека вы дарите нас бессмертными произведениями с расточительностью, которая не имеет примеров в литературных летописях. Мы это чувствуем, мы вам признательны, и наше преклонение перед вами единодушно! Как русская я чувствую гордость, так как если во Франции существуют—к стыду человечества—журналы, которые смеют забывать о том почитании, которое должно вам воздавать, у нас, в России, вы не

найдете ни одного органа печати, который не склонялся бы с уважением и восхищением перед величием вашего гения. Гений! Многие другие были ими. Вы же, вы им являетесь, но вы лучше их. Вы Человек в торжественном значении этого слова. Позвольте мне испросить вашего благословения для моих шести детей, примите восторженные знаки почтения от моего мужа и позвольте мне самой избрать скромное, но столь же покорное место, какое Мария занимала у ног Иисуса. Пусть это эгоистическое место, но верьте мне, что, если бы я имела неоценимую честь принимать вас у себя, я сумела бы также выполнить и долг Марфы.

Анна Философова²⁴

Виктор Гюго должен был оценить это письмо. Оно носит на себе все следы его литературной манеры. Евангельские уподобления, несколько вычурные обороты речи, утверждения, которые, по зрелом размышлении, лучше было бы не писать, но которые сами вылились на бумагу, подталкиваемые предшествующими рядами высоких слов и символических обобщений,—таковы черты этого женского письма, свидетельствующие о восторженном преклонении его автора перед знаменитым писателем.

В собрании Института литературы АН СССР в Ленинграде сохранилось написанное на бланке французского сената письмо Гюго, посланное им в Россию и заключающее в себе всего лишь несколько интригующих слов.

Перевод:

Сенат. Версаль.

Париж, 29 декабря 1876 г.

Я получил благородную страницу и целую руку, написавшую ее.

Виктор Гюго

Адрес на конверте: Харьков Сумская улица
Ее превосходительству Вере Андреевской



ВИКТОР ГЮГО

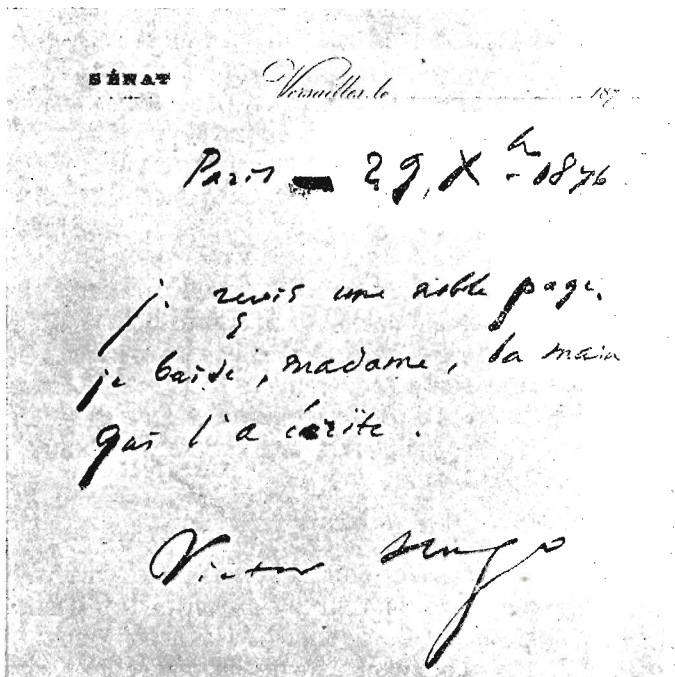
Бюст работы Родена, бронза, 1885 г.

Музей А. И. Сумбатова-Южина, Москва

Быть может, в архиве Гюго хранится эта «страница» письма, содержание которой мы, к сожалению, не знаем: небезынтересно, однако, определить, к кому адресовано ответное письмо Гюго. Нужно думать, что это Вера Николаевна Андреевская (рожд. Герсеванова), занимавшая видное место среди харьковской интеллигенции 70-х годов. Вера Николаевна была замужем за крупным чиновником Аркадием Степановичем Андреевским; у нее было четверо сыновей. Мы знаем о ней не много, но судьба ее сыновей косвенно свидетельствует о том, каким культурным очагом была созданная ею семья. Все они оставили заметные следы в истории русского общества: один из ее старших сыновей-близнецов Михаил Аркадьевич Андреевский (1847—1879) был выдающимся математиком, несмотря на свои молодые годы, и умер тридцати двух лет отроду профессором Варшавского университета; второй—Сергей Аркадьевич (1847—1918) был известным адвокатом, перешедшим в адвокатуру после того, как, будучи товарищем прокурора Петербургского окружного суда, отказался выступить с обвинением по делу Веры Засулич; с начала 80-х годов он выступал и в литературе в качестве поэта и литературного критика; среди его многочисленных переводов французских поэтов, в особенности из Мюссе, Бодлера и Сюлли-Прюдому, есть ряд переводов и из Гюго; третий сын Андреевской Павел Аркадьевич (1849—1890) был присяжным поверенным в Киеве и занимался там литературною и журнальною деятельностью—издавал газету «Заря», писал пьесы; четвертый—Николай Аркадьевич (1852—1880) был приват-доцентом по кафедре римской истории в Харьковском университете, но умер, едва начав свою научную деятельность. Ранняя смерть этого младшего и самого любимого сына была слишком тяжелым горем для матери: она бросила все и постриглась в одном из монастырей²⁵. Эти отрывочные сведения не дают нам никаких данных для того, чтобы судить о том, чем вызвано было письмо к ней В. Гюго; не дает их и тот образ матери, который бегло зарисовал С. А. Андреевский в своих мемуарах («Книга о смерти»), где рассказана история незаурядной русской семьи 40-х годов. Знавший В. Н. Андреевскую А. Ф. Кони вспоминает о ней лишь то, что она играла видную роль в «провинциальном светском обществе» и «отличалась большим умом», «но чрезвычайно властным характером»²⁶. Странно, что и ее сын-поэт, один из предшественников русского поэтического «декадана», переводчик французских поэтов, которых он впервые узнал в родительском доме, где, по старым традициям, нередко слышалась образцовая французская речь,—ни словом не обмолвился о переписке своей матери с Гюго. Зато он, по личным воспоминаниям поры своей юности, в одном из поздних очерков так охарактеризовал отношение к Гюго русской молодежи 70—80-х годов: «В то время от великой эпохи песнопевцев остался в живых только Виктор Гюго, переживший на многие годы Мюссе и Гейне. Обаяние этого подлинного поэта для современников не ослабевало до последнего вздоха. Невзирая на возраставший материализм, на реальную переоценку всех идеальных ценностей, маститый бард Франции продолжал казаться божественным. Романтик, преисполненный величавой таинственности, могучий ритор, неподражаемый изобретатель эффектов, защитник угнетенных, социалист, трибун и, в то же время, неисправимый мечтатель и пророк, В. Гюго все так же вещал миру свой ослепительный бред, презирая наплывавшее со всех сторон полужителное мирозерцание. Такие слова, как „Тайна“, „Бездна“, „Тень“, „Греза“ (O, Mystères! Gouffre! Ombre! Rêve!), не сходили с его уст. Язык

этот был у него так естественен, что никакие пародии на него (правда, весьма добродушные) не ослабляли величия поэта. Даже комическое самообожание Гюго не вредило его славе. Его имя было гораздо более всемирным, нежели в наши дни имя Л. Толстого. В. Гюго казался гением, превосходящим все земное—беспорным и волшебным. С его смертью точно оборвалась последняя связь с небом: исчез последний великий мечтатель. И это были, действительно, последние звуки той высшей музыки слова, которая более не воскресает...»²⁷

В одном из семейных архивов сохранился еще один след «русской» корреспонденции Гюго. В апреле 1883 г. он получил письмо из Тифлиса от шестнадцатилетней ученицы местной русской гимназии Ольги Нико-



АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО К В. Н. АНДРЕЕВСКОЙ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1876 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

лаевны Добржанской. Это были последние годы жизни писателя. Рука утомлялась отвечать на бесконечные просьбы об автографах, советах, мнениях, помощи, и он все чаще доверял это Ришару Леклиду (Lesclides), своему «другу, секретарю и ежедневному гостю», как его называет Жюль Кларети, будущему автору известных книг: «Victor Hugo intime» и «Propos de table de Victor Hugo» (1885). Так поступил он и в данном случае. По его просьбе Леклид написал следующее ответное письмо русской гимназистке:

Перевод:

Париж, 9 апреля 1883 г.

Mademoiselle!

Виктор Гюго получает бесконечно много просьб об автографах, и ему очень трудно их удовлетворять, но ему еще труднее отказать в чем-либо

девушке шестнадцати лет, написавшей ему такое очаровательное письмо. Я посылаю вам несколько слов, которые поэт написал для вас.

Примите мой почтительный привет.

Ришар Леклид

К этому письму приложен был отдельный листок, на котором Гюго собственноручно начертил размашистым и крупным почерком своей старости следующие слова:

«*Aimer, c'est agir. Victor Hugo*»²⁸

Мысль девушки адресовать любимому поэту юношеское письмо, полное, как можно догадаться, восторженных признаний, вполне естественна, но, конечно, она свидетельствует об общественной атмосфере всеобщей популярности Гюго, которой он пользовался в России до конца своей жизни и которая импульсировала все эти письма к нему русских читателей. Каждый писал Гюго по-своему и от своего имени. А вот и пример коллективного обращения к поэту, который еще более показателен.

На пушкинском юбилейном торжестве в Петербурге собравшиеся составили и послали в Париж следующую телеграмму на имя Гюго:

«Представители петербургского общества, собравшиеся для чествования памяти национального русского поэта Пушкина, пьют за здоровье великого учителя (*grand maître*) поэзии—Виктора Гюго»²⁹.

Чем вызвано было это приветствие? Сознанием ли того, что еще жив один из великих современников великого русского поэта? Конечно, одной из причин телеграммы было и это сознание, но для посылки ее в Париж, нужно думать, нашлись и более специальные поводы. В Петербурге было известно, что в те же самые дни В. Гюго письмом на имя И. С. Тургенева откликнулся на торжество открытия памятника Пушкину в Москве. Гюго выражал в нем сожаление, что «по многочисленности занятий не может воспользоваться лестным приглашением, но просит заявить, что он будет духом присутствовать в Москве в течение всего литературного праздника». Об этом письме оповестили многие русские газеты³⁰. На самом же этом празднестве имя Гюго произносилось несколько раз. Его назвал, в частности, в своей речи И. С. Тургенев. По поводу знаменитой речи Достоевского А. Ф. Кони вспоминает, какое бодрящее впечатление произвел на Достоевского «восторженный отзыв об его речи профессора русской литературы в Парижском университете Луи Леже, находившего сущность ее очень интересной „*pour le maître*“, т. е. для Виктора Гюго»³¹. Быть может, одним из поводов для выражения приветствия В. Гюго от имени всех чествовавших память Пушкина было и то, что Гюго был известен у нас как враг убийцы Пушкина—Дантеса-Геккерена, о чем писали в юбилейные дни русские газеты³².

В числе автографов Гюго, находившихся в России в начале 80-х годов, значится еще один, происхождение которого вызывает, однако, ряд сомнений. Он находился в известном рукописном альбоме Ольги Алексеевны Козловой. Местонахождение этого альбома в настоящее время неизвестно, но он был дважды издан в Москве не для продажи (в 1883 и 1889 гг.) и, таким образом, оказался доступным для изучения, несмотря на редкость самой книги³³. Книга эта, «*Album de Madame Olga Kozlow*», воспроизводит типографским способом ряд автографических записей виднейших русских и иностранных писателей середины и второй половины XIX в. Из иностранцев мы встречаем здесь стихи, наброски, афоризмы Виктора Гюго,

Ламартина, Ансло, Анри Мюрже, Арсена Уссе и др., из русских— А. Н. Островского, А. А. Фета, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева, Н. А. Некрасова и др.

Автограф Гюго находился на одной из первых страниц, непосредственно вслед за небольшим стихотворением Дюма-сына. Воспроизводим стихотворение Гюго по печатному экземпляру альбома:

CHANSON

La tombe dit à la rose:
—Des pleurs dont l'aube t'arrose
Que fais-tu, fleur des amours?—
La rose dit à la tombe:
Que fais-tu de ce qui tombe
Dans ton gouffre ouvert toujours?

La rose dit:—tombeau sombre,
De ces pleurs je fais dans l'ombre
Un parfum d'ambre et de miel.—
La tombe dit: fleur plaintive,
De chaque âme qui m'arrive
Je fais un ange du ciel!

Victor Hugo ⁸⁴

В подлинности этого автографа, как будто, сомневаться не приходится, но происхождение его вызывает различные вопросы. Начать с того, что это—известное стихотворение Гюго из сборника «Les voix intérieures», XXXI и что оно имеет там дату: «3 июня 1837 года»⁸⁵. Издавна оно было популярно и в России; существует до десятка его русских переводов, из которых два были напечатаны уже в 1838 г.⁸⁶ Трудно допустить, чтобы в 70-х годах, когда составлялся альбом Козловой, Гюго мог прислать ей или вписать туда собственноручно стихотворение, написанное им за тридцать с лишним лет перед тем. Любопытно, впрочем, что именно это стихотворение Гюго много раз переписывалось авторской рукой; на «выставку Гюго» 1885 г. Этьен Шараве, известный владелец «Cabinet d'autographes, 8, Quai de Louvre», представил как раз автограф второй строфы этого стихотворения, без даты и заглавия, которое означено было в каталоге: «Vers écrits de la main de Victor Hugo»⁸⁷. Не к тому же ли Этьену Шараве, известному парижскому комиссионеру по продаже автографов, тянутся нити автографа из альбома Козловой? Получен ли он был в России или за границей? Известно, что О. А. Козлова (рожд. Барышникова) была замужем за П. А. Козловым (1841—1891), поэтом-переводчиком, типичным представителем великосветских прожигателей жизни из гвардейцев⁸⁸. Знакомство ее с Козловым состоялось за границей. В воспоминаниях Н. Энгельгардта⁸⁹ о П. А. Козлове глухо упоминается, что в 60-х годах, задолго до свадьбы (в феврале 1869 г.), во время своих заграничных путешествий, П. А. Козлов «познакомился со многими французскими и немецкими писателями» и что он имел «огромный и великолепный альбом, в который собирал автографы заграничных и русских известных писателей, композиторов, художников и артистов». «Где этот любопытнейший альбом?»—спрашивает Н. Энгельгардт. Мы предполагаем, что значительная его часть влилась в альбом его жены, в особенности иностранные автографы, но как происходил процесс их собирания Козловым на Западе, нам неизвестно.

К началу 80-х годов относятся несколько выступлений В. Гюго в защиту русских революционеров. Одно из них, вызвавшее широкий международный резонанс, было связано с делом Льва Николаевича Гартмана. 19 ноября 1879 г. совершено было неудавшееся покушение на царский поезд, следовавший из Крыма. Одному из организаторов этого покушения—Гартману—удалось скрыться за границу. Он приехал в Париж, бывший тогда одним из центров русской политической эмиграции. Там жила тогда целая колония русских эмигрантов-революционеров, группировавшихся вокруг русской библиотеки на улице Бертоле. Большинство членов этой колонии находилось в постоянных и деятельных сношениях с прогрессивными французскими политическими деятелями. Под их совместную защиту отдал себя и Гартман. Однако, присутствие его в Париже стало вскоре известно русскому посольству. Кн. Н. А. Орлов телеграфно уведомил об этом петербургское министерство уже в январе 1880 г. и тотчас же получил оттуда инструкции добиться ареста Гартмана и выдачи его русскому правительству. 3 февраля Гартман был арестован на Елисейских полях; на другой день он признался в своей личности шефу парижской полиции Массе, но прибавил, что он не даст более подробных показаний. 25 февраля Орлов категорически потребовал у парижских властей выдачи Гартмана.

На основании актов судебного следствия, Гартман обвинялся, прежде всего, в том, что подвергал действительной опасности железнодорожный поезд, т. е. в преступлении общего характера, которое вообще наказывается по законам уголовного кодекса. Быть может, этот казуистический довод, выставленный русским послом, показался кое-кому убедительным; в первые дни после ареста Гартмана настроение французского правительства было скорее благоприятно требованиям русского посла. Тогда общественное мнение заволновалось: радикальная пресса подняла кампанию против выдачи Гартмана⁴⁰.

По официальным данным, полученным в Петербурге, «русские эмигранты и нигилисты принялись за лихорадочную деятельность. Они обратились к депутатам с просьбой сделать запрос правительству по поводу незаконного и произвольного ареста русского политического эмигранта. Несколько русских эмигрантов сделали также попытку у Гамбетты»⁴¹. Донесения русских политических агентов добавляли при этом, что В. Гюго, «великий французский поэт, не погнушался поддержать эту кампанию всем авторитетом своей известности и своим пером». Действительно, во французской радикальной прессе было помещено обращение Гюго «К французскому правительству», датированное 27 февраля 1880 г. и перепечатанное тотчас же во многих периодических органах Европы и Америки⁴², в котором он писал:

Перевод:

Вы—правительство лояльное. Вы не можете выдать этого человека, между вами и им—закон, а над законом существует право.

Деспотизм и нигилизм—это два чудовищных вида одного и того же действия, действия политического. Законы о выдаче останавливаются перед политическими деяниями. Всеми народами закон этот блюдетя. И Франция его соблюдает.

Вы не выдадите этого человека.

Виктор Гюго

Под давлением общественного мнения колебания французского правительства склонились в пользу Гартмана. Он был освобожден 7 марта и тотчас же отправлен французским правительством в Дьепп, откуда уехал в Лондон.

Вскоре в радикальных парижских органах появилось открытое письмо русских эмигрантов-революционеров, под заглавием «Врагам выдачи», за подписями П. Лаврова, С. Кравчинского, Г. В. Плеханова и Н. Жуковского, которое посвящалось всем французам, поддержавшим и защищавшим Гартмана, в том числе и В. Гюго. Последний также опубликовал в газетах письмо к президенту Французской республики с поздравлениями по поводу принятого французским правительством решения⁴³. Это второе письмо Гюго еще более ожесточило официальную Россию.

Катков в передовой «Московских Ведомостей» язвил, что «нельзя было не ожидать скандала от правительства, для которого даже Феликс Пиа

АВТОГРАФ ГЮГО, ПОСЛАННЫЙ ПИСАТЕЛЕМ О. Н. ДОБЕРЖАНСКОЙ 8 АПРЕЛЯ 1883 г.

Собрание К. В. Ползиковой-Рубец, Ленинград

и Виктор Гюго авторитеты», и высказывал убеждение, что было бы лучше не подвергать французское правительство, «опирающееся чуть ли не на коммунистов, испытанию, которое оно выдержать не могло»: «лучше было бы вовсе не требовать выдачи преступника от правительства ничтожного и слабого и не вводить его в искушение»⁴⁴.

Второе письмо Гюго русскими полицейскими донесениями было квалифицировано, как «клеветнический документ, обнаруживающий полнейшее неведение русских дел», полный при этом «оскорблений по отношению к русскому монарху и народу»⁴⁵.

Русское посольство в Париже сочло необходимым озаботиться изготовлением ответа, и вскоре в газете «Le Nord» (10 марта 1880 г.) появилось «опровержение» и «разоблачение» Гюго, написанное одним из дипломатических чиновников—К. Г. Катакази. Самое имя этого «полемиста» говорило само за себя не только в Париже, но и в официальных петербургских кругах. «Это был отъявленный негодяй»,—отзывается о Катакази Е. М. Феоктистов⁴⁶. Бывший в 70-х годах русским посланником в Вашингтоне, но отозванный по требованию американского правительства и уволенный

со службы, Катакази пристроился в качестве тайного агента, но и в этой роли заслужил презрение тех, ради которых старался. «Этот продаст кого и что угодно»,—писал о нем Катков Победоносцеву⁴⁷. «Что Катакази скот, это я давно знал, но чтобы он был таким мошенником и плутом, я, признаюсь, не ожидал»,—писал сам Александр III, ознакомившись с документальными материалами о похождениях и подвигах Катакази в Париже в 80-х годах⁴⁸. Легко догадаться, чего на самом деле стоили «опровержения» Гюго, сделанные этим субъектом. В русских официальных кругах еще долго вспоминали о своей неудаче. Когда появился «Жерминаль» Золя, в образе Суварина готовы были узнать Гартмана⁴⁹.

Ходатайство Гюго относительно Гартмана укрепило связь между французским поэтом и русскими эмигрантами-революционерами. Ровно через год после описанных происшествий общественное мнение Европы было сильно возбуждено делом Геси Мироновны Гельфман. Как известно, она была арестована через два дня после 1 марта 1881 г., судилась в конце этого месяца и была приговорена к смертной казни через повешение. Однако, исполнение приговора замедлилось, по причине ее беременности. Русские эмигранты своим воздействием на общественное мнение Европы всячески старались оказать ей помощь. В неизданном письме к П. Л. Лаврову (от 17 апреля 1881 г.), сообщая о тех протестах по поводу дела Гельфман, которые организованы были в Швейцарии, П. А. Кропоткин писал: «Нужно, чтобы в Париже и Лондоне тоже было что-нибудь. Нельзя ли вызвать Victor Hugo? Я пишу несколько слов Рошфору, но на него плохая надежда. Надо спасти Гельфман от этой пытки»⁵⁰. Мы не знаем, доведена ли была эта просьба до Виктора Гюго. Существующее в литературе указание, будто сам Кропоткин, отправившийся вскоре в Париж с намерением организовать там большой митинг в защиту Гельфман, специально посетил Гюго и познакомил его с обстоятельствами дела—вполне правдоподобно, но требует проверки⁵¹. Достаточно показательно, однако, и самое намерение привлечь на помощь организующейся кампании протеста авторитет Гюго.

Вскоре новое политическое дело в России заставило Виктора Гюго вновь возвысить свой голос. Между 9 и 15 февраля 1882 г. особое присутствие сената рассматривало при закрытых дверях большой процесс «двадцати двух», в котором фигурировали А. Максимов, Ник. Холодкевич, Ник. Суханов, Мих. Фроленко и др. Среди обвиняемых были также две женщины—Анна Якимова и Татьяна Лебедева. Десять человек были приговорены к смерти, другая группа—к вечной каторге, третья—к различным наказаниям, до 20 лет каторжных работ. Известие об этом процессе дошло до Гюго, и он тотчас же напечатал в газетах открытое письмо-протест. Гюго писал здесь:

Перевод:

Происходят деяния, странные по новизне своей! Деспотизм и нигилизм продолжают свою войну, разнузданную войну против зла, поединок тьмы. По временам взрыв раздирает эту тьму; на момент наступает свет, день среди ночи. Это ужасно! Цивилизация должна вмешаться! Сейчас перед нами беспредельная тьма; среди этого мрака десять человеческих существ, из них две женщины (две женщины!) обречены смерти, и десять других должен поглотить русский склеп—Сибирь. Зачем? Зачем эта травля?

К чему это заточение? Собралась группа людей. Они объявили себя Верховным Судилищем. Кто присутствовал на его собраниях? Никто!.. Неужели никто? Никто!.. Кто сообщал о них сведения?.. Никто! Газет не было!.. Но обвиняемые? Их тоже не было!.. Но кто же говорил? Это неизвестно! А адвокаты? И адвокатов не было!.. Какой же кодекс применяли к ним? Никакой! На какой же закон опирались? На все и ни на один!.. И чем же все это кончилось?.. Десять осужденных на смерть! А остальные?.. Пусть русское правительство поостережется. Оно считает себя правительством законным. Законному правительству бояться нечего. Нечего бояться свободной нации, нечего бояться законного порядка вещей, нечего бояться политической силы. Но можно всего бояться со



ПОХОРОНЫ ГЮГО

Прохождение депутаций под Триумфальной аркой мимо катаfalки с гробом Гюго
С современной французской фотографии

стороны первого встречного, прохожего, всякого случайного голоса! Милосердия! Такой голос — ничто и в то же время все, весь мир, этот безграничный аноним... Этот голос будет услышан; он прозвучит посреди мрака: милосердие земли — милосердие неба. Я прошу милосердия для народа у императора! Я прошу у бога милосердия для императора⁵².

Это воззвание Гюго стало скоро известно в России; по официальным сведениям, оно тотчас же было переведено на русский язык и в гектографированных экземплярах in 4° распространялось в обществе на двух языках под заглавием «Cri de V. Hugo». Дошло оно, несомненно, и до царя. По воспоминаниям современников, вопрос о форме наказания для всех приговоренных вызвал некоторые разногласия у правительства. «Сам Александр III, внимательно следивший за всеми заседаниями суда, стоял за виселицы. Но в бюрократических сферах поняли, что десять новых ви-

селиц не по плечу и самому Александру III»⁵³. Так, министр внутренних дел гр. Игнатъев, быть может, под влиянием обращения Гюго, «стал указывать на необходимость „помиловать“, по крайней мере, хоть женщин, да еще тех, кто не обвинен в участии в террористических актах, как, напр., Клеточников, который приговорен к смертной казни только потому, что возбудил особое негодование против себя правительства своей деятельностью... Александр, под влиянием чьих-то советов, согласился помиловать пять человек. Это известие по телеграфу было передано В. Гюго, когда он был на банкете. Гюго встал и произнес тост: „Пью за царя, который помиловал пять осужденных на смерть и который помилует и остальных пятерых“»⁵⁴.

К этим воспоминаниям следует прибавить еще одно свидетельство. Оно заслуживает внимания, как опубликованное по свежим следам событий и не вызвавшее тогда ничьих опровержений, но, разумеется, требует проверки. Речь идет о телеграфной корреспонденции, посланной из Петербурга в газету «Herald» от 4 апреля 1882 г. и тотчас же перепечатанной и в других газетах, например, в брюссельской «Indépendance Belge» (в апреле). По словам петербургского корреспондента «Herald», «окружавшие царя стояли за то, чтобы были повешены все десять осужденных, но Игнатъев настаивал на помиловании двух женщин и двух других, менее скомпрометированных. Он стал надеяться спасти и других, когда по телеграфу узнал о тосте Гюго. Игнатъев тотчас доложил о нем Александру III. Царь был польщен словами великого французского писателя. Игнатъев сообщил эту новость Сан-Донато, и они решили, что С.-Донато немедленно поедет в Париж и там через мадам Адам, которой он недавно оказал гостеприимство в Петербурге⁵⁵, повидается с В. Гюго». «С.-Донато уехал из Петербурга в четверг 11 марта и прибыл в Париж 14 марта, в воскресенье утром. 15-го он выехал в Россию с письмом от В. Гюго к Александру III, где В. Гюго просил царя о помиловании остальных пятерых осужденных. Александр III прочитал письмо Гюго и немедленно помиловал еще четверых, к общему изумлению окружавших, которые ничего не знали о письме Гюго. Игнатъев и С.-Донато надеялись спасти и пятого—Суханова. Они хотели просить у Александра III отмены смертной казни перед самым ее совершением, но 18-го вечером было получено известие о казни Стрельникова в Одессе,—Игнатъев с С.-Донато... не считали более возможным хлопотать за Суханова»⁵⁶.

Таков этот документ, требующий проверки и подтверждения. Это письмо Виктора Гюго опубликовано не было и в руках исследователей не находилось; быть может, свидетельства об этом найдутся в богатейшем архиве m-me Адам (Жюльетты Ламбер), парижский салон которой 70-х и 80-х годов представляет такой большой интерес для истории франко-русского сближения: ведь именно ее посредничеству между представителем русского правительства и французским поэтом петербургский корреспондент газеты «Herald» приписывает письмо Виктора Гюго к Александру III.

Гюго умер в пятницу 22 мая 1885 г. На смерть поэта откликнулись десятки органов русской периодической печати. В ежедневных газетах, листках, еженедельниках, наконец, в июньских номерах ежемесячных изданий вслед за первыми краткими телеграфными сообщениями о смерти Гюго появились его некрологи, описание его последних дней, подробности беседы за последним обедом, изложение хода болезни, текст завещания, наконец, весьма детальное описание похорон⁵⁷. Большинство этих изве-

стей основывалось на французских источниках и являлось перепечаткой; несколько личных воспоминаний, вроде цитированных выше рассказов М. А. Загуляева, В. В. Чуйко и П. Д. Боборыкина⁵⁸, составляли исключение. Во всех этих статьях, сообщениях, заметках оценка Гюго как человека и писателя носила слишком общий характер и касалась преимущественно его литературной деятельности. Все признают огромное историческое значение Гюго; почти в каждом некрологе можно найти перечень поэтических сборников Гюго, его романов и драм, но характерно, что не сделано ни одной попытки дать очерк значения Гюго в истории русской литературы и общественной мысли и его влияния на ход русского литературного развития. Авторы большинства статей стараются обойти молчанием роль Гюго как политического деятеля или отказывают ему в каком-либо влиянии на общественно-политическую жизнь Европы; предпочитают говорить о Гюго как рисовальщике⁵⁹, в сотый раз вспоминать анекдоты о его юности, литературных битвах ранней романтической поры, но затрудняются дать характеристику его политических убеждений и с опаской говорят о демократических друзьях его последних тридцати лет. Во всем этом нельзя не чувствовать вмешательства российской цензуры. Смерть Гюго и его торжественные похороны многими приравнены были к событиям политического значения. «Смерть Виктора Гюго,—писали в одном из русских журналов,—произвела сильное впечатление не в одной Франции и должна быть отнесена к политическим событиям. Он был такой же великий гражданин, как и великий поэт. Нашлись, конечно, и у нас quasi-журналисты, утверждавшие, что Гюго „не имел никаких политических убеждений, ни определенных философских идей“. Но человек, восемнадцать лет не мирившийся с позорным режимом, обеславившим и погубившим Францию, не принимавший амнистии, не сдававшийся ни на какие компромиссы, клеймивший офенбаховского цезаря могучим стихом, всю жизнь свою проповедывавший гуманность, терпимость, законность, любовь к свободе, борьбу с произволом, ложью, деспотизмом,—такой человек не нуждается в похвалах и оправдании своих поступков. Бессмертие наступило для него еще при жизни, потомству останется только подтвердить приговор современников»⁶⁰. Так, или приблизительно так, думало, несомненно, и демократическое большинство русской интеллигенции 80-х годов. Именно для нее помещены были в печати довольно подробные известия о событиях, которые последовали за смертью Гюго, и о том участии, которое в его похоронах приняла вся демократическая Франция. Вот несколько известий, которые русский читатель мог почерпнуть из русских же изданий, читая между строк и договаривая там, где очевидно было умолчание. «Значение Гюго как поэта—всемирное. Как человеку Франция воздала ему такие посмертные почести, каких не удостоивался ни один из ее великих людей. Так никогда не хоронили в Париже ни королей, ни писателей, ни государственных людей... На похоронах Беранже в 1857 г. было больше солдат, чем народа. Далекое подобие нынешнего печального торжества представляли, в прошлом столетии, похороны Вольтера...». «За два дня до кончины весь Париж был в тревожном состоянии... Агония была мучительна, но умирающий не терял сознания. Парижский архиепископ предложил ему принести утешение религии. Депутат Лакруа отвечал в письме: „Виктор Гюго объявил, что не желает, чтобы во время его болезни присутствовала духовная особа какого-либо исповедания“. Перед смертью поэт сказал: „Я верую в бога,

но не признаю никаких обрядов". Он умер, как жил,—дейстом, завещав 50 000 бедным и свое желание, чтобы его отвезли на кладбище в их погребальной колеснице, т. е. на простых дорогах, без всяких украшений». «Французские газеты наполнились выражениями скорби о понесенной утрате; даже клерикалы, бонапартисты и роялисты не высказывали в своих статьях никакого другого чувства, кроме глубокого горя и удивления перед гением писателя. Сначала его хотели похоронить на кладбище о. Лашеза, где поэт сам изъявил желание уснуть последним сном. Но в палате депутатов левая сторона внесла предложение о погребении Гюго в Пантеоне, который следует возвратить его прежнему назначению: быть усыпальницей всех замечательных людей Франции. Министр внутренних дел пытался отклонить это предложение, но оно было принято большинством 388 голосов против 90. Бриссон от имени президента Республики внес предложение о признании похорон Гюго национальными и назначении на них 20 000 франков. Только три голоса были поданы против этого предложения. Первый министр сказал при этом: „Смерть, нередко возвеличивающая человека, не могла ничего прибавить к славе Виктора Гюго. Гений его властвует над нашим столетием. Голос его имеет огромное влияние в нашей нравственной жизни, в нашем национальном существовании. Демократия оплакивает его потому, что он воспел все ее величие. Он сочувствовал всякому горю. Меньшая братия и бедняки чтили его имя и знали, что они близки его сердцу. Весь народ будет носить по нем траур“». Флоке говорил в палате: «Гюго был звучным эхом XIX века, его радостей и печалей, деятельным участником его величия и несчастий. Гюго не только сделал чудным орудием наш язык, он отточил его для пропаганды. Пропаганду эту герой человечества вел за слабых, униженных, за женщин и детей, за обездоленных и бедных. Он отстаивал уважение к неприкосновенности жизни, милосердие к заблудшим, которых призывал к свободе и к исполнению долга». «Все пять академий, составляющих Французский институт, закрыли свои заседания в знак траура, чего не делали ни в честь Ламартина, ни в честь Тьера...»⁶¹.

Эти цитаты показывают, что, при известном желании, русский читатель 1885 г., пользуясь случайными, далеко не полными сообщениями русской прессы, мог все же составить себе довольно отчетливое представление о том, какой отзвук во всей Европе, особенно же в Париже, получила смерть Гюго.

В то самое время, когда русская журналистика отдавала свой последний долг покойному французскому поэту, в Петербург на имя министра иностранных дел Н. К. Гирса пришли из Парижа письма русского посла во Франции барона А. П. Моренгейма⁶². Моренгейм был весьма типичной для министерства Гирса (1882—1895) дипломатической фигурой. Товарищ М. Н. Каткова по Московскому университету, он рано начал свою карьеру; на двадцать первом году своей жизни Моренгейм был причислен к канцелярии министерства иностранных дел, а затем, в течение последующих сорока лет, непрерывно повышался в дипломатических чинах; он побывал секретарем посольства в Берлине и Вене, состоял советником министерства при Горчакове, затем полномочным министром русского правительства в Дании (1867), послом в Лондоне (1872). От университетских впечатлений начала 40-х годов и юношеского идеализма тогдашней русской молодежи у Моренгейма вскоре не осталось никаких воспоминаний, и он в конце концов превратился в сухого дипломата, пользовавшегося неограниченным

доверием Александра III и во многом походившего на своего начальника Н. К. Гирса, который, по свидетельству современников, преследовал только одну мечту—«остановить ход всемирной истории и спокойно наслаждаться министерским портфелем среди всеобщего затишья»⁶³. В 1884 г., с отъездом из Парижа русского посла кн. Орлова, перемещенного в Берлин, Моренгейм занял его пост. В первые годы своего пребывания в Париже, под конец министерства Ферри, при Бриссоне, Моренгейм оставался в тени и играл очень бесцветную роль, и только в то время, когда во главе кабинета стал Фрейсине (с января 1886 г.), Моренгейм проявил некоторую деятельность и даже явился одним из организаторов франко-русского политического сближения. В год смерти Гюго Моренгейм занят был преимущественно изучением парижских настроений по поводу назревавшего англо-русского конфликта из-за афганских дел, и восточный вопрос, которым в это время всецело занято было русское правительство, интересовал его гораздо больше, чем общественная жизнь Франции. Однако, смерть Гюго заставила и его несколько отвлечься от вопросов высшего дипломатического порядка и обратить внимание на то, что переживал Париж. Похороны Гюго, которым французское правительство постаралось придать значение международной демонстрации, показались Моренгейму вполне достаточным поводом для двух весьма обширных писем к Гирсу. Они интересны для нас и некоторыми подробностями, о которых умалчивает огромная литература, посвященная описанию этого события, и выражением той официальной точки зрения на Гюго, с какой смотрело на него русское правительство. В первом из них, датированном 11/23 мая 1885 г., следовательно, написанном на другой день после смерти Гюго, доведя до сведения министра о русско-английских делах и международном политическом положении в оценке французской печати, Моренгейм пишет:

Перевод:

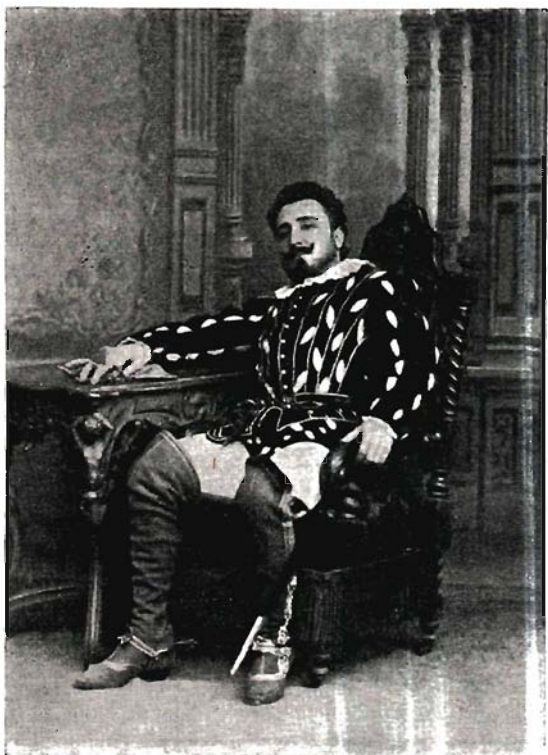
... С точки зрения французов, крупнейшим событием дня, событием, которое, по мнению этой ребячливой и до глупости самовлюбленной нации, заставит забыть самые серьезные заботы всего мира,—является смерть Виктора Гюго, этого псевдо-гения, который искусственно гальванизировался в течение четверти века и стал смешным, благодаря нелепому суеверию некоторых фанатиков, создавших из него фетиш. Играя на собственном ему тщеславии, доходившем до умопомешательства, его заставили стать глашатаем самых отвратительных анархистских и безбожных доктрин. Во Франции не найдется ни одного здравомыслящего человека, который в глубине души не скорбел бы по поводу столь плачевного упадка, но сейчас, в этой так называемой свободомыслящей стране, никто не решился бы во всеуслышание высказать свою мысль,—и, таким образом, все лицемерно сошлись на том, что речь идет о национальном трауре. Об этом кричат, поверьте, отнюдь не в силу искреннего убеждения: стараются кричать как можно громче, чтобы оглушить и обмануть самих себя. Кампанию эту ведут исключительно радикалы, ведут с целью пропаганды и заранее высчитывают, что она им принесет во время будущих выборов. Эта корыстная игра достигнет огромного размаха. Готовятся похороны, которые должны превзойти все, что только можно выдумать в этой области; дело дошло до того, что было даже предложено закрыть для культа Собор богоматери или Пантеон, чтобы превратить его в храм Гюго! Газеты воз-

вестили, что все послы расписались в книге посетителей, пришедших проститься с покойником. Английский посол там, кажется, действительно был; быть может, были итальянский и испанский. Но германский воздержался, а также, полагаю, и австрийский. Я, разумеется, тоже счел уместным воздержаться. Вследствие царящего в стране беспорядка, здесь все возможно, а потому не удивительно, если будет допущена такая бестактность, как приглашение нас на эти г р а ж д а н с к и е, т. е. антирелигиозные, похороны. Я в о з д е р ж у с ь».

На подлиннике против слов «я воздержусь» рукою Александра III написано: «Конечно»⁶⁴.

От русского дипломата 80-х годов трудно было бы ожидать иного отзыва о покойном поэте; мы находим здесь всю ту сумму суждений о Гюго, которые царское правительство при помощи печати всячески старалось привить и русскому читателю двух последних десятилетий; ведь уже задолго перед тем «Русский Вестник» утверждал приблизительно то же самое, что и Моренгейм, осуждая Гюго, главным образом, за то, что он мало-помалу отступил от воззрений «просвещенного либерализма, с которым и выступил в начале 40-х годов», и все более и более сближался «с тою зловещею партией, из которой вышла коммуна 1871 г.»⁶⁵

В качестве представителя официальной России Моренгейм не мог, конечно, присутствовать ни на «гражданской» панихиде, ни при церемонии национальных похорон великого демократического писателя и деятеля. Резолюция Александра III показывает, что царь остался доволен поведением своего посла.



А. И. ЮЖИН В РОЛИ КАРЛА V
В ПЬЕСЕ ГЮГО „ЭРНАНИ“
Первая постановка „Эрнани“ в России,
15 ноября 1889 г., Малый театр
С фотографии 1890 г.
Музей А. И. Сумбатова-Южина, Москва

Второе письмо Моренгейма написано через неделю после первого, тотчас же вслед за днем похорон—21 мая (2 июня) 1885 г.,—и содержит весьма обстоятельный отчет о событии, сопровождаемый выписками из газет. Из многочисленных описаний газет и журналов мы знаем, как на самом деле организованы были похороны Гюго⁶⁶. На десятый день после кончины поэта тело его привезли под Триумфальную арку на площади Звезды. В назначенный день черный, обитый серебром гроб, поставленный на простые дроги, покрытые множеством венков, двинулся в путь, сопровождаемый друзьями поэта, всеми литературными знаменитостями Парижа и громадной толпой, всю ночь, под дождем, ждавшей выноса тела. На площади расположились группы депутатов, делегаты, министры, члены Института, сенаторы и депутаты палаты, магистратура, представители Государственного и Муниципального советов и т. д. Дефилирование депутатов мимо катафалка продолжалось шесть часов. Над гробом произнесено было шесть речей. Министр народного просвещения сказал, что В. Гюго был и останется величественным олицетворением текущего столетия, которого история, противоречия, сомнения, мысли и стремления лучше всего выражались усопшим. Президент сената прославлял Гюго как человека, неуклонно преследовавшего высшие идеалы гуманности и справедливости и имевшего огромное влияние на нравственное состояние Франции. Президент палаты назвал Гюго апостолом, слова которого и после смерти возбудят любовь к свободе и отечеству. От имени Французской академии говорил Эмиль Ожье, упомянувший, что Франция воздаст царю поэтов почести, которых удостоиваются монархи. Говорили еще президенты Муниципального и Генерального советов. Под Триумфальной аркой Звезды тело поэта простояло целый день, и ему приходило поклониться, по крайней мере, полмиллиона народа. С арки спускалось над гробом огромное знамя, оббитое крепом. Тут же была надпись: «Опечаленная Франция Виктору Гюго». Поутру похоронная процессия двинулась к Пантеону под звуки «Марсельезы», смешанные с пушечными выстрелами и гулом голосов: «Vive Victor Hugo! Vive la République!». По сведениям тех же газет, из которых мы берем эти данные, 1168 различных обществ и корпораций прислали депутации на похороны. У широкой лестницы Пантеона, засыпанной цветами, процессия остановилась. Говорили речи: мэр Безансона (родины поэта), престарелый депутат Мадье де Монжо, бывший изгнанник, синдик парижской журналистики Журд. Бордые восхвалял его как драматурга, Жюль Кларети—как писателя, Леконт де Лиль—как поэта. Говорили еще: актер Го, Гийом, американский полковник; негр из Гаити, житель острова Гернси, где великий изгнанник провел 18 лет; итальянец Массерани, упомянувший о единении народов латинской расы. Родные и друзья Гюго сняли гроб с катафалка и отнесли в склеп, где поставили его возле гроба Руссо.

Таковы сведения о похоронах Гюго, которые попали в русскую печать. Посмотрим теперь, какую оценку событию дал Моренгейм. Он следил за французской прессой. От него не укрылся опубликованный в «Journal Officiel» от 31 мая 1885 г. «бесконечный» список депутатов, сопровождавших похоронный кортеж. Он недаром называет похороны «местом встречи интернациональной демагогии»; Моренгейм нашел здесь группы политических друзей В. Гюго, изгнанников Франции, всех «осужденных и изгнанников Коммуны», которых Гюго защищал и в судьбе которых он принял участие; царский посол должен был отметить многолюдное участие в по-

хоромах и русской политической эмиграции, во главе с редакцией «Народной Воли».

Приводим выдержку из самого письма.

Перевод:

За истекшую неделю никаких событий, заслуживающих включения в очередные донесения, не произошло. Она была целиком посвящена расчетливому использованию (*exploitation à froid*) похорон Виктора Гюго; явление это столь типическое, что целесообразно рассмотреть—тоже хладнокровно—его истинное значение. Нет нужды уверять вас, что я не вношу сюда никакой предвзятости, а стремлюсь лишь к самой добросовестной точности. Если моя подробная оценка расходится с преднамеренной показной пышностью, которой придерживается большинство газет,—это не моя вина. Вы сами могли заметить, сколько искусственности сквозит в этих излишних риторических упражнениях. Возможно, что на расстоянии можно впасть в заблуждение и принять это за восторженное и непосредственное отдавание долга всей нацией поэту, талант которого она в своем представлении бесконечно преувеличила. Нет, ничего подобного тут не было. Чего особенно недоставало этому всецело заказному торжеству—это воодушевления, непосредственности и единодушия. Оно явилось не чем иным, как громадной партийной манифестацией, демонстрацией-монстр в честь радикализма и безбожия. Хотели только чествовать с блеском, устроить нечто вроде апофеоза (это слово цинично и употребляется), устроить царственный триумф революции и антихристианству. Если бы кучке демагогов, которая захватила поэта еще при его жизни, сотворив себе из него фетиш, и задумала воспользоваться его трупом в своих целях, не удалось отстранить от его смертного одра какое-либо вмешательство религии,—никакого апофеоза не было бы. Похороны покойника, от которых нельзя было бы извлечь своей пользы, ничем не отличались бы от похорон Ламартина или Мюссе, которые были ничуть не хуже Гюго. Нет, речь тут шла не о более или менее крупном поэте, но об апостоле того, что называют свободомыслием, и праздник, который задали парижскому простонародью и на который приглашали присоединиться и весь мир, был в действительности не чем иным, как праздником вольной мысли, как мягко называют безбожие. Этой лженародной манифестацией, по всеобщему признанию, руководило французское франк-масонство, вкупе с франк-масонством итальянским; к ней не преминули присоединиться толпы зевак, завербованных в тех слоях населения, которые жадны до любого зрелища, будь то похороны, карнавал или масленичный бык. Можно сказать, что за исключением официальных приглашенных, членов так называемых здесь правительственных организаций и т. п., люди из мало-мальски значительных (*élevées*) слоев общества полностью уклонились от присутствия на похоронах и только в качестве простых зрителей кое-где из любопытства выглядывали из окон. Это столь единодушное уклонение также имело характер демонстративный и, разумеется, относилось не к прославленному поэту, а к тем, кто подобным образом профанировали достойный предмет национальной гордости. Факт профанации храма с целью заменить в нем христианский культ культом безбожия содействовал этому расколу. Накануне торжества кто-то сорвал крест над порталом храма и опрокинул престолы,—и тем самым было достигнуто именно то, чего, в сущности, хотели.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ ГЮГО

„ТРУЖЕНИКИ МОРЯ“

Гравюра М. Пикова, 1931 г.

Частное собрание, Москва

Официальная газета приводит бесконечный список deputаций, участвовавших в траурном шествии. Если опять-таки не считать официальных лиц, присутствовавших по обязанности, то шествие это являлось не чем иным, как местом свиданий всех международных демагогических сил. Нигилисты, разумеется, были представлены здесь весьма широко; редакция «Народной Воли» торжественно несла большой венок. Была, конечно, и польская делегация; она даже, повидимому, имела некоторый успех, ибо, как видно из «Siècle», ее приветствовали возгласами: «Да здравствует Польша!».

Не стану упоминать о всех событиях этой недели, посвященной нравственной оргии. Подступы к дому покойного и к арке Этуаль, превращенной во временную усыпальницу, напоминали настоящую ярмарку. Самая постыдная мелкая торговля устроилась там в импровизированных лавочках. Тут пили, ели, горланили непристойные песни и плясали простонародные пляски. Даже радикальные газеты, как, например, «Télégraphe», откуда я черпаю общее описание и выражения, с отвращением восстали против подобных излишеств.

И к участию в такой-то общественной демонстрации правительство имело бестактность пригласить дипломатический корпус, предоставив послам место позади председателей обеих Палат (следовательно, позади г. Флоке), в то время как президент Республики лично не присутствовал, а был представлен одним из генералов. И все же, не весь дипломатический корпус воздержался принять это приглашение. Не приняв, правда, участия в шествии, послы Англии и Италии, а также посланники греческий и шведский, все же явились на предназначенные им места на трибуне для официальных лиц,—и явились по распоряжению своих правительств!

Это не помешало, однако, газетам сообщить, что дипломатический корпус был в полном составе и в парадной форме.

После стольких словесных упражнений сегодня в газетах преподносится завершающий сноп декламаторского фейерверка: «Это было не погребение усопшего, это было воскрешение некоего бога»,—воскликает одна газета. А другая, стремясь превзойти первую, говорит, что это было празднество «вознесения». Дальше итти уже некуда!

Такова, любезнейший Николай Карлович, неприкрашенная истинность этого погребального шутовства. Многие, даже из тех, которые вынуждены были в нем участвовать, чувствуют себя униженными и стыдятся за самих себя, и у них хватает мужества признаться в этом с глазу на глаз. Не один высокопоставленный чиновник, не один известный писатель говорили мне «Какое грустное впечатление должно сложиться у вас о нашей стране»—и прочее в этом же духе. Г-н де Фрейсине, очень рьяный, даже суровый протестант, сказал мне, что он у д р у ч е н.

Так как здесь теперь все поглощено возрастающими заботами о предстоящих выборах, то оба основных лагеря уже подсчитывают, какое действие произведет эта грандиозная демагогическая агитация на народное сознание. Наиболее непримиримые, сделав себе из Триумфальной арки выборный трамплин, думают, что тем самым обеспечили себе мощное орудие пропаганды. Консерваторы всех толков думают, что, наоборот попустительство правительства превратит похороны Гюго в похороны самого правительства, которое будет осуждено народною совестью. Я думаю, что если этот маневр и будет иметь какое-нибудь влияние на выборы, то только тем, как я предвижу это еще со времени падения г. Ферр:



ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ ГЮГО „ТРУЖЕНИКИ МОРЯ“

Гравюра М. Полякова, 1931 г.

Частное собрание, Москва

что будет способствовать значительному усилению обеих крайних партий, т. е. радикалов и роялистов, а это создаст трудности и сделает шатким л ю б о е французское правительство.

На подлиннике рукою Александра III надписано: «Курьезно и отвратительно, я желал бы иметь копию» [т. е. копию этого письма]⁶⁷.

Характерна одна деталь. Моренгейм сочувственно цитирует слова антиклерикала Фрейсине, на которого вся парадная сторона похоронного торжества произвела самое грустное впечатление. Это был тот самый Фрейсине, который полгода спустя (с 7 января 1886 г.) стал во главе нового французского кабинета и близостью с которым Моренгейм воспользовался для того, чтобы всячески пропагандировать казавшуюся сначала вполне неосуществимой идею франко-русского политического союза⁶⁸.

Фрейсине был не одинок в своем отрицательном отношении к тому пышному торжеству, которое организовано было по случаю смерти Гюго. Он мог найти единомышленников и среди молодых писателей Франции, для которых Гюго уже давно перестал быть кумиром. Об их настроениях своевременно оповещал русского читателя Тургенев. Об этих же настроениях вспоминал позднее, как раз по поводу похорон Гюго, другой русский писатель П. Д. Боборыкин. «Привелось мне быть свидетелем и всенародных похорон „поэта-солнца“, — писал Боборыкин. — Никогда ничего подобного еще не видел Париж. Но хоронили не одного Виктора Гюго, а вместе с ним и целую эпоху литературы, и траурное торжество ночью около Триумфальной арки, и длинная, бесконечная процессия на другой день утром смотрели, однако, скорее праздничным зрелищем, чем похоронной процессией, проникнутой чувством всенародного горя. Тело поэта было набальзамировано и должно было лежать около недели, из-за сложных приготовлений к похоронам. Доступ в дом Виктора Гюго, на аллее, которая носит его имя, был довольно трудный. Я добыл его через Наке, бывшего в последние годы жизни Гюго своим человеком в его семействе. В той бледно-желтой мумии, которая лежала полуодетая на кровати с балдахинном, трудно было узнать живого старика, торжественно-ходульно обращавшегося к нам, членам международного конгресса, фразой, оставшейся у меня в памяти: „Вы—послы человеческого духа!“ («Vous êtes les ambassadeurs de l'esprit humain!»).

Когда я в аллее Елисейских полей, в толпе зрителей, собравшихся со всех концов Парижа, смотрел на бесконечную вереницу депутатов, следовавших за катафалком, где лежало тело Виктора Гюго, трудно было не видеть, что вся Франция, а за нею вся Европа, провожает останки поэта, достигшего самых недосягаемых высот национальной и всемирной славы. Но тут же на многих пунктах, где стояла толпа, а может быть, и среди самих депутатов находились уже молодые писатели, которые считали себя бойцами новой литературной эпохи. В эти годы уже и натурализм не считался последним словом; народилось уже поколение гораздо более впечатлительных и требовательных людей, с ранней изломанностью души. Для них „поэт-солнце“ был уже чуть не трескучим ритором и глашатаем общих мест деизма, гуманизма и морализма. Они искали своих божков вне Франции, с презрением относясь ко всякому национальному самонению. Для них гораздо дороже и ближе к ним были Тургенев, Толстой, Достоевский»⁶⁹.

Все эти свидетельства не воссоздают еще, разумеется, общего настроения, которое владело множеством людей, бывших очевидцами похорон Гюго. Разноречие толков, столкновения неприязни и самого восторженного преклонения перед покойным поэтом были неизбежны в этой огромной толпе, на глазах которой происходило печальное торжество. Тем важнее для нас, что в этой толпе были и преданные русские друзья великого писателя-демократа, всегда свято чтившие его память.

В нашем распоряжении имеется еще один документ, красноречиво это подтверждающий: некролог Гюго в русском издании «Общее дело», вышедшем в Женеве⁷⁰. Автор этого некролога А. Х. Христофоров, подчеркивая «необыкновенное возбуждение, вызванное во Франции смертью В. Гюго и необычайную торжественностью его похорон» не только не удивляется размаху и великолепной пышности траурного празднества, но вполне их оправдывает действительным значением того человека, которого в этот день хоронила вся Франция и весь образованный мир. Этот некролог совершенно отчетливо формулирует мысли и чувства, которые, нужно думать, владели представителями русских эмигрантских делегаций, следовавшими за гробом великого поэта. «Мы, предупреждает автор, — видели целый народ, колено-преклоненный перед гробом поэта, воздающий ему почти божеские почести, забрасывающий его гроб цветами похвал, до того восторженных и ярких, что самые искренние поклонники поэта начали чувствовать, что в этом великолепном храме благоговения, воздвигнутом ему его благодарными соотечественниками, стало, наконец, душно, как в церкви, в которой слишком много накадили». Тем не менее, его не интересуют «причины всех этих преувеличений», так как «нельзя не видеть, что в жизни и деятельности В. Гюго есть черты, которые в значительной степени осмысливают и оправдывают их». Последующая характеристика Гюго как писателя и общественного деятеля продиктована вполне сознательным уважением к его личности и делу его жизни; показательно, что в эту характеристику вплетены и слова благодарности за активную помощь Гюго русским товарищам-революционерам; одинаково далекая как от панегиризма и бессодержательной риторики, так и, тем более, от клеветнического порицания, указанная статья о Гюго «Общего дела» может служить примером той оценки, какую великий демократический писатель Франции заслужил в кругах русской революционно-демократической интеллигенции середины 80-х годов. «Из всех поэтов, равных ему по силе дарования и пользующихся всеобщей известностью, едва ли не он один в продолжение всей жизни служил интересам человечности в ее наиболее популярных проявлениях без колебаний и усталости, без гнева и разочарования, с той постоянно спокойной и ровной торжественностью, которая давала бы право сказать о нем, что он был олимпийцем чувств милосердия и любви, подобно тому как иные из его великих собратьев по музе были олимпийцами чистого искусства. Уважением своей нации поставленный на высоту выше царственной, окруженный почетом своих и чужих, он пользовался своим высоким положением, чтобы ходатайствовать перед царями и правителями за их политических врагов, побежденных и осужденных ими на смерть, не разбирая партии и национальности последних, от французских коммунистов до наших соотечественников Геси Гельфман и Гартмана. Такая роль прилична высокому поэтическому дарованию, и общее уважение к человеку, с достоинством выполнившему ее, не требует особенных объяснений. Уто-

мленное кровавой враждою безысходной общественной и личной борьбы, современное человечество в глубине души жаждет мира и любви, и вот, завидев в среде своей личность, способную служить для него олицетворением этих чувств, оно спешит возвести ее на пьедестал, откуда она могла бы быть видна всем, как символ и пример, хотя бы олицетворение было далеко не полным и пьедестал слишком громаден для размеров поставленного на нем человека». Так или приблизительно так думала о Гюго прогрессивная часть русской интеллигенции вплоть до конца XIX столетия.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ V. W., Политическая жизнь Гюго.—«Русский Вестник», 1875, 295—318.

² Некрасов, Собрание сочинений, ред. В. Е. Евгеньева-Максимова и К. Чуковского, М.—Л., 1930, V, 457; ср. 465 (письмо к А. А. Краевскому от 13/25 июля 1869 г.).

³ «Искра», 1869, № 16, 196.

⁴ Каратыгин П. П., «Зубоскал» и «Баранье стадо» (Современная повесть).—«Всемирный Труд», 1869, № 5, 1—86.

⁵ Некрасов, Собрание сочинений, V, 486.

⁶ Салтыков-Щедрин М. Е., Письма, Л., 1925, 106.

⁷ Гаршин В. М., Собрание сочинений, Письма, «Academia», 1934, III, 442.

⁸ Ibid., 228; ср. еще стр. 13 и 38.

⁹ Лавров П. Л., Этюды о западной литературе, П., 1923, 99—100.

¹⁰ Шелгунов Л., Воспоминания, П., 1923, 279; Козьмин Б., Г. Е. Благосветлов и «Русское Слово».—«Современник», 1922, I, 205—215.

¹¹ Быков П. В., Силуэты далекого прошлого, М., 1930, 39.

¹² См., напр., «По поводу бала в ратуше», перев. Ю. В. Доппельмайер.—«Дело», 1870, № 4; «Ночью и днем» (из «Châtiments»), перев. П. И. Вейнберга.—«Вестник Европы», 1871, № 1; «Моисей на Ниле», перев. В. П. Буренина.—«Вестник Европы», 1871, № 6; «Фалькенфельс» (из «L'Année terrible»), перев. П. И. Вейнберга.—«Отечественные Записки», 1872, № 10; «Ты библиотеку...», перев. Ю. В. Доппельмайер.—«Отеч. Зап.», 1873, № 4; «Пленница», перев. В. П. Буренина.—«Складчина», лит. сб., СПб. 1874; переводы А. К. Шеллер-Михайлова: «Горе паши», «Фата».—«Дело», 1876, № 12; «Взятый город», «Песня пиратов».—«Дело», 1877, № 2; «Лунный свет».—«Дело», 1877, № 6; «В церкви» (из «Chants du crépuscule»), перев. Н. Д.—вой.—«Вестник Европы», 1877, № 7; «Народу. На берегу океана» (из «Châtiments»), перев. А. Барыковой.—«Отклик», лит. сб., СПб. 1881; другие ее переводы объединены в книге «Стихотворения», изд. 2-е, М., 1910; здесь помещены: «Перед рассветом», «Преступницу ведут», «Свирепо равнодушна» (из «L'Année terrible»), «Голоса на чердаке» (из «Les Quatre vents de l'esprit»), «Исчезнувший город», «Караван», «Воспоминание 2 декабря», «Чья вина», «У колыбели», «Разбитая ваза», «Бедные люди», «Сказка про льва». См. еще стихотворения Гюго в перев. В. Лихачева.—«Вестник Европы», 1881, № 2; «Les Quatre vents de l'esprit», перев. В. Маркова.—«Неделя», 1881, № 27; «На прогулке».—«Неделя», 1883, № 26; «Экстаз», перев. М. П. Розенгейма в его «Стихотворениях», изд. 7-е, СПб. б. д., I, 33; «Поэты в смутную эпоху», перев. Л. П. Бельского.—«Пантеон Литератур», 1888, март; «Караван» (из «Châtiments»), перев. О. Н. Чюминой.—Там же, 1888, июнь; «Лух» (из «Châtiments»).—Там же, 1889, январь, и много др. Значительное число этих переводов вошло в «Собрание стихотворений Гюго в переводах русских писателей», ред. И. Ф. Тхоржевского, Тифлис, 1896, а также в «Собрание сочинений» Гюго на русском языке в издании «Просвещения», 1910, ред. и предисловие П. С. Когана и в издании И. Д. Сытина, М., 1915 г., с критико-биографическим очерком проф. А. И. Кирпичникова.

¹³ Фельетоны В. В. Стасова: «Две статьи Вестника Европы» и «Оправдания Арсеньева» помещены были в «Новом Времени», 1877, № 557, 16 сент. и № 567, 26 сент. Ср. Стасов В. В., Собрание сочинений, СПб. 1894, III, 1421—1427.

¹⁴ В. И. Модестов вспоминает, что у него долго хранился «ради статьи, написанной сыном В. Гюго», номер газеты «Rappel», 1872 г., посвященный результатам французского займа, собиравшегося для уплаты немцам огромной контрибуции после проигранной войны.—Модестов В. И., О Франции, СПб. 1889, 18—19.

¹⁵ Архив Института литературы АН СССР, Ленинград. Собрание М. И. Семевского.

¹⁶ Мальмгрен Э. А., К биографии бар. Н. К. Богушевского.—«Литературный Вестник», 1901, I, кн. 1, приложения, 5—7; «Русский Библиофил», 1911, III, 71; *С о р е r* (Thompson), *The men of the time*, 10-th ed., 125—127.

¹⁷ См. «Adressenbuch für Autographen- und Porträts-Sammler», hrsg. von E. F i s c h e r v. R ö s l e r s t a m m, 1887, 64—65; «L'amateur d'autographes», publ. sous la direction de E. C h a g a v a y, P., 1889—1890 (№№ 400—402).

¹⁸ К сожалению, замыслы Богушевского опубликовать наиболее ценные рукописи осуществлены были лишь в самой малой степени. Издание задуманного им «Русского автографического альбома с 1675 по 1875 гг.» не состоялось, но, начиная с 1873 г., отдельные автографы своего собрания, преимущественно русские, Богушевский печатал в «Русской Старине» (VIII, IX, XXIX, LXIV, LXXXV), находясь в постоянных дружеских сношениях с издателем этого журнала М. И. Семеvским (см. Альбом М. И. Семеvского «Мои знакомые», 75, 150, 194), чем и объясняется нахождение приведенного выше письма В. Гюго в архиве Семеvского. В 1877 г., в письме к одному из русских провинциальных археологов-любителей, прося последнего прислать ему свою фотографическую карточку, Богушевский писал: «Карточка будет в моем альбоме в достойном вас обществе европейских ученых, друзей моих. Между ними есть и Карлейль, и Виктор Гюго, и Бульвер-Литтон, и Оуэн, и Дарвин...».—«Переписка И. А. Голышева с разными учеными лицами». Издание в количестве 100 экз., Владимир, 1898, 181—182.

¹⁹ Литературный музей, Москва. Портрет представляет офорт художника Фредерика Регаме (Régamey, р. 1851), сделанный в 1872 г. Рама из колосьев и цветов, в которую заключен портрет, сделана по рисунку самого Гюго. Подпись Гюго на этом портрете является наиболее поздним из всех выявленных до сих пор автографов писателя в собраниях СССР.

²⁰ См. о ней в сборнике «Памяти А. П. Философовой», П., 1915.

²¹ Письма И. С. Тургенева к А. П. Философовой опубликованы Н. М. Мендельс о н о м.—«Звенья», V, 286—288, 297—303.

²² Г р о с с м а н Л., Жизнь и труды Ф. М. Достоеvского, «Academia», 1935, 246, 261, 267, 270, 272, 282, 284, 291, 292.

²³ Г о л о в и н К., Мои воспоминания, СПб. 1908, I, 371—372, 302—303; ср. Т ы р к о в а А. В., Анна Павловна Филосоfoва.—«Вестник Европы», 1912, VI, 318—324.

²⁴ Архив Института литературы АН СССР, Ленинград. Бумаги А. П. Филосоfoвой.

²⁵ Заимствуем эти сведения из сборника «Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования», Харьков, 1908, 206—208.

²⁶ К о н и А. Ф., С. А. Андрееvский по личным воспоминаниям.—Предисловие к книге Андрееvского «Книга о смерти». Мысли и воспоминания, Л., 1924, 9.

²⁷ А н д р е е в с к и й С. А., Литературные очерки, изд. 4-е, СПб. 1913., 383—384.

²⁸ «Любить—значит действовать. Виктор Гюго».—Автограф Гюго и письмо Ришара Леклида предоставлены для публикации в «Литературном Наследстве» К. В. Ползиковой-Рубец (Ленинград), дочерью О. Н. Добржанской.

²⁹ «Исторический Вестник», 1880, № 7, 575.

³⁰ Б[у л г а к о в] Ф., Венки на памятник Пушкину, СПб. 1880, 45; ср. «Общество любителей российской словесности». Исторические записки за сто лет, М., 1911, 84—85. Цитирую это письмо В. Гюго по словам видевшего его Ф. Булгакова; в печати оно не появлялось, и местонахождение его в настоящее время неизвестно.

³¹ К о н и А. Ф., Встречи с Достоеvским.—«Вестник Литературы», 1921, II (26), 8.

³² Например, «Русский Курьер», 1880, № 172, сообщая последние известия о Дантесе, пишет: «Он тот самый Геккерен, о котором так нехорошо говорит Виктор Гюго в своих „Châtiments“». См. по этому поводу разъяснения Б. В. Никольского, который указывает, что «имени Геккерена в тексте „Châtiments“ не встречается, но к нему, вместе с другими, относится стихотворение „Ecrit le 17 juillet 1851, en descendant de la tribune“, как это видно из примечания к этому стихотворению, где приведены насмешливые и грубые выходки Геккерена...»—Н и к о л ь с к и й Б. В., Идеалы Пушкина, СПб. 1899, прилож., 138—141.

³³ На историческую ценность этого альбома и на желательность «перепечатки или, собственно, опубликования» многих любопытных записей его указали Б. Л. Модзалевский («Бирюч Петроградских Гос. Театров», 1919, июнь—август, 142—143), затем Л. Б. Модзалевский (в заметке «Записи корифеев литературы».—«Известия ЦИК СССР», 1934, 29 октября) и Н. Киселев («Еще об альбоме О. А. Козловой».—«Известия ЦИК СССР», 1934, 15 ноября). В дополнение к ним укажем, что рецензия на п е р в о е издание альбома, удостоверяющая его автографическую подлинность, появилась в «Новом Времени», 1883, № 2377, от 11 октября. Второе издание, вышедшее через шесть лет после первого, без обозначения года и места печати [1889] и без цензурного разрешения, значительно увеличено записями 1888—1889 гг. (стр. 180—227); библиотека Института

литературы АН СССР, которой мы пользовались, имеет несколько экземпляров обоих изданий, причем в экземпляр изд. 1883 г., происходящий из библиотеки М. Н. Лонгинова, вклеен и фотопортрет владелицы альбома.

³⁴ «Album de Madame Olga Kozlow», М., 1883, 13. Приводим перевод стихотворения, сделанный М. Т а л о в ы м:

П е с н я

Розе молвила могила:
«Днесь ты зорных слез испила,
Что ты сделала с росой?»
Роза ей, дрожа от страха:
«Что ты сделала из праха,
Поглощенного тобой?»

Роза молвит: «Враг созданья
В амбросийное дыханье
Претворила я росу!»
Говорит могила: «В землю,
Только хладный прах приемлю,—
Тотчас ангелом взнесу.»

³⁵ См., например, Hugo V., *Œuvres complètes*, éd. Hetzel et Quantin (последнее прижизненное и просмотренное автором издание), *Poésie*, III, 367.

³⁶ См. переводы Ниркомского («Могила и роза». — «Библиотека для Чтения», 1838, XXVII, отд. I, 16) и Н. Степанова («Могила и роза». — «Альманах на 1838 год», изд. В. А. Владиславлева, СПб. 1838, 218).

³⁷ «Théâtre des Nations. Musée Victor Hugo. A l'occasion des représentations de Notre-Dame de Paris», (Paris) 25 novembre 1885, 17, № 130.

³⁸ Биографию и список работ П. А. Козлова см. Я з ы к о в Д., *Обзор жизни и трудов русских писателей*, СПб. 1909, вып. XI, 73—75.

³⁹ Э н г е л ь г а р д т Н., *Давние эпизоды.* — «Исторический Вестник», 1910, № 10, 123—144.

⁴⁰ [Ш е б е к о] «Хроника социалистического движения в России. 1878—1887. Официальный отчет», М., 1906, 67—69. Ср. также некролог Л. Н. Гартмана (1850—1913) в «Голосе Минувшего», 1913, V, 276—277 и П о к р о в с к и й М. Н., *Дипломатия и войны царской России в XIX столетии*, М., 1923, 315.

⁴¹ [Ш е б е к о] *op. cit.*, 69—72.

⁴² Французский текст воззвания Гюго о невыдаче Гартмана см. «Œuvres complètes», éd. Hetzel et Quantin. *Actes et Paroles*, IV, Depuis l'exil, 1876—1885, s. a., 237; он перепечатан также полностью в журнале «Былое», 1907, № 4 (16), 191.

⁴³ [Шебеко] *op. cit.*, 72.

⁴⁴ [К а т к о в М. Н.] Не сама ли Россия повинна в решении Франции. — «Московские Ведомости», 1880, № 79.

⁴⁵ [Ш е б е к о] *op. cit.*, 72.

⁴⁶ «За кулисами политики и литературы». Воспоминания Е. М. Феоктистова, Л., 1929, 264—265.

⁴⁷ «К. П. Победоносцев и его корреспонденты», М., 1924, II, 717.

⁴⁸ *I b i d.*, 796—815.

⁴⁹ Таково было, например, мнение К. П. Победоносцева: «Герой—русский нигилист, в коем не трудно узнать Гартмана», — писал он о «Жерминале» Е. М. Феоктистову (см. «Воспоминания» Е. М. Феоктистова, 236). Основание для такого сопоставления дал сам Золя, вложив в уста своего героя в окончателном тексте романа рассказ о подготовке взрыва царского поезда на Московско-Курской ж. д. 19 ноября 1879 г. Однако, образ Суварина гораздо сложнее и не может быть сведен к портрету одного «нигилиста». Ср. К л е м а н М. К., *Эмиль Золя*, Л., 1934, 170—175.

⁵⁰ Письмо хранится в Литературном музее, Москва.

⁵¹ См. об этом в статье Н. К. Лебедева, П. А. Кропоткин и народовольцы. — Сборник «1-го марта 1881 г.», изд. «Кружка народовольцев», М., 1933, 126—127. Укажем еще, что в своей анонимной брошюре «La vérité sur les exécutions en Russie» (Edition du «Revolté» Genève, 1881) Кропоткин приводит (на стр. 18) стихотворение Гюго «Qui l'épouvante en est venue à ce degré...» и предваряет его такими словами: «Вот стихи Виктора Гюго, о которых можно сказать, что они специально написаны по поводу Геси Гельфман».

⁵² [Ш е б е к о] *op. cit.*, 222—223; здесь приведены французский и русский тексты этого воззвания.

⁵³ «Процесс 20-ти». — «Былое» (Лондон), 1900, II, 134.

⁵⁴ *Ibid.*, 134—135.

⁵⁵ M-me Adam (Juliette Lamber) была в Петербурге в январе 1882 г. К. П. Победоносцев писал о ней Александру III как о «политической авантюристке, которая состоит в числе главных агентов республиканской партии, в связи с планами и расчетами Гамбетты». — «Победоносцев и его корреспонденты», М.—П., 1923, I, 179—180; ср. «Mémoires de M-me Adam», P., 1902—1910, 7 vol.

⁵⁶ «Былое» (Лондон), 1900, II, 135.

⁵⁷ См., например, «Новое время», 1885, № 3305; «Русские Ведомости», 1885, №№ 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140; «Новости и Биржевая газета», 1885, №№ 127, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142; «Московские Ведомости», 1885, №№ 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144; «Одесский Листок», 1885, №№ 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113; «Одесские Новости», 1885, №№ 124, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 135; «Новороссийский Телеграф», 1885, №№ 3056, 3057, 3059, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067; «Киевлянин», 1885, №№ 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 119; «Вокруг Света», 1885, № 19—20; «Иллюстрированный Мир», 1885, № 20, 315; «Всемирная Иллюстрация», 1885, № 853, 409 (некролог); № 856, 463—466 (описание похорон); «Нива», 1885; «Новь», 1885, № 15; «Еженедельное Обзорение», 1885, № 74; 588—590; № 75, 637—638; «Модный Свет», 1885, № 22; «Вестник Европы», 1885, VI, 857—861; «Исторический Вестник», 1885, № 5; «Колосья», 1885, № 5 и мн. др. Любопытно свидетельство Л. А. Полонского: «У нас до сих пор Гюго признавался великим поэтом только теми, кто сам, с детства, непосредственно знакомился с иностранными литературами. Но число таких читателей невелико. Для всей же публики, составляющей свои мнения при помощи критики русской, значение Гюго представлялось спорным... При таком предварительном настроении нашей печати относительно Гюго, весьма скромны были первые строки, посвященные его памяти русскими газетами. Нескромно слов робкой похвалы пробились в них сквозь решительные оговорки. Однако, широкий отклик, который смерть и похороны Гюго нашли в европейской прессе, настроили ее на иной лад: «Наши газеты чутки... они по вторым и третьим телеграммам из Парижа уже убедились, что первоначальный тон был взят ими слишком низко, и сразу взяли вверх, кто на терцию, кто на квинту, а кто и на целую октаву». — Полонский Л. А., Виктор Гюго. — «Русская Мысль», 1885, VI, 195—196 (Отметим здесь же мимолетное воспоминание автора о литературном обеде в Париже «в присутствии Гюго», стр. 196). См. еще Аверкиев Д. В., «Дневник Писателя», 1885, VI, 197—201.

⁵⁸ Загуляев М. А., Отовсюду. — «Новое Время», 1885, № 3246; Чуйко В. В., В. Гюго. — «Наблюдатель», 1885, № 6, 168—169. П. Боборыкин в фельетоне «Писатель» вспоминает, что «в неделю между смертью и похоронами» В. Гюго ему «пришлось бывать во многих писательских гостиных» Парижа и воспроизводит все отзывы и толки о Гюго, которые ему пришлось там слышать. — «Новости и Биржевая газета», 1885, № 145.

⁵⁹ В. Т., Рисунки Гюго. — «Художественный Журнал», 1885, VII, 521—526.

⁶⁰ «Политическая хроника». — «Наблюдатель», 1885, № 6, 40—43.

⁶¹ Статьи, из которых взяты эти цитаты, указаны в прим. 57-м и 58-м.

⁶² О бар. А. П. Моренгейме (1824—1906) см. «С.-Петербургские Ведомости», 1906, № 221 (некролог); Hansen (Jules), Ambassade à Paris du baron de Mohrenheim 1884—1898, P., 1907; изложение этой апологетической книги см. в статье: «Барон Артур Павлович Моренгейм и его роль во франко-русском сближении». — «Русская Старина», 1907, № 5, 307—325; № 6, 449—465; «Русский Архив», 1897, I, 81—82.

⁶³ Головин К., Мои воспоминания, СПб. 1910, II, 24.

⁶⁴ Архив внешней политики, Москва. Фонд М. И. Д., Канц., Réception 1881, лл. 212—216 об.

⁶⁵ См. выше, прим. 1-е.

⁶⁶ Для сравнения с русскими печатными известиями о похоронах Гюго см. описания и документы, помещенные в издании: «Œuvres complètes de V. Hugo. Actes et paroles. IV. Depuis l'exil, P., s. a. (éd. J. Hetzel et A. Quantin), 201—232; «Un Hugolâtre. Les funérailles de V. Hugo». — «Revue Contemporaine», 1885, II, 214—222.

⁶⁷ Архив внешней политики, Москва. Фонд М. И. Д., Канц., Réception 1881, лл. 209—212 об.

⁶⁸ «Русская Старина», 1907, № 6, 314.

⁶⁹ Боборыкин П. Д., Столицы мира. Тридцать лет воспоминаний, М., 1911, 195.

⁷⁰ «Общее Дело», Женева, 1885, май, № 73, 15—16. Авторство А. Христофорова устанавливается по принадлежавшему ему редакционному комплексу издания (хранится в ИМЭЛ), где под этой заметкой проставлены его инициалы — «А. Х.»

ПРИЛОЖЕНИЯ

НЕИЗДАННЫЕ ТЕКСТЫ ГЮГО

Публикация М-me Cécile Daubray (Париж)*

I. СТИХИ: „L'ÉCHAFAUD VIEILLI CROULE...“ — II. ПИСЬМА И ЗАПИСКИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С РУССКИМИ ЗНАКОМСТВАМИ ГЮГО. — III. ОПИСЬ АВТОГРАФОВ ГЮГО В СОБРАНИЯХ СССР

«Литературное Наследство» просило меня дать комментарий к письмам и автографам Виктора Гюго, собранным редакцией в советских архивах. Я делаю это с тем большим удовольствием, что, посвятив всю свою жизнь изучению творчества нашего великого поэта, я всегда с радостью пользуюсь всяким случаем, когда представляется возможность как за границей, так и во Франции лучше познакомиться с его личностью и заставить ее полюбить.

Следует пожелать, чтобы прекрасный почин «Литературного Наследства» послужил примером для других стран. Великие народы, несомненно, выиграют, изучая не только творения, но и жизнь великих людей. А что лучше отражает их личность, как не их письма?

С этой точки зрения некоторые из воспроизводимых здесь писем представляют очень большой интерес. Сгруппированные в хронологическом порядке, они освещают с разных сторон характер Виктора Гюго в различные периоды его жизни и позволяют кое в чем уточнить факты его биографии.

В 1826 г. он горд своими двумя детьми, нежен и почитателен к своему отцу; заботлив к устройству дел своего старого учителя де Ларивьера (письмо к отцу—генералу Гюго от 1 мая 1826 г.); в 1830-х гг. он поглощен собиранием и уточнением сведений для своего «Очерка о Мирабо» (письмо к Люка де Монтиньи от 8 января 1834 г.); в письмах к композитору Гаспаро Спонтини (от 3 мая 1839 г.) и к знаменитой исполнительнице ролей в драмах самого Гюго—Мари Дорваль (письма 1836 и 1838 гг.) он полон интереса и отзывчивости к этим артистам.

Позднее мы его видим стремящимся осуществить мечту всей своей жизни и добиться амнистии коммунарам. В двух письмах к г-же Зелй Робер, матери молодого заключенного, приговоренного к ссылке, он старается успокоить эту бедную женщину и, несомненно, предпринимает шаги к спасению ее сына (письма от 1 февраля и 23 ноября 1872 г.). Гюго преисполнен состраданием ко всем побежденным жизнью. Это знали, и отовсюду зывали к нему все, будь то угнетенные нации или просто человек в несчастье.

Его жизнь является прекрасным образцом, и мы, французы, можем только благодарить тех, кто знакомит молодые поколения за границей с именем Виктора Гюго—великого человека с великим сердцем.

Cécile Daubray

I. СТИХИ

L'échafaud vieilli croule, et la Grève se lave¹.
L'émeute se rendort. De meilleurs jours sont prêts.
Le peuple a sa colère et le volcan sa lave
Qui dévaste d'abord et qui féconde après.

Victor Hugo

19 janvier 1851.

Перевод:

Рушится ветхий эшафот, и Гревская площадь умывается¹.
Восстание снова затихает. Приближаются лучшие дни.
Гнев народа—как лава вулкана,
Которая сначала опустошает, а затем оплодотворяет.

Виктор Гюго

19 января 1851 г.

Автограф.—Литературный музей, Москва. 3186/4.

¹ Гревская площадь (с 1806 г.—place de l'Hôtel de Ville)—обычное место казней в Париже. Какой исторический эпизод имеется в виду в этом небольшом, но вполне законченном стихотворном произведении Гюго, сказать затруднительно.

* Перевод писем В. Гюго, как и всей публикации, сделан Е. Гунетом.

II. ПИСЬМА И ЗАПИСКИ

1. Кавалеру де Шазе¹

[5 февраля 1824 г.]

Вы слишком добры, сударь, что помните обо мне; что касается меня, то я был бы неблагодарным, если бы перестал вас любить и стараться быть вам приятным. Я не раз заходил повидать вас, но тщетно; в дальнейшем, надеюсь, я буду счастливее.

Мои «Новые оды» и 3-е издание старых еще не вышли²; я буду счастлив принести вам эту слабую дань моей привязанности.

Я исполню ваше пожелание относительно «*Muse française*»³, я уже давно послал бы вам журнал, если бы это зависело от меня. Но я гораздо менее волен в этих делах, чем то думают.

Прощайте, сударь, и верьте моей преданности.

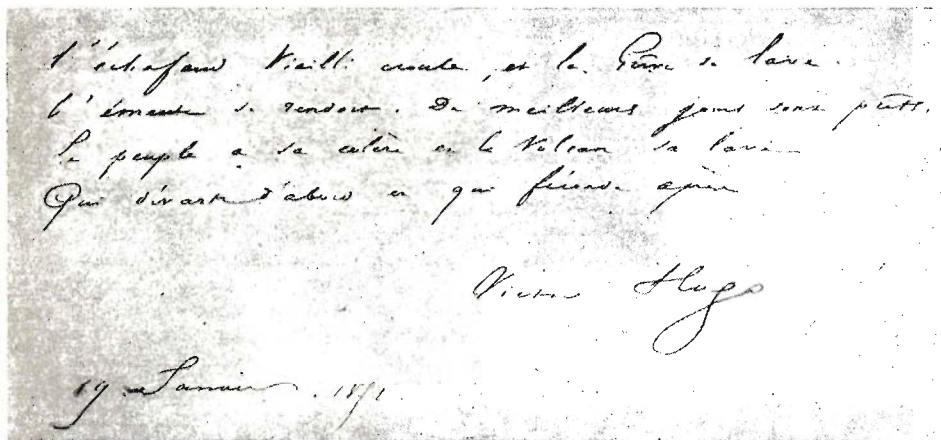
Виктор М[ари] Г[юго]

Четверг, 5 февраля 1824 г.

Адрес: Кавалеру де Шазе

Rue Neuve des Petits-Champs, n. 27

Автограф.—Институт истории Академии наук СССР (фонд бывш. Института книги, документа и письма), Ленинград. 1/112, № 371.



АВТОГРАФ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ГЮГО „L'Echafaud vieilli croule...“

Литературный музей, Москва

¹ Кавалер де Шазе (Chevalier de Chazet, 1775—1844) Андре-Полидор—драматург и поэт, был одним из основателей «Société des Bonnes Lettres», где Виктор Гюго читал свои первые стихи.

² Речь идет о лирических сборниках Гюго: «Odes et Poésies diverses» (1-е изд., 1822 г.) и «Nouvelles Odes» (1824).

³ «La Muse française»—журнал, посвященный поэзии. Виктор Гюго был одним из его основателей, вместе с Эмилем Дешаном, Альфредом де Виньи, Суме, Жиро и Сен-Вальри. Журнал выходил с июля 1823 г. по июнь 1824 г.

2. Генералу Леопольду-Сижисберу Гюго

Дорогой папá,

[1 мая 1826 г.]

Мы уже как-то привыкли к удовольствию сознавать, что ты в Париже¹. Теперь нам кажется, что прошла целая вечность с тех пор, как ты покинул нас, и мы с живейшим сожалением вспоминаем счастливые дни, проведенные в прелестном уединении Блуа; как раз сегодня, когда я пишу эти строки, тому исполнился ровно год². К несчастью,

увеличение количества работы и увеличение моей семьи не позволяют нам надеяться на такое удовольствие в близком будущем.

Надеемся, что с тех пор, как вы уехали, оба вы были здоровы. Мы все чувствуем себя довольно хорошо. Жена моя, как тебе известно, беременна, и беременность ее протекает благополучно. Дидина³ с каждым днем начинает лепетать все разумнее и вразумительнее.

Посылаю тебе письмо Франси⁴, который думал, что ты все еще в Париже. Хоть ты вернешься и скоро, но я не считал возможным оставить письмо до июля.

Господин де Ларивьер становится более настойчивым, а обстоятельства его еще более настойчиво требуют этого. Умоляю тебя сделать для этого достойного человека, моего дорогого старого учителя, все, что ты в силах сделать в настоящее время. Долга ему осталось теперь только 286 франков, сумма это небольшая; к тому же, он более чем простой кредитор. Он имеет право, он страдает и не просит или, по крайней мере, не просил целых 12 лет⁵.

Жена моя и дочь целуют твою жену. Ты знаешь, с какой почтительной преданностью привязан к тебе

твой сын
Виктор

1 мая 1826 г.

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. 9805/LIX б. 39.

¹ Отец поэта, генерал Леопольд-Сижисбер Гюго (1773—1828), приезжал в марте 1826 г. на некоторое время в Париж из Блуа, где он жил со своей второй женой, Сесиль Тома, на которой женился в 1821 г., через три недели после смерти первой жены, матери Виктора Гюго.

² Гюго со своей женой и новорожденной дочерью Леопольдиной гостил у своего отца в Блуа с 17 апреля по 19 мая 1825 г. Жена и дочь оставались в Блуа, пока сам Гюго ездил в Реймс на коронацию короля Карла X.

³ Леопольдина, старшая из детей Гюго (1825—1843); она трагически погибла вместе со своим мужем, Charles Vascuégie, утонув во время поездки по Сене, предпринятая после их свадьбы.

⁴ François Hugo—самый младший из братьев генерала Гюго, дядя поэта. Участвовал в итальянском и испанском походах. Выйдя в отставку, поселился в Тулле, где умер в 1829 г. в возрасте 42 лет.

⁵ De Larivière—бывший священник, женившийся во время революции 1789 г., первый учитель Виктора и Эжена Гюго. Генерал Гюго в течение длительного времени оставался должным Ларивьеру 486 франков, составивших вознаграждение его за обучение детей. В июле 1825 г., находясь в трудном материальном положении, престарелый Ларивьер обратился через Виктора Гюго, ничего не знавшего об этом долге, к его отцу с просьбой об уплате этой суммы. Виктор Гюго, не дожидаясь ответа отца, немедленно уплатил Ларивьеру 200 франков из своих личных средств. Генерал Гюго, со своей стороны, выразил готовность тотчас уплатить долг, однако, как показывает публикуемое письмо, и через год, в мае 1826 г., оставшаяся сумма не была выплачена. Ср. Hugo, Correspondance. 1815—1835. P., 1896, pp. 209—211, 213; o Larivière's см.: «Victor Hugo raconté par le témoin de sa vie». I, 51—52.

3. Александру Декану

[1828 г.]

Я прошу господина Декана простить мне все мои оплошности; они идут не от сердца и я надеюсь, что он никогда не сомневался в моей живой дружбе¹.

Виктор

Автограф. — Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва.

Записка приклеена к литографированному Discarime'ом портрету В. Гюго, работы Legrand, 1828 г. (Blaisot в воспроизведении на стр. 781). Эта литография входит в серию „Gallerie Universelle“, изданную Blaisot в 1829 г.

¹ Декан (Desamps, 1803—1860) Александр-Габриэль — оригинальный и независимый художник-литограф и карикатурист, впоследствии перешедший на большие композиции. В корреспонденции Виктора Гюго не сохранилось писем, которые могли бы дать указания на отношения его с Деканом. Почерк и подпись на этой записке дают основания отнести ее предположительно к 1828 г.

4. [Неизвестному]

[2 октября 1829 г.]

Приходите же, дорогой друг, к нам завтра обедать. Вы будете есть то, что принесли с охоты, и поболтаем.

Весь ваш
Виктор

Пятница, 2 октября¹.

В 6 часов, не правда ли?

Автограф. — Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из иностранных автографов собрания Бецкого.

¹ 2 октября приходилось на пятницу в 1829 г. (этот год проставлен и на подлиннике, но посторонней рукой). Адресата записки установить не представилось возможным.

5. Г-ну Сен-Полю

[Декабрь 1831 г.]

Псылаю г. Сен-Полю экземпляры книг, которые прошу разослать по соответствующим адресам. Буду ему за это признателен. Он найдет среди книг экземпляры, которые я предназначаю ему, а таюже его сыну, —сверх того два экземпляра «Маршон де Лорм»¹.

Тысяча приветствий
В. Г.

Автограф. — ГАФКЭ, Москва. Фонд 86, л. 80 («Альбом Голицына»).

¹ Сен-Поль (Saint-Paul) занимался, повидимому, у издателя Рендюэля рассылкой экземпляров изданий, которые авторы направляли со своими надписями критикам и друзьям.

Письмо это может быть датировано декабрем 1831 г. При нем посылались Сен-Полю экземпляры сборника «Feuilles d'Automne», вышедшего 1 декабря 1831 г. «Marion de Logne» была издана Рендюэлем в августе того же 1831 г.

6. Люка де Монтиньи

[8 января 1834 г.]

Сударь,

Не откажите в любезности сообщить мне, действительно ли Мирабо умер у себя дома, на Шоссе-д'Антен. Мне хотелось бы получить эту справку как можно скорее. Тысячу извинений и тысячу благодарностей.

Располагаете ли вы подлинным гербом Мирабо? Не могли бы вы прислать его мне — тоже как можно скорее?¹

Примите, сударь, уверение в моих наилучших чувствах.

Виктор Гюго

8 января.

На обороте: Господину Люка де Монтиньи

91, Rue du Cherche-Midi

Через любезное посредничество гг. Гийо и Офрэ

В. Г.

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собрание Ляцкого.

¹ Люка де Монтиньи (de Montigny) — приемный сын Мирабо. В начале января 1834 г. Виктор Гюго заканчивал статью о Мирабо («Etude sur Mirabeau»), которая появилась в печати в конце января, а в марте 1834 г. вышла в числе других статей в сборнике «Littérature et Philosophie mêlées». Для этой статьи Гюго и потребовались сведения, за которыми он обратился к Монтиньи, опубликовавшему незадолго до этого «Mémoires de Mirabeau».

7. [Автору статей о Гюго, появившихся в «Semeur»]

[17 мая 1834 г.]

Я прочел с величайшим вниманием обе статьи о моей последней книге, помещенные в «Semeur»¹.

Точка зрения автора этих статей расходится с моей, но, тем не менее, я должен сказать, что нахожу их очень содержательными и насыщенными мыслями. Писал их человек талантливый и честный.

Счастлив сказать ему, что в двух его прекрасных статьях есть немало строк, к которым внимание мое не раз будет возвращаться.

Виктор Гюго

17 мая 1834 г.

На обороте: Автору статей о В. Гюго,
появившихся в „Semeur“

Автограф. — Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253, № 9.

¹ В литературной хронике журнала «Le Semeur» (journal religieux, politique et littéraire) в номерах от 7 и 14 мая 1834 г. были помещены две большие анонимные статьи о только что вышедшей в свет книге Гюго «Littérature et Philosophie mêlées». В первой из этих статей автор останавливается более на форме и, отмечая некоторое расхождение свое с Гюго в мыслях о формах искусства и о его применении, обращает внимание на то, что никто, по его мнению, так не использовал могущество и чарующее действие метафоры, как Гюго. Во второй—автор уже высказывается по существу книги. Относясь критически к происшедшей в Гюго перемене по отношению к христианству и с огорчением констатируя, что «революционер 1830 г.» далеко не так христиански настроен, как «якобит 1819 г.», анонимный автор добавляет: «какая цена религии, которая сразу отпадает и незаметно исчезает вместе с политической системой, с которой шла об руку». Установить, кто был автором этих статей в «Semeur», не представилось возможным.

8. Франсуа Бюлозу

Понедельник, 27-го [июля 1834 г.]

Только-что вернулся из Рош¹ и нашел ваше письмо, на которое спешу ответить. Если вы можете зайти ко мне в четверг 30-го, в 8 часов вечера, я буду вас ждать и устрою так, чтобы нас никто не беспокоил. Однако, если вам удобнее встретиться в другом месте, благоволите уведомить меня о том запиской.

Примите, сударь, вновь уверение в моих наилучших чувствах².

Виктор Гюго

Адрес: Господину Бюлозу

В редакцию „Revue des Deux Mondes“

6, R[ue] des Beaux-Arts

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. 9860/LIX б. 39.

¹ В течение ряда лет—начиная, во всяком случае, с 1831 г., Виктор Гюго со своей семьей гостил каждое лето в R o c h e s (la vallée de la Bièvre) у Бертена (Bertin l'ainé), основателя и руководителя «Journal des Débats».

² Бюлоз Франсуа (Buloz, 1804—1877)—главный редактор «Revue des Deux Mondes». В 1834 г. он вступил в редакционный совет «Revue de Paris», оставаясь редактором «R. d. d. M.». Желая привлечь В. Гюго в число сотрудников этих журналов, Бюлоз в письме от 20 июля 1834 г. (оно сохранилось в архиве семьи Гюго) просил его назначить свидание для переговоров. Публикуемое письмо Гюго является, повидимому, ответом на это обращение Бюлоза.

9. Мари Дорваль

[22 сентября 1836 г.]

С большой радостью узнал, сударыня, что вы совсем поправились. Это первый случай, когда я был рад, что не видел вас.

Завтра утром я буду иметь честь засвидетельствовать вам свое почтение¹.

Виктор Гюго

22 сего сентября.

На обороте: Госпоже Дорваль

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собрание Е. М. Кашинской.

¹ *Dorval* Мари (1798—1849)—известная драматическая артистка, создательница основных женских ролей романтического театра.

В 1836 г. с г-жей Дорваль случилось несчастье: когда она читала лежа в постели, около нее загорелись занавески. Представления «Анджело», шедшие в это время в *Théâtre Français*, были прерваны. На это-то, несомненно, и намекает Виктор Гюго.

10. Мари Дорваль

[1838 г.]

Я следил за вами взором, моя очаровательная Тисб, во все время вашего славного шествия. Благодарю вас, что среди стольких триумфов¹ вы, венчанная, вспомнили обо мне.

Мы попрежнему надеемся, что второй *Théâtre Français*, которого вы будете блестящим украшением, откроется в сентябре. Как и во всех делах сего мира, и тут, то и дело, встречаются материальные препятствия. Антенор Жоли старается преодолеть их. Он всю душой надеется на вас. Я передал ему ваши статьи, он перепечатал их в «*Vert-Vert*»².

Вы пишете мне об «Эрнани». Разве г-н Мерль³ не сообщил вам, что к такому окончательному решению я пришел именно по его совету. К тому же, помехой явилась и катастрофа с Жюсленом де ла Саль⁴. Теперь я и не знаю, как быть. Г-н Ведель⁵, повидимому, жалкий человек. Он даже не появлялся у меня. Что это—неведение, невоспитанность, желание задеть меня? Не знаю и только пожимаю плечами.

Затем, сударыня, низко кланяюсь вам с надеждою помочь открытию для вас в скором времени хорошего театра.

Виктор Гюго

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 6036.

¹ Мари Дорваль, уже создавшая к тому времени роль Марион де Лорм, играла в 1835 г. в *Théâtre Français* роль Катерины в «Анджело». В следующем году она исполнила в той же пьесе роль Тисб. Письмо это написано во время турне г-жи Дорваль по провинции, где она играла в драмах Виктора Гюго.

² Под «вторым *Théâtre Français*» подразумевается здесь театр Ренессанс; привилегия на этот театр была предоставлена Виктору Гюго, который назначил директором его Антенора Жоли (*Joly*), основателя журнала «*Vert-Vert*». *Théâtre Français* относился к романтикам враждебно, и теперь, наконец, они получили для своего репертуара собственный театр. Он открылся 8 ноября 1838 г. представлением новой драмы Гюго «Рюи-Блаз».

³ *Merle*—журналист, театральный критик, директор театра *Porte Saint-Martin* с 1822 по 1826 гг.; он был мужем Мари Дорваль.

⁴ В 1837 г. Гюго предъявил к *Théâtre Français* судебный иск за невыполнение театром трех заключенных с ним в 1832, 1835 и 1837 гг. договоров относительно постановки «*Hernani*» и «*Angelo*». Этот процесс рассматривался в 1837 г. в коммерческом суде, а затем, по апелляции, в парижском королевском суде в декабре того же года. В обоих инстанциях процесс был выигран Гюго.

⁵ *Jouslin de la Salle*—был директором *Théâtre Français* с 1835 по начало 1837 г., им был подписан от имени театра второй из договоров с Гюго. Его преемником был *Védel*, на обязанности которого и лежало приведение в исполнение приговора суда по делу с В. Гюго.

11. Гаспаро Спонтини

[3 мая] 1839 г.]

Спешу уведомить вас, дорогой Спонтини, о благоприятном разрешении интересующего вас дела. Г-н Теофиль Готье с живейшим удовольствием согласился принять на себя славную обязанность быть вашим поэтом. Он представляет себя в ваше распоряжение¹. Г-н Теофиль Готье живет на *Rue de Navarin*, 14.

Сердечно жму вашу руку.

Виктор Гюго

3 мая.

Адрес: Г-ну Спонтини

13, Rue du Mail

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград.

¹ По просьбе Спонтини Гюго обратился к Теофилю Готье с предложением написать либретто к опере «Коринфская невеста», музыку которой должен был сочинить Спонтини для постановки в театре Гранд-Опера. Все эти предположения не были осуществлены. Основанием для датировки этого письма послужил ответ на него Спонтини от 12 мая 1839 г. (хранится в архиве семьи Гюго).

12. [Пьеру Ройе-Колару?]

[27 февраля 1843 г.]

Помните ли вы, что самым любезным образом обещали мне исхлопотать для г-на Жиро еще небольшое пособие (кажется, это так называется), а потом, в решающую для него минуту, вы покинули свой пост. Вот я снова и прибегаю к вам, чтобы узнать, не согласитесь ли вы рекомендовать его вашему преемнику, с которым я, кажется, незнаком. Сделайте же для него что-нибудь, и что бы вы ни сделали, все будет хорошо, и я буду вам очень обязан. Г-н Жиро, как вам известно, талантливый поэт и вполне достоин всяческого внимания¹.

Ваш друг

Виктор Гюго

27 февраля.

Автограф. — Публичная библиотека, Ленинград.

¹ Адресат устанавливается предположительно; основанием для этого послужило то, что публикуемое письмо Гюго поступило в Публичную библиотеку (в 1865 г.) в составе 58 писем французских ученых и литераторов, адресованных Ройе-Колару (письма Вильмена, Гизо, Кине, Кювье, Минье, Сильвестра де Саси, Тьера). Ср. «Отчет Публичной библиотеки» за 1865 г., 147.

Если это предположение основательно, то письмо это относится к февралю 1843 г., так как Ройе-Колар (1763—1843), бывший председателем палаты депутатов, окончательно отошел (abdiqua, как пишет Гюго) от политической деятельности в 1842 г. Ройе-Колар и Гюго были оба членами Французской академии и поддерживали между собой достаточно близкие отношения, чтобы Гюго мог подписаться: «ваш друг».

Кто такой поэт Ж и р о (Girault), о котором хлопотал Гюго, установить не удалось.

13. [Неизвестному]

[1844—1851 г.]

Спешу, сударь, ответить на письмо, которым вы почтили меня. Разрешение, которое вы желаете получить, могут дать вам только мои издатели—г.г. Дюрье и К^о, которым я уступил свои авторские права; сомневаюсь, чтобы они согласились на это иначе, как по особому договору. Вы можете, впрочем, обратиться к ним непосредственно.

Сожалеею, что вынужден ограничиться простым выражением благодарности за любезное расположение, о котором свидетельствует ваше письмо, и прошу вас, сударь, принять уверение в моих наилучших чувствах.

2 октября.

Виктор Гюго

Автограф. — Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253, № 20.

¹ Издатели Дюрье и К^о (Duriez et C^{ie}) приобрели право собственности на сочинения В. Гюго около 1844 г. Точной датировке письмо это не поддается и может относиться ко времени от 1844 г. по декабрь 1851 г.

14. Пьеру Кове¹

[10 июня 1848 г.]

Ваши стихи трогают меня до глубины души. Я всегда буду другом народа, дорогого мне и честного народа, который обманывают; мне хотелось бы служить ему и спасти его. Благодарю, благодарю вас, сударь и достойнейший поэт.

10 июня.

Виктор Гюго

Адрес: Господину Пьеру Кове¹

У г-на Кортини,

Rue de Sèvres, 45 или 46

Почтовый штемпель:

Париж. 11 июня 1848 г.

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. 9860/LIX б. 39.

¹ Пьер К о в е (Cauwet)—рабочий-поэт; В. Гюго оказал ему несколько услуг. В мае 1848 г. В. Гюго был избран народным представителем и получил по этому поводу множество писем от рабочих; очевидно, в связи с этим избранием Кове и прислал ему стихи, о которых идет речь в письме.

15. Г-ну Букье

[24 декабря 1848 г.]

Сударь,

Я сделал все возможное, чтобы освободиться в среду, но тщетно. Будьте так добры выразить членам комиссии по устройству банкета мое глубокое сожаление и передать им, что я был чрезвычайно тронут их лестным приглашением. Засвидетельствуйте им мою живейшую признательность¹.

А вас лично, сударь, прошу принять уверения в моих наилучших и сердечных чувствах.

Виктор Гюго

Воскресенье, 24/ХII.

Адрес: Господину Букье

Члену комиссии по устройству банкета
Центрального избирательного комитета
бульвар Монмартр, 12

Автограф.—Литературный музей, Москва, 983/3.

¹ Центральный избирательный комитет был учрежден в 1848 г. 24 декабря приходилось на воскресенье именно в этом году, почему письмо можно с уверенностью датировать 1848 г.

16. Вертёйлю¹

[Конец 1849—1851 гг.]

Не откажите в любезности, мой дорогой Вертёйль, предоставить мне на сегодня (четверг) два кресла на балконе.

Тысяча приветствий.

Виктор Гюго

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина. 8228, № 23.

¹ В е р т ё й л ь (Verteuil,—ум. 1882) был назначен на должность секретаря Théâtre Français 16 ноября 1849 г. В качестве секретаря дирекции он и выдавал билеты. Следовательно, письмо это могло быть написано не раньше конца 1849 г. и не позже декабря 1851 г., т. е. времени отъезда Гюго из Парижа.

17. [Неизвестной]

[15 июня 1852 г.]

Благодарю, сударыня. У вас не только прелестный талант, у вас благородное и доброе сердце. Изгнание—ничто, если ему сопутствует сознание, что вас помнят. Мне отрадно сознавать, что те, кто изгоняет нас из страны, не могут изгнать нас из памяти людей. Отчизна моя—во всех сердцах, хранящих обо мне память.

Благодарю вас и целую вашу руку.

Виктор Гюго

Брюссель, 15 июня [1852]¹.

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина. 8228, № 22.

¹ Год проставлен на подлиннике чужой рукой.

18. Анне Видсман

[16 марта 1863 г.]

Мечтать—в этом счастье; ждать—в этом жизнь¹.

Виктор Гюго

Адрес: Mademoiselle Анне Видсман

У г. пастора Видсмана, Liestal (Bâle-Campagne)

Через Лондон, Швейцария

Почтовые штемпели:

Гернси 16 марта

Калэ. 17 марта 1863 г.

Автограф.—Частное собрание, Москва.

¹ Неизданный афоризм. Такой же афоризм сохранился среди рукописей В. Гюго в Национальной библиотеке в Париже.

19. Альберу Глатиньи¹

Hauteville-house, 5 апреля [1867 г.]

У вас, дорогой поэт, имеется далекий, но внимательный слушатель. Это я. В моей пустыне есть для вас отзвук. Я только-что прочел прелестные стихи, сочиненные вами экспромтом. Рифмы, которые вам бросают, превращаются, летя к вам, в огненные

Hauteville house. 16 9^e
1869

J'ai en effet, mon ami
à l'heure où je t'écris
de très belles et belles choses, j'ai eu
avec empressement l'offre
que tu m'as faite bien me
faire, si tu n'as rien de
très très bon à donner.
J'aurais l'assurance de
tes salutations, à l'avenir
Victor Hugo

АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО К ГАБРИЭЛЮ СУНДУКЯНУ ОТ 16 НОЯБРЯ 1869 г.

Литературный музей Армении, Ереван

языки. Вы знаете, как радуется меня ваш талант, судите же сами, как радуюсь я вашим успехам.

Ваш друг

Виктор Гюго

Автограф.—Литературный музей, Москва 3253/1.

¹ Глатиньи Альбер (Glatigny, 1839—1873)—талантливый, но бедный поэт, неоднократно прибегавший к помощи В. Гюго, в 1850—1860-х гг. выступал в театраль-

ных залах и собраниях со стихами, которые он сочинял экспромтом на заданные рифмы. Эти стихи-импровизации составили сборники Глатиньи «Vignes Folles» (1857) и «Les Flèches d'Or» (1864).

Дата письма устанавливается на основании письма М-та Victor Hugo от 18 октября 1867 г. В нем идет речь о тех импровизациях Глатиньи, которые имеет в виду Гюго.

20. Г а б р и э л ю С у н д у к я н у

Hauteville-house, 16 ноября 1869 г.

Я был в отъезде, сударь¹. По возвращении я нашел ваше прекрасное письмо и с готовностью принимаю предложение, которое вам угодно было мне сделать. Шлю вам всяческие пожелания успеха².

Примите уверения в моих наилучших чувствах.

Виктор Гюго

Автограф.—Литературный музей Армении, Ереван. № 141/55—8.

¹ В 1869 г. Гюго совершил путешествие по Швейцарии.

² Адресат письма, Габриэль Сундукян (1825—1912)—известный армянский драматург, автор классической армянской бытовой комедии «Пэпо». Нам неизвестно ни содержание письма Сундукяна, ни то, за что его благодарит Гюго. Возможно, что Сундукян просил у Гюго разрешения на перевод какого-либо из его произведений на армянский язык.

21. Ж ю л ю К л э

12 мая [1872 г.]

Какие восхитительные стихи,—и как только мне благодарить вас, дорогой собрат и товарищ! У меня сейчас нет «Грозного года» даже на простой бумаге. Вы—источник книг, пришлите же мне экземпляр на голландской или китайской бумаге, по своему выбору, и я надпишу его¹. Позвольте от всего сердца пожать вашу руку.

Виктор Гюго

Г-ну Русселю-де-Мери я напишу, а пока поблагодарите его.

На обороте: Господину Клэ. В. Г.

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собрание Вакселя, № 122.

¹ Жюль Клэ (Claye) был товарищем В. Гюго по пансиону De Cotte (с 1814 по 1818 гг.). Став типографом, он с 1856 г. печатал почти все парижские издания сочинений Гюго, написанных в изгнании; в 1872 г. из его типографии вышел «Г р о з н ы й г о д» («L'Année Terrible»).

22. Г-же З е л и Р о б е р

1 февраля [1872 г.], Париж¹

Те, кто жалуются на меня, сударыня, и правы и неправы. Меня считают влиятельным, а это неверно; меня считают миллионером, а это далеко не так. Отсюда разочарования. Я делаю, что могу, а могу сделать очень мало. В этом году я исчерпал все свои возможности, за год я роздал больше двадцати пяти тысяч франков; что значит эта капля в море людской нищеты? Ничто. А это ничто очень много для меня. Итак, люди и правы и неправы. Вы, сударыня, благородная женщина, и вы справедливы ко мне. Вам известно, что я делаю все усилия к тому, чтобы помогать, поддерживать и вызволять тех, кто страдает.

Ваш сын писал мне, я хлопочу о нем, но, по правде говоря, рассчитываю лишь на амнистию². Скоро пойдет «Рюи-Блаз»³; как только я развяжусь с этим делом, я снимусь у нашего превосходного Надара⁴, так как хочу быть послушным вам, сударыня. Вы совмещаете в себе и добрую мать и прекрасную женщину. Передайте вашему супругу мой привет и поверьте, сударыня, что я буду весьма счастлив, если смогу быть полезным вашему бедному сыну.

Шлю вам сердечные пожелания успеха и приношу к вашим стопам свое глубокое почтение.

Адрес: Госпоже Зелі Робер

5, Rue de la Vanque, Мюльгаузен

Почтовый штемпель:

Париж. 1872 г.

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собрание Б. Л. Модзалевского.

¹ Год определяется по почтовому штемпелю.

² Судя по этому и по следующему письму, можно предположить, что сын г-жи Зелі Робер принимал участие в событиях Коммуны 1871 г. и был приговорен к ссылке. Виктор Гюго, несомненно, хлопотал, если не о помиловании его, то, во всяком случае, о смягчении наказания,—как он это делал в отношении многих других коммунаров. Одновременно он настойчиво добивался амнистии.

³ «Рюи-Блаз» готовился к постановке в театре Одеон.

⁴ Н а д а р (Nadar) был известный парижский фотограф.

23. [Г-же Зелі Робер]

Гернси. Hauteville-house, 23 ноября [1872 г.]¹

Я постоянно думаю о вас, сударыня, и не теряю из виду вашего бедного сына. Я почти что уверен, что ему не придется уезжать. Положение сейчас напряженное; мы приближаемся к кризису, а все более и более вероятный роспуск Собрания приведет к амнистии². Надеюсь, что тогда вы будете счастливы. Думаю, что мне представится возможность повидаться с вами в Париже. Не сомневаюсь, что ваш дорогой муж пользуется попрежнему большим успехом, который он заслужил своими прекрасными трудами; жму его руку и приношу к вашим стопам, сударыня, свое глубокое почтение.

Виктор Гюго

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собрание Б. Л. Модзалевского.

¹ В. Гюго жил в Гернси в ноябре 1872 г., а потом приезжал туда лишь в 1878 г., когда не предвиделось роспуска Собрания (о чем идет речь в письме), ибо тогда республиканский строй упрочился. Следовательно, письмо следует датировать 1872 г.

² Национальное собрание было до такой степени реакционным, что даже Тьер—тогдашний глава исполнительной власти—казался ему слишком радикальным. Между ним и роялистским большинством Собрания происходили постоянные конфликты, что и имеет в виду Гюго, говоря о «к р и з и с е». Газеты того времени писали о тайном намерении Тьера распустить Собрание с тем, чтобы провести новые выборы и добиться создания умеренно-республиканского большинства. В. Гюго надеялся, что при новом составе Собрания можно будет добиться объявления амнистии для всех осужденных коммунаров (как известно, закон об амнистии был опубликован только 11 июля 1880 г.).

24. А н р и Т е т а р у

[14 мая 1879 г.]

Охотно присоединяю свой отзыв о г-не Анри Тетаре¹ к отзыву г-на Луи Блана и свидетельствую, что г-н Тетар вполне достоин и способен к преподавательской деятельности, которою он желает заниматься.

Виктор Гюго

14 мая 1879 г., Париж.

Адрес: Господину Анри Тетару
Grandbook, Кент, Англия

Почтовый штемпель:
Пасси, 14 мая 1879 г.

Автограф.—Литературный музей (из собрания бывш. Павловского дворца), Москва. 3344/17.

¹ Никаких сведений о Т е т а р е разыскать не удалось. Был издатель Testard, но его звали Эмилем, а не Анри.

25. [П о л ю Л а к р у а]¹

[?]

Я уже читал, дорогой мой собрат, ваш ученый и превосходный труд. Прочту его еще раз. Вам известно, как я рад всему, что получаю от вас. Благодарю вас за то, что вы написали эту книгу, и за то, что прислали ее мне.

Ваш друг
Виктор Гюго

Пятница, 21-го.

Автограф.—Исторический музей, Киев. «Альбом Каролины Собанской», № 429, л. 63.

¹ Адресат этой записки устанавливается предположительно на том основании, что в «Альбоме» Каролины Собанской, бывшей замужем за Жюлем Лакруа, братом Поля

Л а к р у а, эта записка сохранилась среди многих других писем, адресованных последнему (письма: П. Мериме, Ж. Мишле, В. Кузена, Ш. Сент-Бёва, А. Дюма-отца, Ф. Шалля, Э. Сю и др.)

Поль Л а к р у а (Lacroix, 1806—1884) издал под псевдонимом *Bibliophile Jacob* большое количество ученых и исторических трудов; мы затрудняемся точно определить, о какой именно книге пишет ему В. Гюго.

26. П о л ю Л а к р у а

[?]

Зайдите ко мне как-нибудь вечером, чтобы серьезно и с пользой поговорить об Академии¹.

Ваш
Виктор Г.

Четверг, вечером.

На обороте: Господину Полю Лакруа

Автограф.— Публичная библиотека, Ленинград.

¹ Поль Лакруа желал, повидимому, выставить свою кандидатуру в Академию, членом которой В. Гюго состоял с 1841 г. и который мог, поэтому, содействовать избранию Лакруа.

III. АВТОГРАФЫ ГЮГО В СОБРАНИЯХ СССР

Знаком «*» отмечены документы, впервые опубликованные в настоящей работе.

А. СТИХИ

1. «*La vie à chaque instant fuit vers l'éternité...*»—Заключительная строфа (6 строк) стихотворения «*Promenade*» («*Odes et Ballades*»). Беловая рукопись б. д. Подпись: *V. Hugo*. В четвертой строке вариант: «...*Ainsi, quand meurt la rose aux pudiques couleurs*» (вместо: «*aux royales couleurs*»). Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. 244/144 («Альбом А. Е. Шиловой»).
2. «*Quand elle prie, un ange est debout auprès d'elle...*»—Две строфы (12 строк) из стихотворения «*La prière pour tous*» («*Feuilles d'Automne*»). Беловая рукопись б. д. Подпись: *V. Hugo*. Лист украшен двумя рисунками художника Камилла Роклана (Roqueplan). В третьей строке вариант: «...*En essuyant les pleurs dont son œil est terni*» (вместо: «*Essuyant d'un baiser son œil de pleurs terni*»). Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград, шк. 13. — См. ниже воспроизведение, на стр. 929.
3. «*Tous ces faux biens qu'on envie...*».—Строфа (5 строк) стихотворения «*Soirée en mer*» («*Voix intérieures*»). Беловая рукопись б. д. и подписи. Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд 86 («Альбом Голицына», л. 79).
4. «*A Madame la princesse Sophie de Galitzine*».—Опубликовано в «*Toute la lyre*». Беловая рукопись б. д. Подпись: *V. Hugo*. Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Дашкова («Альбом С. П. Голицыной»). — См. выше: глава III, 845—846.
- 5.* «*L'échafaud vieilli croule, et la Grève se lave...*» Беловая рукопись. Дата: 19 января 1851 г. Подпись: *V. Hugo*. Литературный музей, Москва. 3186/4. См. выше: Приложения, 916.

Б. ПИСЬМА, ЗАПИСКИ, НАДПИСИ НА КНИГАХ И ПОРТРЕТАХ

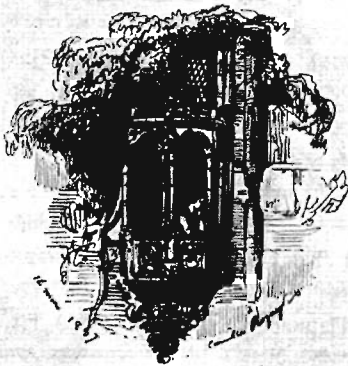
- 6.* Андреевской В. Н.—Париж, 29 декабря 1876 г. Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград, шк. 29, п. 4, лев. ст.— См. выше: глава V, 891—893.
- 7.* Богусhevскому Н. К., барону—Hauteville-house, 29 июля 1873 г. Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Семеновского, ш. XI, п. I. См. выше: глава V, 889.
- 8.* Букье (Bouquier)—[Париж], 24 декабря [1848 г.]. Литературный музей, Москва. 983/3. См. выше: Приложения, 924.
- 9.* Булозу (Buloz) Франсуа—[Париж], 27 [июля 1834 г.]. Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. 9860/LIX б. 39. См. выше: Приложения, 920.
- 10.* Вертейлю (Verteuil)—[Париж 1849—1851 гг.]. Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина. 8228, № 23. См. выше: Приложения, 924.



Quand elle prie, un rayon descend sur son front d'elle,
 Comme un rayon d'encens Des flammes d'un autel,
 Et se répand sur le grand Dieu son autel vers soi,
 L'âme prie l'incense sans que l'encens l'appelle,
 L'esprit qui s'élève au Parnasse s'élève,
 Et qui, sans remède, attend qu'elle ait fini.

Son beau front incliné semble en l'air qu'il s'enfonce
 Pour renouer les flots de ce ciel qui s'échouent.
 Et prend tout, pleurs d'amour et soupis d'oubli.
 Sans changer de nature il s'empare d'un air
 Comme le feu vivant qui notre soit vitame
 L'empire d'un jour d'âme sort sans change de valeur.

Michel Strogoff



АВТОГРАФ ОТРЫВКА ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ГЮГО „МОЛИТВА ЗА ВСЕХ“

Лист иллюстрирован рисунками Камилла Рокилана, 1837 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

- 11.* В и д с м а н (Widsmann) Анне—Афоризм [Гернси, 16 марта 1863 г.].
Частное собрание, Москва. См. выше: Приложения, 924.
- 12.* Г л а т и н ь и (Glatigny) Альберу—Hauteville-house, 5 апреля [1867 г.].
Литературный музей, Москва. 3253/1. Собрание С. П. Яремича. См. выше: Приложения, 925.
- 13.* Г о л и ц ы н о й С. П., княгине—Брюссель, 13 сентября [1868 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Дашкова („Альбом С. П. Голицыной“).
См. выше: глава III, 846.
- 14.* Е й ж е—19 сентября [1869 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Дашкова („Альбом С. П. Голицыной“).
См. выше: глава III, 846—847.
- 15.* Е й ж е—Недатированная записка: «Envoyez moi...».
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Дашкова („Альбом С. П. Голицыной“).
См. выше: глава III, 845.
- 16.* Г р е ч у Н. И.—Дарственная надпись на шмуц-титule «Voix intérieures» (1837).
Литературный музей, Москва. 431/22 („Альбом В. Н. Петровой-Званцовой“). См. воспроизведение
на стр. 805.
- 17.* Г ю г о Леопольду-Сижисберу, генералу—[Париж], 1 мая 1826 г.
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. 9805/LIX б. 39. См. выше: Приложения, 917—918, 921.
- 18.* Д е к а н у (Decamps) Александру-Габриэлю—Записка без даты, приклеенная
к литографированному портрету В. Гюго 1828 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. См. выше: Приложения, стр. 918 и воспроизведение
на стр. 781.
- 19.* Д о б р ж а н с к о й О. Н.—Афоризм. [Париж, 9 апреля 1883 г.].
Собрание К. В. Ползиковой-Рубец, Ленинград. См. выше: глава V, 893—894, 897.
- 20.* Д о р в а л ь (Dorval) Мари—[Париж], 22 сентября [1836 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Е. М. Кашинской. См. выше: Прило-
жения, 920.
- 21.* Е й ж е—[Париж, 1838 г.].
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 6036. См. выше: Приложения, 922.
- 22.* К л э (Claye) Жюлю—[Париж], 12 мая [1872 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. Собрание П. Ваксея, № 122. См. выше: Приложения, 926.
- 23.* К о в е (Cauwet) Пьеру—[Париж], 10 июня [1848 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. 9860/LIX б. 39. См. выше: Приложения, 923.
- 24.* К р е п е (Crépet)—Дарственная надпись на книге «Paris» (1867).
Собрание В. А. Десницкого, Ленинград. См. воспроизведение на стр. 865.
- 25.* [Л а к р у а (Lacroix) Полю] (Bibliophile Jacob)—[?].
Исторический музей, Киев („Альбом К. Собанской“, № 429, л. 63). См. выше: Приложения, 927.
- 26.* Е м у ж е—[после 1841 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. См. выше: Приложения, 928.
- 27.* Л е н ц у В. Ф.—Hauteville-house, 30 сентября 1862 г.
Публичная библиотека, Ленинград. См. выше: глава III, 839, 842—844.
- 28.* М о н т и н ь и (Montigny) Люка де—[Париж], 8 января [1834 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Ляцкого. См. выше: Приложения, 919.
- 29.* [Н е и з в е с т н о м у]—[Париж], 2 октября [1829 г.].
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из иностранных автографов собрания Бецкого.
См. выше: Приложения, 919.
- 30.* [Н е и з в е с т н о м у]—[Париж], 2 октября [1844—декабрь 1851 гг.].
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253, № 20. См. выше: Приложения, 923.
- 31.* [Н е и з в е с т н о м у]—Надпись на фотографии. Париж, 20 декабря 1871 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Собрание П. Ваксея, № 123. См. воспроизведение на стр. 843.
- 32.* [Н е и з в е с т н о й]—Брюссель, 15 июня [1852 г.].
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина. 8228,
№ 22. См. выше: Приложения, 924.

АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЮГО
К С. П. ГОЛИЦЫНОЙ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 1868 г.
Институт литературы Академии наук СССР,
Ленинград

Mardi 13 76
 Tim ton, madame,
 une âme charmante et
 une grande âme. Tu,
 l'asmes sans les bés
 d'innocence. L'ami inconnu
 d'unis d'innocence l'ami
 préféré. c'est toi qui
 que ton m'inspire;
 je l'écrit, a l'insti.
 je pleure, mais cela q-
 est tout, grande âme
 aussi que d'ind. je m'
 suis à toi plus.
 Victor H.

- 33.* Робер (Robert) Зелі—Париж, 1 февраля [1872 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Б. Л. Модзалевского. См. выше
Приложения, 926—927.
- 34.* Ей же—Гернси, 23 ноября [1872 г.].
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Собрание Б. Л. Модзалевского. См. выше
Приложения, 927.
- 35.* [Ройе-Колару (Royer-Collat) Пьеру]—[Париж], 27 февраля [1843 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. См. выше: Приложения, 923.
- 36.* «Автору статей в „Semeur“»—[Париж], 17 мая 1834 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253, № 9. См. выше: Приложения, 919—920.
- 37.* Сен-Полю (St.-Paul)—Записка без даты [декабрь 1831 г.].
Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд 86 („Альбом
Голицына“, л. 80). См. выше: Приложения, 919.
- 38.* Спонтини (Spontini) Гаспаро—[Париж], 3 мая [1839 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. См. выше: Приложения, 922—923.
- 39.* Сундукяну Габриэлю—Hauteville-house, 16 ноября 1869 г.
Литературный музей Армении, Ереван. № 141/55—8. См. выше: Приложения, 925, 926.
- 40.* Тегару (Testard) Анри—Париж, 14 мая 1879 г.
Литературный музей, Москва. 3344/17. Из собрания бывш. Павловского дворца. См. выше: Прило-
жения, 927.
- 41.* Трубецкой Е. Э., княгине—[Париж], 10 декабря 1877 г.
Институт литературы АН СССР (ИЛИ), Ленинград. 311. „Архив кн. Е. Э. Трубецкой“. См. выше:
глава IV, 862.
- 42.* Фидлеру Ф. Ф.—Подпись [18/30 мая 1884 г.] на гравированном портрете
работы Ф. Регаме (Régamey).
Литературный музей, Москва. Архив А. Е. Бурцева, № 1268—273. См. выше: глава V, 889.
- 43.* Черкасской Е. А., княгине—Надпись на портрете [1870-е гг.].
Музей мировой литературы им. Горького, Москва. См. воспроизведение на стр. 863.
- 44.* Шазе (Chazet) Андре-Полидору—[Париж], 5 февраля 1824 г.
Институт истории АН СССР (ИЛИ), Ленинград. Фонд бывшего Института книги, документа и
письма, 1/112, № 371. См. выше: Приложения, 917.

В. РИСУНКИ

- 45.* [Замок на берегу моря]—Рисунок тушью. Подписан. 6,3×3,9 см.
Литературный музей, Москва. № 3186/2. См. воспроизведение на стр. 827.
- 46.* [Пейзаж со старинным замком на переднем плане]—
Рисунок акварелью, тушью и сепией. Подписан. 22,5×20,4 см.
Литературный музей, Москва. № 3186/1. См. воспроизведение на стр. 869.

Г. НЕРАЗЫСКАННЫЕ АВТОГРАФЫ

47. Стихотворение: «*Chanson*» в альбоме О. А. Козловой.
Опубликовано в „*Voix intérieures*“ и в „*Album de Madame Olga Kozlow*“, Москва. 1883, 2-е изд., 1889.
См. также выше: глава V, 895.
48. Письмо к Гольдену (Holden) Джемсу—*Hauteville-house*, 3 декабря 1867.
Находилось в собрании Н. К. Богушевского, а затем в собрании П. Вакселя (№ 121), хранящемся в Публичной библиотеке в Ленинграде.